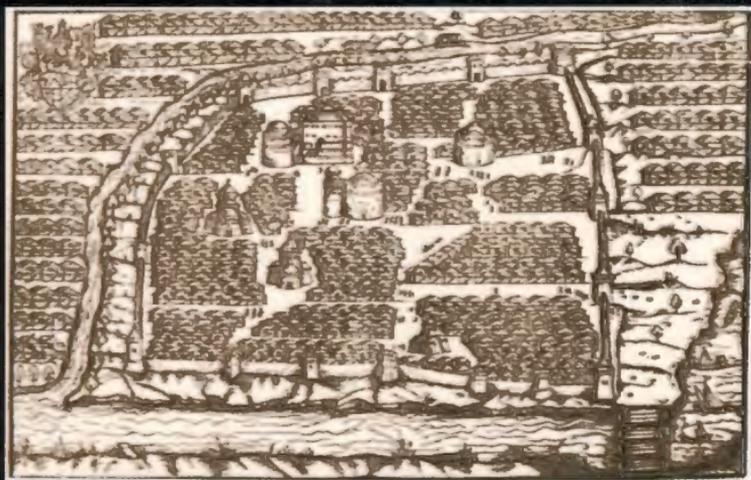


Татьяна Толстая

КЫСЬ



роман

Татьяна Толстая

КЫСЬ

роман

ПОДКОВА

Москва

2001

Толстая Т. Н.

Кысь: Роман. — Переиздание. — М.: Подкова, 2001. — 384 с.

«Кысь» — первый роман Татьяны Толстой, автора четырех книг: «На золотом крыльце сидели» (Молодая Гвардия), «Любишь — не любишь» (Оникс — Олма-Пресс), «Сестры» (Подкова), «Река Оккервиль» (Подкова).

ISBN 5-89517-140-3

УДК 300.36

ББК 15.56

Текст публикуется в авторской редакции

© Т. Толстая, 2000

© А. Лебедев, оформление, 2000

© Издательский Дом «Подкова», 2000

ISBN 5-89517-140-3

КЫСЬ

АЗ

Бенедикт натянул валенки, потопал ногами, чтобы ладно пришлось, проверил печную выюшку, хлебные крошки смахнул на пол — для мышей, окно заткнул тряпицей, чтоб не выстудило, вышел на крыльцо и потянул носом морозный чистый воздух. Ох и хорошо же! Ночная вьюга улеглась, снега лежат белые и важные, небо синее, высоченные клели стоят — не шелохнутся. Только черные зайцы с верхушки на верхушку перепархивают. Бенедикт постоял, задрал кверху русую бороду, сощурился, поглядывая на зайцев. Сбить бы парочку — на новую шапку, да камня нету.

И мясца поесть бы неплохо. А то все мыши да мыши — приелись уже.

Если мясо черного зайца как следует вымочить, да проварить в семи водах, да на недельку-другую на солнышко выставить, да упарить в печи, — оно, глядишь, и не ядовитое.

Понятно, если самочка попадетсЯ. Потому как самец, его вари не вари — он все такой же. Раньше-то не знали, ели и самцов с голодухи. А теперь дознались: кто их поест — у того на всю жизнь в грудях хрипы и булькотня. И ноги сохнут. И еще волос из ушей прет: черный, толстый, и дух от него нехороший.

Бенедикт вздохнул: на работу пора; запахнул зипун, заложил дверь избы деревянным брусом и еще

палкой подоткнул. Красть в избе нечего, но уж так он привык. И матушка, покойница, всегда так делала. В старину, до Взрыва, — рассказывала, — все двери-то свои запирали. От матушки и соседи этому обучились, оно и пошло. Теперь вся их слобода запирала двери палками. Может, это своеволие, конечно.

На семи холмах раскинулся городок Федор-Кузьмичск, родная сторонка, и шел Бенедикт, поскрипывая свежим снежком, радуясь февральскому солнышку, любуясь знакомыми улочками. Там и сям черные избы вереницами — за высокими тынами, за тесовыми воротами; на кольях каменные горшки сохнут или жбаны деревянные; у кого терем повыше, у того и жбаны поздоровей, а иной целую бочку на кол напялит, в глаза тычет: богато живу, голубчики! Такой на работу не пешедралом трюхает, а норovit в санях проехаться, кнутом помахивает; а в сани перерожденец запряжен, бежит, валенками топочет, сам бледный, взмыленный, язык наружу. Домчит до рабочей избы и встанет как вкопанный на все четыре ноги, только мохнатые бока ходуном ходят: хы-хы, хы-хы.

А глазами так и ворочает, так и ворочает. И зубы скалит. И озирается...

Ай, ну их к лешему, перерожденцев этих, лучше от них подальше. Страшные они, и не поймешь, то ли они люди, то ли нет: лицо вроде как у человека, туловище шерстью покрыто и на четвереньках бегают. И на каждой ноге по валенку. Они, говорят, еще

до Взрыва жили, перерожденцы-то. А все может быть.

Морозец нынче, изо рта парок пыхает, и борода нся заиндевевши. А все равно благодать! Избы стоят крепкие, черные, вдоль заборов — высокие сугробы, и к каждым-то воротам тропочка протоптана. Холмы плавно сбегают вниз и плавно поднимаются, белые, волнистые; по заснеженным скатам скользят сани, за санями — синие тени, и снег хрустит всеми цветами, а за холмами солнышко встает и тоже играет радужным светом в синем небе. Прищуришься — от солнышка лучи идут кругаями, поддашь валенком пушистый снег — он и заискрится, словно спелые огнецы затрепетали.

Бенедикт подумал об огнецах, вспомнил матушку и вздохнул: вот из-за тех огнецов и преставилась, сердешная. Ложными оказались.

На семи холмах лежит городок Федор-Кузьмичск, а вокруг городка — поля необозримые, земли неведомые. На севере — дремучие леса, бурелом, ветви переплелись и пройти не пускают, колючие кусты за порты цепляют, сучья шапку с головы рвут. В тех лесах, старые люди сказывают, живет кысь. Сидит она на темных ветвях и кричит так дико и жалобно: кы-ысь! кы-ысь! — а видеть ее никто не может. Пойдет человек так вот в лес, а она ему на шею-то сзади: хоп! и хребтину зубами: хрусь! — а когтем главную-то жилочку нащупает и перервет, и весь разум из человека и выйдет. Вернется такой назад, а он уж не

тот, и глаза не те, и идет не разбирая дороги, как бывает, к примеру, когда люди ходят во сне под луной, вытянувши руки, и пальцами шевелят: сами спят, а сами ходят. Поймают его и ведут в избу, а иной раз для смеху поставят ему миску пустую, ложку в руку вторнут: ешь; он будто и ест, из пустой-то миски, и зачерпывает, и в рот несет, и жует, а после словно хлебом посудину обтирает, а хлеба-то в руке и нет; ну, родня, ясно, со смеху давится. Такой сам ничего делать не может, даже оправиться не умеет: каждый раз ему заново показывай. Ну, если жене или там матери его жалко, она его с собой в поганый чулан водит; а ежели за ним приглядеть некому, то он, считай, не жилец: как пузырь лопнет, так он и помирает.

Вот чего кысь-то делает.

На запад тоже не ходи. Там даже вроде бы и дорога есть — невидная, вроде тропочки. Идешь-идешь, вот уж и городок из глаз скрылся, с полей сладким ветерком повеваает, все-то хорошо, все-то ладно, и вдруг, говорят, как встанешь. И стоишь. И думаешь: куда же это я иду-то? Чего мне там надо? Чего я там не видел? Нешто там лучше? И так себя жалко станет! Думаешь: а позади-то моя изба, и хозяйюшка, может, плачет, из-под руки вдаль смотрит; по двору куры бегают, тоже, глядишь, истосковались; в избе печка натоплена, мыши шастают, лежанка мягкая... И будто червь сердце точит, точит.. Плюнешь и назад пойдешь. А иной раз и побежишь. И

как завидишь издали родные горшки на плетне, так слеза и брызнет. Вот не дать соврать, на аршин брызгает! Право!..

На юг нельзя. Там чеченцы. Сначала все степи, степи — глаза вывалятся смотреть, — а за степями чеченцы. Посреди городка стоит дозорная башня с четырьмя окнами, и во все четыре окна смотрят стражи. Чеченцев высматривают. Не столько они, конечно, смотрят, сколько болотную ржавь покуривают да в палочку играют. Зажмет кто-нибудь в кулаке четыре палочки: три длинные, одну короткую. Кто короткую вытянет — тому щелбан. Но бывает, и в окошко поглядывают. Если завидят чеченцев, велено кричать: «Чеченцы! Чеченцы!», тогда народ со всех слобод сбежится, палками в горшки бить начнет, чеченцев стращать. Те и шуганутся подальше.

Раз так двое с юга подступили к городку: старик со старухой. Мы в горшки колотим, топочем, кричим, а чеченцам хоть бы что, только головами вертят. Ну, мы — кто посмелей — вышли им навстречу с ухватами, веретенами, кто с чем. Что, дескать, за люди и зачем пожаловали.

— Мы, голубчики, с юга. Вторую неделю идем, совсем обезножели. Пришли менять сыромятные ремешки, может, у вас товар какой.

А какой у нас товар. Сами мышей едим. «Мыши — наша опора», так и Федор Кузьмич, слава ему, учит. Но народ у нас жалостливый, собрали по избам кто

чего, выменяли на ремешки и отпустили их с Богом. После много о них разговору было: все вспоминали, какие они из себя, да что за сказки рассказывали, да зачем они к нам-то шли.

Ну, из себя они, как мы, обычные: старик седой, в лаптях, старушка в платочке, глазки голубенькие, на голове — рожки. А сказки у них были долгие да печальные: хоть Бенедикт тогда мал был да глуп, но слушал во все уши.

Будто лежит на юге лазерное море, а на море на том — остров, а на острове — терем, а стоит в нем золотая лежанка. На лежанке девушка, один волос золотой, другой серебряный, один золотой, другой серебряный. Вот она свою косу расплетает, все расплетает, а как расплетет — тут и миру конец.

Наши слушали-слушали, потом:

— Что, дескать, значит слово такое: «золотой», и что — «серебряный»?

А они:

— «Золотой» — это вроде как огонь, а «серебряный» — как лунный свет или же, к примеру, как огнецы светятся.

Наши:

— А, ясно. Ну, еще расскажите.

А чеченцы:

— Есть большая река, отсюда пешего ходу три года. В той реке живет рыба — голубое перо. Говорит она человеческим голосом, плачет и смеется и по той реке туда-сюда ходит. Вот как она в одну сторону

пойдет да засмеется — заря играет, солнышко на небо всходит, день настает. Пойдет обратно — плачет, за собой тьму ведет, на хвосте месяц тащит, а часты звездочки — той рыбы чешуя.

Наши:

— А не слышать, отчего зима бывает и отчего лето?

Старуха говорит:

— А не слыхивали, милые, врать не буду, не слыхивали. А тому, правда, многие дивятся: зачем бы зима, когда лето куда слаще. Видно, за грехи наши.

Но старик головой покрутил:

— Нет, — говорит, — на все должно быть свое объяснение из природы. Мне, — говорит, — один прохожий человек разъяснял. На севере стоит дерево вышиной до самых туч. Само черное, корявое, а цветики на нем белые, ма-а-ахонькие, как соринки. На дереве мороз живет, сам старый, борода за кушак заткнута. Вот как к зиме дело, как куры в стаи собьются да на юг двинутся, так мороз за дело принимается: с ветки на ветку перепрыгивает, бьет в ладоши да приговаривает: ду-ду-ду, ду-ду-ду! А потом как засвищет: ф-щ-щ-щ! Тут ветер подымается и те белые цветы на нас сыплет: вот вам и снег. А вы говорите: зачем зима.

Наши голубчики говорят:

— Да, это правильно. Это так, должно быть. А ты вот, дедуля, неужто не боишься по дорогам ходить? Как же ночью-то? Не встречал ли лешего?

— Ой, встречал! — говорит чеченец. — Совсем близко видел, вот как вас, к примеру. Вот слушайте. Захотелось моей старухе огнецов покусать. Принеси да принеси. А огнецы в тот год поспели сладкие, тянучие. Я и пойди. Один.

— Как один? — опешили наши.

— А вот так! — похвастался чуженин. — Ну, слушайте дальше. Иду я себе, иду, а тут стемнело. Не то чтобы очень, а так, серенько стало. Иду это я на цыпочках, чтобы огнецов не спугнуть, вдруг: шу-шу-шу! Что такое. Посмотрел — никого. Опять иду. Тут опять: шу-шу-шу. Будто кто по листьям ладонью водит. Я оглянулся — опять никого. Еще шаг шагнул. И вдруг он прямо передо мной. Вот только что ничего не было, и вот уж он тут. Вот — руку протяни. И ведь небольшой такой. Может, мне по пояс али по титьки будет. Весь будто из старого сена свалян, глазки красным горят, а на ногах — ладоши. И он этими ладошами по земле притупывает да приговаривает: тяпа-тяпа, тяпа-тяпа, тяпа-тяпа... Ой и бежал же я!.. Не знаю, как и дома очутился. Так моей старухе огнецов и не досталось.

Тут детишки, которые слушали, просят:

— Расскажи, дедушка, какую еще нечисть в лесу видать.

Налили старику квасу яичного, он и начал:

— Был я тогда молодой, горячий. Ничего не боялся. Раз три бревна вместе лыком обвязал, на воду спустил — а речка у нас быстрая, широкая, —

сел на них и плыву. Право слово! Бабы на берег сбежались, крик, визг, все как положено. Где же видно, чтобы человек по воде плавал? Это теперь, говорят, бревно долбят да на воду спускают. Коли не врут, конечно.

— Не врут, не врут! Это наш Федор Кузьмич придумал, слава ему! — кричат наши, а Бенедикт громче всех.

— Федор Кузьмич так Федор Кузьмич. Мы не знаем. Не ученые. Речь не об том. Ничего, я говорю, не боялся. Ни русалок, ни пузыря водяного, ни кочевряжки подкаменной. Я даже рыбку-вертизубку ведром поймал.

— Ну уж это... — наши говорят. — Это уж ты, дед, заврался.

— Правду говорю! Вот и старуха моя не даст соврать!

— Верно, — старуха говорит. — Было. Ой же я его ругала! Ведро опоганил, сжечь пришлось. А новое ведь пока выдолбишь, пока продубишь да просмолишь, да по три раза просушишь, да ржавью окуришь, да синим песком натрешь, — все-то я рученьки пообломала, надрываючись. А ему, вишь, доблесть одна. Потом вся деревня на него смотреть ходила. Кто и опасался.

— Естественно, — наши говорят.

Старик-то доволен.

— Зато, может, я один такой, — хвастает. — Чтоб вертизубку так близко видеть — вот как вас, к при-

меру, — и живым остаться. Что вы!.. Я богатырь был. Силища! Бывало, ка-ак заору! Пузыри в окнах лопаются. А сколько я ржави зараз выпить мог! Бочку усаживал.

А Бенедиктова матушка — она тут же сидела — губы поджала и говорит:

— А конкретную пользу вы из своей силы извлекали? Что-нибудь общественно-полезное для коммуны сделали?

Старик обиделся.

— Я, голубушка, в молодые-то годы мог на одной ноге отсюда как вон до того пригорка допрыгать! А не пользу. Я, говорю тебе, бывало, как гаркну — солома с крыш валится. У нас все в роду такие. Богатыри. Вот старуха не даст соврать: у меня если мозоль али чирей вскочит — аж с кулак. Не меньше. У меня, я тебе скажу, прыщи вот такие были. Вот такие. А ты говоришь. Да если хочешь знать, у меня батя, бывало, голову почешет — с полведра перхоти натрясет.

— Да ладно вам! — шумят наши. — Ты, дедуль, про нечисть обещал.

Но дед, видно, не на шутку обозлился.

— Ничего говорить не буду. Приходят тут слушать... так слушай! А не подъялдыкивай. Всю, понимаешь, мечту разворотила. Небось из Прежних, поговору чую.

— Это точно, — наши на матушку косятся. — Из Прежних... Давай, дедушка, начинай.

Рассказал еще чеченец про страсти лесные, про то, как тропинки различать: которые всамделишные, а которые — морок один, зеленый пар, травяная кудель, волшебство и наваждение, — все приметы доложил; про то, как русалка на заре поет, кулдычет водяные свои песни: поначалу низко так, глубоко возьмет: ы,ы,ы,ы,ы, потом выше забирает: оуааа, оуааа, — тогда держись, гляди в оба, не то в реку затахнет, — а уж когда песня на визг пойдет: ййих! ййих! — тут уж беги, мужик, без памяти. Рассказал про лыко заговоренное и как его опасаться надо; про Рыло, что народ за ноги хватает; и про то, как ржавь самую лучшую ищут.

Тут Бенедикт высунулся:

— Дедушка, а кысь видели?..

Посмотрели на него все как на дурака. Помолчали. Ничего не ответили.

Проводили бесстрашного старика, и опять в городке тишина. Дозор усилили, но больше на нас с юга никто не нападал.

Нет, мы все больше на восход от городка ходим. Там леса светлые, травы долгие, муравчатые. В травах — цветики лазоревые, ласковые: коли их нарвать, да вымочить, да побить, да расчесать — нитки прясть можно, холсты ткать. Покойная матушка на этот промысел непроворная была, все у нее из рук валилось. Нитку сучит — плачет, холсты ткет — слезами заливаается. Говорит, до Взрыва все иначе было. Придешь, говорит, в МОГОЗИН — берешь что хо-

чешь, а не понравится, — и нос воротишь, не то что нынче. МОГОЗИН этот у них был вроде Склада, только там добра больше было, и выдавали добро не в Складские дни, а цельный день двери растворены стояли.

Что-то не верится. Ведь это ж каждый забеги и хватай? Это ж сторожей не напасешься? Нас ведь только пусти: все разнесем до щепочки. А сколько народищу передадим? Ведь и в Склад идешь — глазами по сторонам зыркаешь: кому что дали, да сколько, да почему не мне?

А и смотрим зря: больше положенного не унесешь. Да не очень-то на чужой талан и зазевывайся: мигом тебе Складские Работники накладывают тулумбасов-то по шее. Получил, мол, свое — и проваливай! Не то и положенное отыдем.

Вот идешь из Склада с туесами, поспешаешь к себе в избу, нет-нет да и пощупаешь в туесах-то: все ли мое тут? Может, недоложили чего? Али сзади кто подкрался в переулке да и поживился, цопнул?

А бывает. Шла раз матушка со Склада, а выдали ей воронье перо. На перину. А оно же легкое, несешь — будто и нет ничего. Пришла домой, холстину отдернула — батюшки-светы: пера нету, а вместо пера — говёшки. Ну, матушка в слезы, а отец хототать. Ведь какой тать веселый оказался: не только добро попер, а еще и выдумку учудил, да с подковыринкой: вот, дескать, цена перу-то вашему. На-кося!

А объявилось перо у соседа. Отец его тягать: где взял? На торжище. На что сменял? На валенки. У кого? Сосед начал не знать: да я что, да я ничего, да я ржави упился, — что с него возьмешь. Так и отстали.

Ну что в Складе дают? Казенную колбаску из мышатинки, мышинное сальце, муку из хлебеды, перо вот, потом валенки, конечно, ухваты, холст, каменные горшки: по-разному выходит. Иной раз накладывают в туесок запселейх огнецов, — где-то они там провоняли, так их и выдают. За хорошими огнецами самому идти надо.

Вот в аккурат на восход от городка стоят клелевые леса. Клель — самое лучшее дерево. Стволы у нее светлые, смолистые, с натеками, листья резные, узорчатые, лапчатые, дух от них здоровый, одно слово — клель! Шишки на ней с человеческую голову, и орешки в них — объеденье! Если их вымочить, конечно. А то их в рот не возьмешь. На самых старых клелях, в глуши, растут огнецы. Уж такое лакомство: сладкие, круглые, тянучие. Спелый огнец величиной с человеческий глаз будет. Ночью они светятся серебряным огнем, вроде как месяц сквозь листья луч пустил, а днем их и не заметишь. Выходят в лес засветло, а как стемнеет, все берутся за руки и идут цепью, чтобы не потеряться. А еще чтобы огнец не догадался, что это, дескать, люди. Отрывать их надо быстро, чтобы огнец не всполошился и не заголосил. А не то он других предупредит, и они враз потухнут. Можно, конечно, и на ощупь рвать. Но не рвут. А ну

как ложных наберешь? Ложные, когда светятся, будто красный огонь сквозь себя продувают. Вот такими-то — ложными — матушка в свое время и отравилась. А так бы жить ей да жить.

Двести тридцать лет и три года прожила матушка на белом свете. И не состарилась. Как была румяной да черноволосой, такой ей и глаза закрыли. Это уж так: ежели кто не тютюхнулся, когда Взрыв случился, тот уж после не старится. Это у них такое Последствие. Будто в них что заклинило. Но таких, почитай, раз, два, и обчелся. Все в земле сырой: кого кысь испортила, кто зайцами отравился, матушка вот — огнецами...

А кто после Взрыва родился, у тех Последствия другие, — всякие. У кого руки словно зеленой мукой обметаны, будто он в хлебеде рылся, у кого жабры; у иного гребень петушиный али еще что. А бывает, что никаких Последствий нет, разве к старости прыщи из глаз попрут, а не то в укромном месте борода расти учнет до самых до колен. Или на коленях ноздри вскочат.

Бенедикт иной раз допытывался у матушки: отчего да отчего был Взрыв? Да она толком не знала. Будто люди играли и доигрались с АРУЖЫЕМ. Мы, говорит, и ахнуть не успели. И плачет. «Раньше, — говорит, — лучше жили». А отец — он после Взрыва родился — на нее опалается:

— Неча, мол, старое-то поминать! Как живем, так и живем! Не нами заведено!

Матушка ему:

— Мужичье! Каменный век! Хам!

Он ее за волосы таскать. Она в крик, соседей зовет, а соседи — ни гугу: правильно, муж жену учит. Не наше дело. Битая посуда два века живет. Он на нее почему серчал: она все молодая да молодая, а он на убыль пошел; на ногу припадать стал, и глаза, говорит, будто темная вода застит.

Матушка ему:

— Ты меня пальцем тронуть не смеешь! У меня ОНЕВЕРСТЕЦКОЕ АБРАЗОВАНИЕ!

А он:

— А я вот ты сейчас отшелушу: «абразование»! Я ты собью с пахвей! Дала сыну собачье имя, на всю слободу ославил!

И такое срамословие пойдет, такие перекоры — пока свою бороду не оплюет, не уймется. Крут был тятенька. Налаявшись, умается; нацедит браги полную криницу да и упёхтается до бесчувствия. А матушка волоса пригладит, подолом утрется, возьмет Бенедикта за руку и уведет его на высокий холм над рекою; там — он уж знал — она раньше жила, до Взрыва-то. Там матушкина пятиярусная изба стояла, а матушка сказывала, что и выше хоромы бывали, пальцев не хватит ярусы перечесть; так это что же: скидавай валенки да по ногам считай? Тогда Бенедикт только счету учился. На камушках ему считать еще рано было. А теперь, слышать, Федор Кузьмич, слава ему, счетные прутики изобрел. Говорят,

будто деревяшечки просверлишь, на прутики нанижешь и справа налево перекидываешь. И такой, говорят, быстрый счет пойдет, только держись! Только сам счета ладить не смей, а кому надо — приходи в базарный день на торжище, уплати сколько велено — холстом берут, мышами, — да и считай сколько влезет. Так говорят; правда, нет ли, — кто знает.

...Вот матушка на холм придет, сядет на камушек, плачет-заливается, горючими слезами умывается, то подруженек своих вспоманет, красных девушек, то МОГОЗИНЫ эти ей представлятся. А все улицы, говорит, были ОСФАЛЬТОМ покрыты. Это будто бы такая мазь была, твердая, черная, ступишь — не провалишься. Вот если погода летняя, сидит матушка, причитает, а Бенедикт в грязи играет, куличики из глины лепит, а то нарвет желтунчиков и в землю втыкает, будто тын городит. А вокруг раздолье: холмы, да ручьи, да ветерок теплый, ходит — траву колышет, а по небу солнышко коломом катится, над полями, над лесами, к Голубым горам.

А зовется наш город, родная сторонка, — Федор-Кузьмичск, а до того, говорит матушка, звался Иван-Порфирьичск, а еще до того — Сергей-Сергичск, а прежде имя ему было Южные Склады, а совсем прежде — Москва.

БУКИ

Сызмалства Бенедикт ко всякой работе отцом приучен. Каменный топор изготовить — шутка ли. А он может. Избу срубить — срубит, хочешь — в угол, хочешь — в лапу, по-всякому. Печь сложить умеет. Баньку спроворить. Отец, правда, мыться не любил. Живет, говорит, медведь и не умывшись. А Бенедикту нравилось. Заползет в баньку, в теплое нутро, плеснет на камни яичного квасу, чтоб дух пошел, распарит клелевый веник и знай себя по бокам охаживать!

Умеет Бенедикт скорняжить, сыромятные ремешки из зайца резать, шапку сшить — ему все с руки. Да того зайца еще поди поймай. Только наладишь в него камнем попасть, а он порх! — и улетел. Так что все больше из мышиных шкурок одежду кроим, а оно не так сподручно. Известно: из большого выкроишь, а из малого зубами не натянешь.

Короче, все по хозяйству может. Да и как иначе? Федор Кузьмич, слава ему, объявил: «Хозяйство — дело рук каждого, разбирайся сам». Отец Бенедикта до самой смертной истуги в древорубах ходил и Бенедикта думал к тому ремеслу пристроить. А Бенедикт хотел в истопники податься. Заманчиво. Истопнику — почет и уважение, все перед ним шапки ломают, а он идет — никому не кланяется, чванливый такой.

И то сказать: куды ж без огня? Огонь поит, огонь кормит, огонь греет, огонь песенки поет. Умрет огонь

— и нам на лавки ложиться, глаза камушками закрывать. А было время, — говорят, огня не знали. Как же жили? А так и жили: ползали во тьме, как слепые червыри. А принес огонь людям Федор Кузьмич, слава ему. Ах, слава ему! Пропали бы мы без Федора Кузьмича, ей-ей, пропали бы! Все-то он возвел и обустроил, все-то головушкой своей светлой за нас болеет, думу думает! Высоко вознесся терем Федора Кузьмича, маковкой солнце застит. День и ночь не спит Федор Кузьмич, все по горенке похаживает, пышну бороду поглаживает, о нас, голубчиках, кручинится: сыты ли мы, пьяны ли мы, нет ли в чем нам досады какой али увечья какого? Есть у нас малые мурзы, а Федор Кузьмич, — слава ему, — Набольший Мурза, долгих лет ему жизни. Кто сани измыслил? Федор Кузьмич. Кто колесо из дерева резать догадался? Федор Кузьмич. Научил каменные горшки долбить, мышей ловить да суп варить. Дал нам счет и письмо, буквы большие и малые, научил бересту рвать, книги шить, из болотной ржави чернила варить, палочки для письма расщеплять и в те чернила макать. Научил лодки-долбленки из бревен мастерить и на воду спускать, научил на медведя с рогастиной ходить, из медведя пузырь добывать, растягивать тот пузырь на колках и этой плевой окна крыть, чтобы свету в окне и зимой хватало.

Только медвежью шкуру да мясо взять себе не могли: малые мурзы зорко надзирают. Не дело простому голубчику медвежью шкуру носить. И то понять на-

до: как же мурзе без шубы в санях ездить? Живо обморозится. А мы пешком бегаем, нам жарко, глядишь — и зипун рассуполнишь, упаришься. Хотя другой раз и засвербят пушкетные мысли: вот бы и мне сани, да шубу, да... Но это все своеволие.

Ох, хотел Бенедикт податься в истопники. Но матушка — ни в какую. Только в писцы, дескать. Отец его в дроворубы сманивал, матушка в писцы толкала, сам мечтал, как пройдет посереде улицы — весь из себя чванный такой, борода кверху, огневой горшок за собой на веревке тащит — только искры из дырок сыплются. Да и работка нетяжкая: набрал углей у Главного Истопника, Никиты Иваныча, домой отволлок, печь растопил, а сам сиди и в окошко зевай: беспрерывно постучится соседский голубчик, а то и с Глухого Конца, с дальней стороны прибредет:

— Батюшка истопник, Бенедикт Карпыч, дай огоньку! Моя-то дура зазевалась, а печь возьми да и погасни. А мы только-только собрались олады спроворить, что ты будешь делать...

Вот нахмуришься, закричишь будто спросонья, оторвешь нехотя задницу от лежанки али тубаретки, потянешься так сладко, — потягу-у-ушеньки! — почешешь в голове, сплунешь и неудовольствие изображаешь:

— Вот у вас и все так! Мудилы гороховые... Огня сберечь не могут... На всех, голубчик, угольков не напасёшься! За угольками знаешь куда ходить надо-

то?.. Аааа, то-то... Ноги, чай, не казенные. Ну, народ, ну, народ... Другой бы плюнул, зарекся с вами связываться... Ходют и ходют. Сами не знают, чего ходют... Ну, чего тебе? Угольков?

Так вот спрашиваешь, будто сам не видишь, чего ему надо, и смотришь хмуро, и пасть кривишь на сторону, будто во рту с утра воняет или будто сейчас стошнит. А это по должности. Должность у служивого человека такая. Голубчик опять занает:

— Бенедикт Кааарпыч, бааатюшка, выыыручи, роднооой. Уж как помнить буду... Уж как помнить... Да вот я... вот оладушков горяченьких... принес вот тут... подостыли малость... не взыщи...

Тут надо буркнуть себе под нос: «Оладушков...», но самому не брать, борони Боже, — голубчик все знает, он сам тихо в уголок положит все, что надобно, а ты все: «оладушков...», — злобно так, но не пережидая. Чтоб голос эдак на снижение пошел, на ворчание. А сам неспешно, с оттяжками, совком угольков загребешь и, через плечо, голубчику: «Горшок принес?..» — «Как же, как же, батюшка, выручил, родной...» — ну и чуток ему и насыплешь. Когда вот эдак-то, по-государственному, к делу подход имеешь, тут тебе и от людей уважение — строгий какой истопник-то наш, батюшка! — скажут, да и сурпризы после людей-то остаются. Как дверь за голубчиком закроется, эдак украдкой в окошко глянешь: ушел?.. и к сверточку. А интересно, что принес-то. Может, правда, оладушков. Может, сала. Яйцо пече-

ное. Другой, кто победней, просто ржави нарвет. То же сгодится.

Эх-х-х, размечтаешься другой раз!.. Да вышло по-матушкиному. Уперлась: три, говорит, поколения ЭНТЕЛЕГЕНЦЫИ в роду было, не допущу прерывать ТРОДИЦЫЮ. Эх-х-х, матушка!!! К Никите Иванычу бегала шушукаться, и в избу его за рукав приволакивала, чтоб вместе на отца давить, и руками перед носом крутила, и в визг ударялась. Отец и плюнул: да оййй... да провалитесь вы все, да чтоб вам... да делайте что хотите... Только потом не жалобьтесь.

Так что вышло по-еёному. Выгучил Бенедикт азбуку, али, по-научному, алфавит, накрепко, — а это просто: А, Б, В, Г, Д, Е, можно и Ё, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я, — а еще, конечно, наука всякой букве научное название дает: «люди», а то «живете», а то «червь». И ходит теперь Бенедикт на работу в Рабочую Избу. Ну, труд тоже недурной. Придешь, а там уж натоплено, свечи из мышиноного сала зажжены, сор выметен — благолепие. Выдадут ему берестяные тетради, выдадут свиток, откуда списывать, пометят: от сих до сих, — и сиди себе в тепле, перебелий. Только места для рисунков оставляй. А рисунки после Оленька-душенька своей белой ручкой наведет: курочку нарисует или кустик. Не сказать, чтоб похоже, а все глаз побалуует.

А списывает Бенедикт то, что Федор Кузьмич, слава ему, сочинил: сказки, или поучения, а то стихи. Уж такие у Федора Кузьмича, слава ему, стихи

Лишь повеет аквилон,
И закаплют ароматы.

Эка! Ну-ка, поди ж тут разбери, что куда закаплет. Да, много всяких слов знает Федор Кузьмич, слава ему. Дак на то он и поэт. Работа не из легких. «Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды», — говорит Федор Кузьмич. Это он ради нас так изводится. А ведь у него и помимо того дел невпроворот.

Говорят, надумал он из дерева кривую палицу резать да в дугу ее гнуть, а называть ее велено будет коромыслом. Нам все равно, хозяин — барин, можно и коромыслом, а зачем, почему — не наше дело. И носить на той дуге жбаны с водою, чтоб руки не оттягивало. Может, к весне кому эти коромысла в Складе и выдадут. Спервоначально санитарам, не к ночи будь помянуты, после — мурзам, а там, глядишь, и нам перепадет. А уж весна на носу. Ручьи побегут, цветики пойдут, красные девушки сарафаны наденут... Размечтаешься! Вот и Федор Кузьмич сочинил:

О весна без конца и без краю!
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь, принимаю,
И приветствую звоном щита!

Только почему «звоном щита». Ведь щит-то для указов — деревянный. Ежели когда приколачива-

есть указ о дорожной повинности, али чтоб не смели самочинно сани ладить, али у кого недоимки — мало мышиноного мяса сдал, к примеру, — али Складской День в который раз переносят, — то щит не звенит, а глухо так побрякивает. Дак ведь ему закон не писан, Федору Кузьмичу-то, слава ему. Он ведь сам-то про себя что говорит: «Гордись, — говорит, — таков и ты, поэт, и для тебя закона нет». Так не нам же ему и указывать.

С Бенедиктом в Рабочей Избе и другие писцы рядком сидят. Оленька, душенька, рисунки рисует. Хороша девушка: глаза темные, коса русая, щеки — как вечерняя заря, когда к завтрему ветра ожидаем, — так и светятся. Брови — дугой, али, как теперь велено будет звать, коромыслом; шубка заячья, валенки с подошвами — небось семья знатная; на работу Оленьку в санях отвозят, после работы опять сани ждут, да не простые: тройка. Под шлеей переорожденцы ногами топочут, перебирают; коренник норовистый, того и гляди зубами хватит, а пристяжные и того пуще. Как к Оленьке подступишься? Бенедикт только вздыхает да искоса посматривает, а она уж знает, лапушка: глазами моргнет да головкой-то эдак подернет. Скромница.

...Вот идет Бенедикт на работу, по сторонам посматривает, Истопникам кланяется, от саней сторонится, морозцем дышит, синим небом любит. Зазевался на красавицу, что мимо семенила, тынды! — и в столб врезался. О-о, чтоб вам всем и так и

эдак, и разэдак, и перетак! Понаставили не знай чего, блин!..

Столбы эти ставит Никита Иваныч, Главный Истопник. Матушки, покойницы, старинный приятель. Тоже из Прежних. Лет ему, наверно, триста, а то и больше, кто знает. Кто время подсчитает? Разве мы знаем? Зима-лето, зима-лето, а сколько раз? — ведь собьешься, думавши. Пальцев-то десять, да на ногах — десять, правда, у кого и по пятнадцать растет, у кого по два, а вот, к примеру, у Семена, что с Мусорных Прудов, на одной руке много махоньких пальчиков, ровно корешки, а на другой — и вовсе кукиш. Такое ему Последствие вышло.

Этот Никита Иваныч с матушкой водился. В избу придет, ноги вытрет, — «разрешите?» — на тубаретку плюхнется и давай заводить разговоры про Прежнее.

— Полина Михайловна, а Кузминского помните? Ха-ха-ха. А как Вайсман приезжал, помните? О-хо-хо. А Сидорчук-то, сволочь, помните, все доносы писал, и где теперь те доносы? Пыль, все пыль! А как Ляля кофе варила! Кофейку бы сейчас...

Матушка то хохотать, то всхлипывать, то ей МОГОЗИНЫ из ума нейдут, то вдруг: зачем бы это Сирень пропала; Сирень — это вроде цветов таких, на деревьях, сказывают, росла, и запах от нее был знатный. Тятенька эти разговоры страсть как не любил, выбежит во двор и ну дрова рубить: хэкк! хрясы! хэкк! хрясы! Злись не злись, а слово поперек Никите

Иванычу как скажешь? — как есть он Главный Истопник.

Всякую работу Бенедикт знает, все делать может, да и другие голубчики чай не безрукие, а огня добыть не могут. Принес-то огонь людям Федор Кузьмич, слава ему, а только как дело было, где он тот огонь взял, нам неведомо. Тут хоть три дня думай, не додумаешься, а только разве голова заболит, как если яичного квасу перепьешь. Кто говорит: с неба свел, кто рассказывает, будто топнул ножкой-то Федор Кузьмич, слава ему, и на том месте земля и загорись ясным пламенем. А все может быть.

А надзирает за огнем Никита Иваныч. Все Малые Истопники к нему за огнем ходят, в каменные горшки с дырками углей набирают и к себе в избы волокут. Ох работа хорошая!.. Ох хорошая! Дома сиди, в окно гляди да голубчиков с сурпризами дожидайся. День-деньской голубчики на работе: кто в Рабочих Избах порты просиживает, кто на болоте ржавь собирает, кто в полях репу сажит, кто что. А печь, она присмотр любит; опоздал домой — глядь, она и погасла. Зазевался — а угольки-то и остыли. Вот только что, вот сейчас гулял по ним синий огонек, и каждая-то деревяшечка сызнутри как живая светилась, красная, прозрачная, будто в ней кто дышит али слово сказать хочет, — и вот уж все. Молчит, серая, тупая, словно в ней кто умер.

Дак он и умер. Огонь-то. Да-а-а-а... Не понять. Тайна.

А где тайна — там и служба государева.

ВЕДИ

Росту Никита Иваныч небольшого, телом щуплый, бороденка паршивая, глазки махонькие, как у курицы, а на голове волосищ — ужаси. Он в Пржнее Время, до Взрыва, совсем стариком был, кашлял, помирать собирался. Это он матушке любил рассказывать, по сту раз повторял, вроде как гордился. А тут, говорил, это хозяйство как жажнет — и вот он я. И живу, говорил, и помирать, голубчики, решительно не намерен. И не уговаривайте.

Матушка, та тоже помирать не собиралась, да огнецы, проклятые, подвели. А после матушкиной смерти Никита Иваныч не то чтобы что, а вроде как молчать больше начал, людей сторониться. Оно понятное дело: Пржних, почитай, и нет почти, разве что перерожденцы, да они вроде как и не люди, а с нынешними голубчиками, с нами то есть, того разговору уж не заведешь. Да и то сказать: Пржние наших слов не понимают, а мы ихних.

А то другой раз такую чушь сморозят, как дети малые, ей-Богу. Вот когда матушка с тятенькой еще живы были, хозяйство, конечно, крепше стояло. И курьё держали, и червырей запасали толченых, и Котя был: мышей ловить. Да матушка ленива была и непроворна. Летом, в самую пору, ей бы яиц-то на-

пасть — чтоб зимой квас-то варить. Ведь осень придет, холода нападут, курье на юг соберется, еще воротится ли? Тут давай поворачивайся!

А она другой раз: а давайте, говорит, запрем их, пусть дома сидят, круглый год нам яйца несут. Ну?! Щас удержишь их! Давай, лови за ноги! Кловом тебе в лоб дадут, да и вся недолга! А то еще: а жаль, говорит, что их есть нельзя: я бы курочку с удовольствием покушала. Смех и грех; тятя так смеялся! Шеболда ты, говорит, шеболда! голова твоя пустая! Клим Данилыч так-то вот покушал курочку: и где он теперь? Мало, что сам помре, да как помре: весь черный стал, раздулся как колода и лопнул; да мало того: у его на могиле вся земля осемши и провалимши, и огни там бродят нехорошие, холодные, и вонь такая, что два раза посылали мужиков песком могилу-то завалить, а все по-прежнему.

И Никита Иваныч туда же: ничего не понимает, а говорит. Раз говорит: никакой, говорит, кыси нет, а только одно, говорит, людское невежество. Эвона как. А кто людям жилу-то рвет? Кто из шеи кровь пьет?! А?! Не знаешь, дак и молчи. Помалкивай в тряпочку.

Дак этот Никита Иваныч начал по всему городку столбы ставить. У своего дома на столбе вырезал: «Никитские ворота». А то мы не знаем. Там, правда, ворот нет. Сгнивши. Но пусть. В другом месте вырезет: «Балчуг». Или: «Полянка». «Страстной бульвар». «Кузнецкий мост». «Волхонка». Спросишь: Никита

Иваныч, вы чего? А он: чтоб память была. Пока, говорит, я жив, а я, говорит, как видишь, жив всегда, желаю внести свой посильный вклад в восстановление культуры. Плядишь, говорит, через тыщу-другую лет вы наконец вступите на цивилизованный путь развития, язвы вас в душу, свет знания развеет беспробудную тьму вашего невежества, о народ жестоковыйный, и бальзам просвещения прольется на заскорузлые ваши нравы, пути и привычки. Чаю, говорит, допрежь всего, РИНИСАНСА духовного, ибо без такового любой плод технологической цивилизации обернется в ваших мозолистых ручонках убийственным бумерангом, что, собственно, уже имело место. Засим, говорит, не смотри на меня аки козел, исподлобья, взглядом тухлым; когда слушаешь, рот широко не раззяывай и ногу об ногу не заплетай.

Ну, голубчики спервоначалу озлобились — страсть. Утром встанешь, глаза продерешь, а у тебя перед самым окном орясина торчит: «Арбат». Свету в окошке и так мало, зимой, с пузырем, и того меньше, а тут, понимаешь, арбат этот как срамной уд на свадьбу собрамшись. Ну и выворотят его к такой-то матери: на растопку пустят или полы латать. Человеку озлиться долго ли: палец покажи, он и озлился. Никите Иванычу по шеям не накладаешь: начальство, а соседнему голубчику — с нашим удовольствием. Сосед — это ведь дело не простое, это не всякий-який, не прохожий, не калика перехожий. Сосед человеку даден, чтоб сердце ему тяжелить, разум

мутить, нрав распалать. От него, от соседа, будто исходит что, беспокой тяжелей али тревожность. Иной раз вступит дума: вот зачем он, сосед, такой, а не другой? Чего он?.. Плядишь на него: вот он вышел на крыльцо. Зевает. В небо смотрит. Сплюнул. Опять в небо смотрит.

И думаешь: чего смотрит-то? Чего он там не видел? Стоит-стоит, а чего стоит — и сам не знает. Крикнешь:

— Эй!

— Чего?..

— А ничего! Вот чего. Расчевокался, чевокалка... Чего расчевокался-то?..

— А тебе чего?

— А ничего!

— Ну и молчи!

— Сам молчи, а то щас как дам!

Ну и подерешься другой раз, когда и до смерти, а то просто руки-ноги поломаешь, глаз там выбьешь, другое что. Сосед потому что.

С этими столбами сначала много смертоубийств было, а опосля, как водится, попривыкли, просто «арбат» соскоблят и новое вырежут: «Здесь живет Пахом», или матерное. Матерное интересно вырезать. Никогда не скушно. Вроде и слов немного, а слова-то все веселые такие. Бодрые. Ежели человеку сурьезное настроение, ежели плакать хочется или истома найдет, слабость, — никогда он матерного не скажет и не напишет. А вот если злоба душит, или

смех разбирает, а еще если сильно удивишься, — тогда оно как-то само идет.

ГЛАГОЛЬ

Вот Никита Иваныч столбов понаставил, а Бенедикт об них голову разбивай. И желвак теперь вскочит. Вот досада-то. Девушки небось хихикать будут, шептаться. А то язык высовывать. А то и вслед из-за ворот кричать, дразниться: «Желвак! Желвак!» А то забежит какая вперед тебя на тропку, поперек пути встанет, подол задерет и голую жопу покажет: чтоб обидно стало. А и впрямь обидно, до слез. А другие, кто по избам попрятавшись, от хохота прям увизжатся, как русалки какие: визг столбом стоит, а кто визжит — и не видать, хоть ты головой верти, хоть ушами, хоть чем. А от этих изоб-то, где визжат, глядишь, визг-от и на другие избы перекинется, что в заднем ряду, а там и по третьему ряду пойдет, а там и по всей слободе, это уж оно всегда так, будто зараза какая, будто пожар пыхнул и ветер пламя гонит от двора ко двору, не приведи Господь, а вот ты подика, в любой обиход торкнись, сапогом дверь-то расклевотались-то, козлы?! Что смешного-то?! — дак и не скажут. Не знают.

Дак вот поди ж ты, какая от жопы обида тяжелая, даром что другой раз на голых смотреть — оно инте-

ресно: мысли всякие играют, сердце стучит, и не заметишь, как и время пролетит. Да, другой раз интересно, а тут вот нет, и отчего бы это?

А оттого, знать, что умысел супротив тебя направлен, чтоб помнил ты свое место: ниже нижнего — и не высывался. Ежели кто над тобой посмеялся — он словно как бы власть свою показал, а ты, брат, словно в ямку скатился.

А и тут есть об чем подумать. Ежели б все это так просто было, отчего же малые мурзы, что за нами надзирать приставлены, никогда не смеются? Отчего смотрят так, будто тебя из поганого чулана уполковником зачерпнули? Разговаривают зубов не разжамши, будто бы у них во рту чего ценное, дак вот как бы оно не выпало, а то ты хватъ и бежать сломя голову? А глазами-то какими смотрят: напустят во взгляд мути и так это: вроде и неподвижно, а вроде и насквозь? А еще... хотя нет, нет, это, должно быть, своеволие. Нет, нет, не надо думать. Нет.

...Да, вот понаставил столбов дурной старик, прости Господи, а Бенедикт, чего доброго, еще прозвище на всю жизнь получит: Желвак. Как другим-то голубчикам прозвища бывают дадены: Гнилород, или Трясогуз, или другое какое, смотря что заслужил, привычка ли у него какая настырная, или Последствие особо дурное, или что. У Бенедикта вот никаких Последствий отродясь не было, лицо чистое, румянец здоровый, тулово крепкое, хоть сейчас женись. Пальцев — он считал — сколько надо, не

больше не меньше, без перепонок, без чешуи, даже и на ногах. Ногти розовые. Нос — один. Два глаза. Зубы — что-то много, десятка три с лишним. Белые. Борода золотая, на голове волосья потемней и выются. Тож на животе. На титьках тож. Пуп — где и должен быть, в аккурат посередке. Срамной уд тоже посередке, пониже. Хороший. Как все равно гриб лесной. Только без пятнушек. Хоть сейчас достань да любому покажи.

И где ж он столб этот вторнул-то: у самой Рабочей Избы. Разве это не своеволие? Ведь саням поворотить негде будет! Бенедикт захватил в пригоршню снегу, приложил к желваку и стоял, разбирая надпись: «Первопечатник Иван Федоров». Ишь ты какой борзой! А ну-ка, выворотить его. Бенедикт поднатужился, обхватил дуру-то эту тяжелую, дернул да и выворотил. Да и бросил. Да ногой пнул. Поглядел по сторонам. Никого. Жаль, что Оленька али другие девушки не видали, какая в нем силища-то, в Бенедикте.

А в Избе уж наро-о-одуууууууу... Тьма-тьмушая. И Оленька-душенька тут... Сидит, зарумянившись, глазки опустила. А на Бенедикта все же зыркнула. Хорошо. И Варвара Лукинишна тут — с Оленькой разговоры заводит, беседы бабские беседует. И Ксения-сирота. И Васюк Ушастый.

Скоро объявят: начинай работу. Хорошо, что не опоздал. Опоздать-то оно ничего, да пойдут переглядывания да перешептывания: а не заболел ли, Боже

упаси, Боже упаси? Тьфу, тьфу, тьфу, не сглазить бы. Правда, сколько Бенедикт помнил, никто в ихней Избе еще ни разу не заболел, тьфу, тьфу, тьфу. Горло першит или голову ломит — это не Болезнь, Боже упаси, Боже упаси. Палец переломил или глаз подбил — тоже не Болезнь, Боже упаси, Боже упаси. Икота иной раз нападет — тоже не Болезнь, Боже упаси, Боже упаси. Ежели икота напала, скажешь три раза:

Икота, икота,
Иди на Федота,
С Федота на Якова,
С Якова на всякого,

— она и уйдет. Али ячмень, к примеру, на глазу выскочит — ну, тут заговор нужен покрепше, чтоб держалось. Три раза дунуть, да три раза плюнуть, да на одну ногу встать, да на ней и стоять, а рукой-то за вторую ногу ухватить и так ее и держать, ни Боже мой не падать. И говорить:

Ячмень-ячмень,
Жичинка-жичинка,
Кукиш-кукиш.
На кукиш ничего не купишь.
Купишь топорок,
Разрубишь жичинку поперек.

И вот как рукой его снимет, ячмень-то этот. А это не Болезнь.

А какая она, та Болезнь, и когда придет, и что тогда будет — никому не ведомо. Да о том и не говорят. А ежели и говорят, то шепчутся. А ежели и шепчутся, так только когда поблизости нет Васюка Ушастого.

А что он подслушивает, все знают. Так уж положено. А ушей у него видимо-невидимо: и на голове, и под головой, и на коленках, и под коленками, и в валенках — уши. Всякие: большие, малые, круглые, длинные, и просто дырочки, и трубочки розовые, и вроде щели, и с волосами, и гладкие, — всякие. Спросят его:

— Васюк, куда тебе ушей столько?

А он:

— А это не уши.

— А что ж тогда? — и сунут ему для смеха в ухо огрызок, али окурок, али другую дрянь какую. А главные-то уши, которыми он подслушивает, под мышками растут. Так что если он за работу принимается, то локти растопыривает, чтоб сподручней слушать было. И чуть от досады не плачет: что ж это за секреты такие, когда всем видать: растопырился — стало быть, подслушиваешь.

А у Варвары Лукинишны тоже беда: страшна, голубушка, хоть глаза закрывай. Голова голая, без волоса, и по всей голове петушиныные гребни так и колышутся. И из одного глаза тоже лезет гребень. Это «пе-

тушиная бахрома» называется. Но это тоже не Болезнь, Боже упаси, Боже упаси. Это Последствие. А так баба она хорошая и пишет красиво и чисто. И если у тебя чернила вышли, всегда своих нальет.

А бахрома — это не Болезнь, Боже упаси, Боже упаси. И санитарам приезжать не надо, нет, нет, нет.

А тут ударили в колотушку: начинай работу. Бенедикт сел за стол, поправил свечу, поплевал на письменную палочку, брови поднял, шею вытянул и глянул в свиток: что нынче перебеливать досталось. А достались «Сказки Федора Кузьмича».

«Жили были дед да баба, — строчил Бенедикт, — и была у них курочка Ряба. Снесла раз курочка яичко, не простое, а золотое...» Да, Последствия! У всех Последствия! Вот и у Анфисы Терентьевны прошлый год тоже с курами беда вышла. И ведь какие куры были: ладные, крупные, как на подбор. Яйца несли черные да мраморные — залюбуешься! Квас из тех яиц сразу в голову ударял. Хватанешь такого квасцу ковшик и сразу — ввух! Доблесть проявлять охота. Смотришь вокруг — а все двойное. Вон девушка пошла — а вроде как ее две. Крикнешь:

— Девчата! Айда со мной баловаться!.. — она и бежать без памяти. Обхохочешься-и!.. На Анфису Терентьевну смотришь — а ее тоже две. Но! — к ней баловаться не подъезжай, а не то выйдет Поликарп Матвейч, а его тоже двое, а этого нам не надобно, он и один страшен.

А как эти куры-то пели! Бывало, лето, вечер смеркается, месяц на небо всходит, заря догорает, роса пала, от цветов запах пошел. Добры молодцы да красны девушки на завалинку сядут, орешки моченные грызут, огнецов кушают, вздыхают, а то толкаются да щиплются. Вот как первая звездочка на небо выкатится, куры и запоют. Сначала щелкают как деревяшечки, потом тррррр, тррррр, потом бу-бу-бу, а уж как распоятся — такие рулады грянут, уж так сердце разогреют, словно летишь куда, али бегом с горы бежишь, али стихи Федора Кузьмича, слава ему, из малопонятных, вспомнились:

В черном небе — слова начертаны —
И ослепли глаза прекрасные...
И не страшно нам ложе смертное,
И не сладко нам ложе страстное.
В поте — пишущий, в поте — пашущий!
Нам знакомо иное рвение:
Легкий огонь, над кудрями пляшущий, —
Дуновение — вдохновения!

А как придет осень с частым дождиком да с ветрами, все курье по всей слободе на юг собирается. Ну, хозяева провожать выйдут, печалуются. Вот главная кура вперед выйдет, одну ногу выставит, крылом махнет — всем хором они и грянут напоследок. Споют на прощанье, взмоют под небеса, покружат над родимой сторонкой, а потом вытянутся в нитку

и парами, курь-о-курь, и летят. Машешь им платком вслед, а бабы и всплакнут, бывало.

И вот эти куры взбесились. Летать перестали, петть бросили, осень прошла, зима на носу, все птицы на юг подались, а эти, бешеные, — ни в какую. Анфиса Терентьевна их метлой, хворостиной — упираются, хохлятся да еще будто и по-человечески заговорили. «Куда-а?» — спрашивают. А яйца из них поперли белые, страшные, крупные. Баба от страха чуть с ума не сошла. Бросилась Бенедикта на помощь звать, и вместе они тех поганых кур передупшили. Одно яйцо для курьезу оставили. Бенедикт его после Никите Иванычу показал. Старик — вот ничего не боится! — разбил яйцо о край миски, а там — Господи, обереги! — желтый жидкий шарик вроде как в воде плавает, а квасного-то солоду и нету... Обереги, Господи! Старик на ноги вскочил, даже закричал: где остальные?! — страшным таким голосом. Успокоили его, усадили: все путем, не пужайтесь, Никита Иваныч, сами знаем, не маленькие. Всю пакостину извели, в курятнике березовым дымом помахали, чтоб снова не завелось нехорошего, и Гугу Юродивого приводили, чтоб заговор наложил: на четыре угла, на четыре двора, с-под моря зеленого, с-под дуба паленого, с-под камня горячего, с-под козла вонючего; тай, тай, налетаю, направо дую, налево плюю, айн, цвай, драй. Заговор крепкий, проверенный, должно держаться.

Никита Иваныч за стол сел, глаза зажмурил, че-

люсти вот так вот сжал и сидел. Потом спросил, чего куры такое ели перед тем, как взбеситься. А почему мы знаем. Он и к Анфисе Терентьевне ходил расспрашивать, и думал долго. А шарик этот желтый, что в яйце завелся, он на сковородке обжарил и съел. Ей-Богу, съел!!! И ничего ему не было.

Он вообще ест не как люди. Червырей не признает. Матушку, правда, тоже от них тошнило. А Бенедикт их с детства добывать наловчился. Бывало, играет в ручьях да в лужах с ребятами — в городке глинистых ручьев много, — непременно в воде руками шарит, червырей нащупывает. Червыри, они слепые, глупые. Вот наловишь парочку дюжин, на палочку нанижешь, высушишь, а потом и натолчешь. До того они соленые! К мышинному супчику наипервейшая приправа. Отец всегда Бенедикта хвалил, да и сам червырей лавливал, а матушка лицо скривит и руками машет. Раз Бенедикт Никите Иванычу целую связку подарил. Так они так и провисели на веревочке, старик и не притронулся. Соседка заглянула — огоньку попросить, — разохалась: добро пропадает. Он ей и отдал — всех до одного. А ведь их ловить — морока, столько грязи процедишь, пока червыря нащупаешь, да он еще вьется, за пальцы кусает. Попробуй-ка сам покопайся! А не соседям отдавать.

А то раз зашел Бенедикт к старику, а тот сидит и ложницей желтый клей ест, вот как на клеях, на стволах ихних, натеки бывают.

— Вы что это, Никита Иваныч?

— МЁТ ем.

— Какой МЁТ?

— А вот что пчелы собирают.

— Да вы в уме ли?!

— А ты попробуй. А то жрете мышей да червей, а потом удивляетесь, что столько мутантов развелось.

Бенедикт припужнулся, весь замрел и вышел бородой вперед сам не свой, не разбирая дороги. Страх-то какой: старик самолично к пчелам в дупло лазил... Потом, конечно, мужикам рассказал. Только головой покрутили.

— Ну да. Пчела гадит, а мы ешь за ней?!

А Полторац — у него полтора лица, и третья нога растет — говорит:

— Что ж это нас Никита Иваныч на такие дела подбивает? А еще Истопник... А то, помните, на Муркину Горку парней водил, все хотел, чтоб землю рыли... Мол, ШАДЕВРЫ там погребены. А еще будто там доложен быть мужик каменный, огромный и сам ДАВИД. А у нас тут есть кому нас давить, лишний-то нам без надобности...

А это точно, он водил. Будто бы на Муркиной Горке МОЗЕЙ был в Пржнее Время, и будто бы там в земле камни белые закопаны, срамные. На манер мужиков и баб обтесаны, беспортошные; и титьки у них, и все. Оно, конечно, посмотреть бы интересно, а ну как это своеволие? Да и копать там — не переко-

пать. Да и на что бабы-то каменные, когда вон — живых полно? Дурит старикан. После за ним долго детишки ходили и вслед дразнили: «Никита Иваныч! Сними штаны на ночь! А как день — опять надень».

Так ничем дело и кончилось.

...Бенедикт вздохнул, вынул соринку из письменной палочки и быстро дописал сказку про Рябу. И место оставил, чтобы Оленька курочку нарисовала. А потом книжицу отнесут на торжище и на мышей сменяют. За связку мышей можно книжицу выменять. А мена только государственная, сам по своей охоте книжки перебеливать не смей, узнают — накладывают горячих.

А еще говорят.. но это пусть Васюк Ушастый отойдет. А еще говорят, будто где-то есть книги старопечатные. Правда ли то, нет, но слух такой есть. Будто те книги еще до Взрыва были.

И врут еще, что в лесу есть полянка, а на полянке — горюч белый камень, а под камнем тем клад зарыт. Вот в темную ночь, когда ни месяца, ни звезд не видать, на ту полянку прийти, да непременно на босу ногу, да задом наперед идти, да еще приговаривать: «Не то беру, что прочь бежит, а то беру, что в земле лежит», а придя на место, три раза вокруг себя обернуться, да три раза сморкнуться, да три раза плюнуть, да сказать: «Земля отройся, клад откройся», — вот тогда пойдут туманы мороком, и из леса будет скрип слышать, и тот горюч камень отвалится, и клад откроется.

И там те книги схоронены, и светятся они как полный месяц. А больше одной не брать, не хватать, а схвативши, бежать прочь не оглядываясь, а если что не так сделаешь, то будто пелена пойдет перед глазами, а когда очнешься, глядь — а ты сидишь на своей избе верхом, на самой крыше, а в руках ничего и нет.

И будто у людей эти книги видели.

ДОБРО

Ударили в колотушку: обед. До дому далеко, так Бенедикт ходил в Столовую Избу. За две бляшки можно обед из двух блюд получить. Не так наваристо, как дома, ну да разве дома так уж наваристо? Зато ходить недалеко. За Оленькой санки присылают, она дома кушает. Лапушка.

Вот привязалась к Бенедикту Варвара Лукинишна. Она давно на него одним глазом-то посматривает. Вы, дескать, в Столовую Избу? и я с вами. И бахрома у нее на голове колышется. Идти дак пойдем. Палец послюнить, свечу погасить — долго ли?

В Столовой Избе народищу!.. Бенедикт Варвару Лукинишну с мисками к прилавку подтолкнул, чтоб в хвост встала, а то еще народу набежит, — а сам кинулся к столам и два места оттер. И ложки положил: тут мол, занято. И ногой перегородил, чтоб не совались. И локти пошире расставил. И

лицом набычился: помогает.

Чужой разбежится место оттяпать, глянет Бенедикту в личико и, если духом послабей, отстанет: ну еще, подумает, с таким рылом связываться, не приведи Господь; сяду в уголок, подальше... Так-то вот на всякое дело свое разумение есть.

Чад плывет. Миски пар дают, ложки стучат, свечи потрескивают. Жарко. Повара вопят истошными голосами:

— Кто ржавь в палате курит — выйди! Дышать же нечем!

Но никто, конечно, и не пошевелится.

Добралась Варвара Лукинишна с мисками. Почти не пролила, хоть и толкались знатно.

Так. Опять мышиный супчик. Государственная еда, конечно, не чета домашней. И вроде мыши те же, а вкус, конечно, не тот. Жидковато. Зато червырей в супчик бабахнуто — скулы свернешь. Вот червырей не жалеют. Пересаливают супчик. А так ложкой повозишь-повозишь — один хвостик мышиный. Ну, глазки. Ребрышки.

Конечно, и повара понять надо. Он небось тушки припрятывает, лучшие кусочки оттяпает и домой несет, детишкам.

А и всякий бы так сделал. Ведь одно дело на чужого варить, на незнакомого: кто его знает, что за человек такой? А другое дело на свое дитяtko. Некоторые говорят: на всех, дескать, варить надо одинаково. Да где ж это видано?

Чужой он и есть чужой. Что в нем хорошего? Если не девушка, конечно. Что хорошего? А может, ему и не так голодно, чужому. Может, он как-нибудь так, обойдется. Передумает есть.

А свой — он теплый. У него и глаза другие. Смотришь — и видишь: кушать хочет. Прямо чувствуешь, как у него нутро светло. Свой — он немножко как ты сам.

Варвара Лукинишна вздыхает:

— Я смотрю, они мышей нечищенных кладут.

— Говорят, работать некому.

— Я понимаю, но все-таки. Вот приходите ко мне, Бенедикт, я вас хорошим супом угощу.

— Благодарствую, Варвара Лукинишна. Как-нибудь — обязательно.

А у нее, бедняги, гребень петушиный из глаза так и прет. Хоть не гляди.

— Вот я вас все хочу спросить, Бенедикт. Вот я стихи Федора Кузьмича, слава ему, перебелию. А там все: конь, конь. Что такое «конь», вы не знаете?

Бенедикт подумал. Еще подумал. Даже покраснел от натуги. Сам сколько раз это слово писал, а как-то не задумывался.

— Должно быть, это мышшь.

— Почему вы так думаете?

— А потому что: «али я тебя не холю, али ешь овса не вволю». Точно, мышшь.

— Ну а как же тогда: «конь бежит, земля дрожит»?

— Стало быть, крупная мышшь. Ведь они как нач-

нут возиться — другой раз и не уснешь. Ведь помните, Федор Кузьмич, слава ему, тоже пишет: «Жизни мышья беготня, что тревожишь ты меня?» Мышь это, точно.

— Странно все же как-то. Нет, вы меня не убедили.

Варвара Лукинишна много стихов наизусть знает. И все хочет понять что-то. А мало ли слов-то трудных! Другой плонет, а ей вот надо, поди ж ты. И разговаривает по-книжному. Таким манером матушка разговаривала. Или Никита Иваныч.

Варвара Лукинишна одна живет. Вот она мышей наловит, на торжище снесет и на книги сменяет. И все читает.

— Знаете, Бенедикт, для меня стихи — это все. Наша работа — это такая радость. И вот я обратила внимание: Федор Кузьмич, слава ему, он как бы разный. Понимаете, что я хочу сказать? Он как бы на разные голоса разговаривает.

— На то он и Набольший Мурза, долгих лет ему жизни, — насторожился Бенедикт.

— Нет, я не о том... Не знаю, как вам объяснить, но я чувствую. Вот, скажем: «Свирель запела на мосту, и яблони в цвету. И ангел поднял в высоту звезду зеленую одну. И стало дивно на мосту смотреть в такую глубину, в такую высоту...» Вот это один голос. А вот, допустим...

— На мосту? — перебил Бенедикт. — Это, должно быть, Поганый Мосток. Знаю. Я там червырей ло-

вил. Там, действительно, глубина порядочная. Там не зевай! Тютюхнешься — и поминай как звали. Одни пузыри пойдут. Там еще доска подгнила. Когда козляков гонят, непременно один да провалится. Я это место знаю. — И обсосал косточку.

— Нет, нет, я не о том. Вы прислушайтесь: «Послушай, в посаде, куда ни одна нога не ступала, одни душегубы, твой вестник — осиновый лист, он безгубый, безгласен, как призрак, белей полотна!» — ведь это же совсем, совсем другой голос звучит. Совсем другой.

— И посад я этот знаю! — закричал Бенедикт. — Там Пахому череп раскроили.

Варвара Лукинишна головой качает, смотрит на свечу, и синенькое пламя у нее в единственном глазу так и дрожит.

— Нет, нет... Вот я все читаю, читаю... думаю, думаю... И я все стихи на разные стопочки разделила. И нитками заново тетрадки сшила. И знаете что интересно?..

— Вон Васюку Ушастому тоже интересно, — сказал Бенедикт. — Ишь растопырился. А стихи вы напрасно туда-сюда перешиваете. Это своеволие.

— Ах Боже мой... Ну пойдете работать. Сейчас в колотушку ударят. — Варвара Лукинишна обвела глазом закопченную палату. Ржави накурили так, что не продохнешь. Синий дым висит до полу. В углу голубчики, кто свое поел, играют в щелбаны. Двое

уже набрались квасу и лежат на полу. Васюк записывает: кто.

— Все же ресторан шумноватый, — вздохнула Варвара Лукинишна. — «Я сидел у окна в переполненном зале, где-то пели смычки о любви...» Как вы думаете: смычки — это что?

— Какие-нибудь девчонки бедовые?

— Нет... Знаете, так хочется об искусстве поговорить... Приходите ко мне домой. Право, приходите!

— Ладно, зайду как-нибудь, — сказал Бенедикт с неохотой. Если бы она не такая страшная была, он бы, конечно, с удовольствием. В баньку попариться — а потом и в гости. А так — успеется.

А может, если зажмуриться, — оно и ничего. Баба добрая. Еще и супу нальет. Правда, что-то она всеми этими разговорами Бенедикта растревожила.

В Рабочей Избе все в сборе, а Оленьки нет. Бенедикт подождал, погрыз письменную палочку. Не идет. А это бывает: до обеда она на месте, а ввечеру не приходит. Стало быть, так надо. Не наше дело. А скушно.

Сел перебелять новую сказку: «Колобок». Смешная такая история, ужаси. Этот колобок и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и от медведя, и от волка. По лесу знай себе катался. Песенки пел веселые, с прибаутками: «Я колобок-колобок, по амбару метен, по сусеку скребен, на сметане мешон, на окошке стужон!» Бенедикт радовался за колобка, пишучи. Посмеивался. Даже рот открыл, пока писал.

А как дошел до последней строки, сердце екнуло. Погиб колобок-то. Лиса его: ам! — и съела. Бенедикт даже письменную палочку отложил и смотрел в свиток. Погиб колобок. Веселый такой колобок. Все песенки пел. Жизни радовался. И вот — не стало его. За что?

Бенедикт сплотнул и обвел глазами избу. Все пишут, склонились. Свечи помаргивают. Медвежьи пузыри на окнах синевою отливают. Вечер уже. Никак и метель собралась. Наметет высокие сугробы, засвищет по улочкам, занесет избы по самые окна. Застонут высокие деревья в северных лесах, выйдет из лесу кысь, подступит к городку, завоет жалобно: кы-ысы! кы-ысы! А над городком снежный ветер бушует, над теремами завивается, далеко разносит дикую жалобу.

Представилось Бенедикту, как сидит он в детстве на печи, свесив валенки, а за окном метель гуляет. Трещит синеватая свечка из мышиноного сала, тени под потолком пляшут, матушка у оконца сидит, вышивает цветными нитками полог или полотенце. Из-под печки вылезает Котя, мягкий, пушистый, прыгает Бенедикту на колени. Матушка Котю не любит: если он за подол ей уцепится, всегда его стряхивает. Говорит, не может его голого розового хвоста видеть, морды с хоботком. И не нравится ей, что пальчики у него тоже розовые, детские. Будто в ее молодости звери эти совсем другими были. Ну, мало ли что раньше было! А не будь Коти, кто бы им столько мышей ловил, и откуда бы они брали сало для све-

чек? А Бенедикт его любит. Протянешь ему палец, он обхватит ручонками и мурлычет.

А у матушки вроде бы старопечатная книга была. Только она ее прятала. Потому что они, говорят, разные. Так что Бенедикт ее не только не трогал, но даже и не видел, и матушка строго-настрого запретила о ней говорить, будто ее и нет.

Отец ее сжечь хотел, боялся. Какая-то Болезнь от них, Боже упаси, Боже упаси.

И тогда Красные Сани приедут.

И в санях — санитары, не к ночи будь помянуты. Скачут они в Красных Санях — тьфу, тьфу, тьфу, — в красных балахонах, на месте глаз — прорези сделаны, и лиц не видать, тьфу, тьфу, тьфу.

И вот сидит Бенедикт на печи, а матушка вышивает, а метель за окном воеет, а свечечка чуть теплится, как огонек над болотной ржавью, и в углах темно, и отец уж спать собрался и одежду скидывает.

И вдруг как закричит: а-а-а-а! И глаза выпучил и на живот себе смотрит, а сам все кричит да кричит. А на животе у него вроде как сыпь, али будто кто его грязными ладошами обхлопал. А он кричит: «Болезнь! Болезнь!»

Матушка — ноги в валенки, платок на голову и в дверь: за Никитой Иванычем.

Отец:

— Сообщит! Сообщит! — и за подол ее хватает.

Это он что Никита Иваныч санитарам сообщит. Куда там! Вырвалась — и в метель.

Вваливаются с Никитой Иванычем. Тот:

— Ну, что еще? Покажите. Ну, что, ну, нейродермит. Мышей меньше есть надо. Само отвалится. Не чешите.

И вправду, прошло. А старопечатную книгу отец все же нашел и сжег. Он не так заразы боялся, как санитаров, не к ночи будь помянуты.

Потому что они забирают и лечат, и люди после того лечения не возвращаются. Никто еще не вернулся.

И страшно об этом подумать. А по улице идешь, и вдруг посвист и гиканье: Красные Сани несутся, а в них шестерка перерожденцев запряжена. И вот ты как есть, тулуп ли на тебе, зипун ли, летом рубачка, — бросишься так-то в сторону, в сугроб али в придорожную грязь, голову руками закроешь, сожмешься: Господи, пронеси!.. Обереги!.. Вдавиться бы в землю, в глину уйти, слепым червырем стать — только бы не меня! Не меня, не меня, не меня, не меня!..

А они все ближе, а топот все громче — вот, накатило! Жар, и свист, и хрипло дышит шестерка, и комя грязи из-под полозьев... и пронеслись. Тишина! Только вдали затихает тупая дробь валенок.

Я не болен, я не болен, нет, нет, нет. Не надо, не надо санитарам приезжать, нет, нет, нет. Боже упаси, Боже упаси, нет, нет, нет.

ЕСТЬ

Вот как Котя-то помер, так и мышей ловить стало некому. Голыми-то руками много ли наловишь? Конечно, наука на месте не стоит, бесперечь развивается. Бенедикт, бывало, петли ладит, смертные удавочки. Веревочку тугую из ниточек скрутит, мышинным салъцем хорошо натрет, с одного конца особо петлей завьет, чтоб скользила, на пальце проверит — и на охоту. Полы у нас щелястые, раззявые, да оно не столько от убожества нашего, сколько для того, чтоб мыши легче выходить было: давай, давай сюда, голуба! Сказывают, что у богатых голубчиков, у кого терема высокие, расписные, двухъярусные, — ежели он, к примеру, мурза или так разжирел, с жизни неправедной, — у тех все-то щели позаткнуты, так что и не дует даже в самый мороз. А как же еду добывают? А так, что у них в подполе особые холопы посажены, а научены те холопы на мышь бросаться, а больше они ничего не знают. Сидят они, сказывают, в подполе день-деньской, в темноте кромешной, а видят как днем. А на свет им выйти нельзя, от дневного свету они враз слепнут, и вся их холопская мышеловная сила на том и кончается. А все может быть.

А мы народ простой, мы на пол брюхом ляжем, удавочку в щель запустим и ну подергивать. Мышь — она тварь глупая, ей самой интересно: что там за удавочка болтается? — вот она голову-то в петлю и сунь, а мы: тяфф! — и выдернем.

А что Федор Кузьмич, слава ему, научную вещь для нас измыслил, мышеловку, так это у людей тоже стоит, но без дела. В эту мышеловку, чтоб работала, надо еды кусок положить, а иначе мыши никакого интересу в нее заходить не будет. Зато ворам интерес большой. Как ты из дому вон — вор-то, он дознается, что у тебя еда разложена, да и наведается. Обчистит и спасибо не скажет.

Воры — народ такой: они все берут. Мясо берут, вермишель, орехи, хлебеду, грибыши, если кто запасся, — все. Вот ржавь не берут. Ее всюду полно. Это уж каким лентяем надо быть, чтобы ржави не напасть! Но, правда, если уж очень хорошая, сухая, пышная — тогда да. Тогда возьмут.

А и вора понять же надо. Вот идет он по слободе и видит: дверь у избы палкой подоткнута. Хозяев нетути. Их нетути, а в избе, может, мясо заячье. А?!. Может это быть? Очень может быть! Может, мужик изловчился и сбил его, зайца-то, камнем, а может, сменял у соседей на яйца али хвоци? Может, ему талан вышел, зайца достать! Мысль-то и западет в голову. Пройдешь, может, мимо — так никогда и не узнаешь! Как же не зайти. Зайдет, оглядится. Коли точно, есть мясо — мясо возьмет, коли нет — обозлится, что промашка вышла, возьмет что есть, да хоть червырей. А уж ежели что взял, дак кто ж его удержит? Ай, думает, все равно изба обокрадена, уж одно к одному — и давай выносить все подчистую.

А у Бенедикта красть нечего. Запасов не держит, что поймал, то и съел. Только что и есть ржави полный чулан.

Ржавь чем хороша. Она в любое дело идет. Ее и курят, и пьют, и чернила из нее варят, и нитки красят, если кому охота полотенца вышивать. Брага из нее хороша, особенно когда мороз на дворе. Дом тоже утеплять можно: между бревен в пазы натыкивать. А кто и крышу крыть ржавью пробовал, но — не вышло. Клубки круглые, жесткие — сваливаются. На крышу хорошо солома. Кто побогаче — доски тесовые.

Ее на трясине берут. Вот как выходной — все, чуть свет, туеса подхватят — и кто куда. Бенедикт одно место хорошее приметил. Там Никита Иваныч столб поставил: «Садовое Кольцо». Никакого, конечно, кольца там нет, одни избы рядами. Там уж и городок кончается. А в аккурат за избами — трясина, вся ржавью покрытая. Рви не хочу. Там даже местные тебя не шугают; другие побили бы, что ты к ним ходишь, а эти — нет. Вот идешь, поспешаешь спозаранку, зимой заря мутная, красная, холодом от нее тянет.

От зари роскошный холод
Проникает в сад,

— сочинил Федор Кузьмич.

Садов у нас, конечно, нету, это разве у мурзы какого, а что холодно — это да. Проникает. Валенки

прохудились, нога снег слышит. Вот бежишь шибко-шибко, через Поганый Мосток, вверх на горку, потом опять вниз, мимо кохинорской слободы. Если кохинорец высунется, кинешь в него камнем для потехи, вроде согреешься, и дальше бежать. А почему кинешь, потому как кохинорцы эти не по-нашему говорят. Бал-бал-бал да бал-бал-бал — да и все тут, да и ничего не разберешь. А почему они так говорят, почему по-нашему не хотят — кто ж их знает. Может, назло. А может привычка такая вредная, это тоже бывает.

А и то сказать, сами себе вредят. Что они там кохинорски-то сказать могут? По-нашему куда сподручней: сел, рассудил не спеша: вот так, дескать, и так; это вот и то-то. И все ясно.

А эти — вот поди ж ты, уперлись, и всё тут. Ну а кто говорит, что им просто носы мешают; дескать, они бы и рады сесть да побеседовать по-нашему, да вот носы. Носы у них до полу — право, смех один. Такое у них Последствие.

Наши, бывало, как делать нечего, соберутся вечерком у кохинорской слободы, на плетнях висят, головами крутят, хохочут. Эй, дескать, кохинорцы, чего носы-то поразвесили, ай лапти нюхать?.. А вот мы вам сопелки поотрываем!.. Те, бывало, забегают, сердитые такие — смех, ставни затворяют, детей в дом загоняют, да все бал-бал-бал! А если удачно камнем кинешь да в лоб такому попадешь, он айййй! — и за шишку не руками, а носом хватается, иу, тут

вообще потеха, с плетней ребята наши падают.

А Иван Гвядич, что на Мусорном Пруду избушку держит, — тот так эти шутки любит, что каменьями загодя запасается: нарочет у себя в огороде и в бочки складывает. Ребята, если в слободу собрались, мимо него нипочем не пройдут, он уж знает, в окошко поглядывает. Стой, ребята, меня возьмите, сам не дойду!

У Иван Гвядича Последствия уж очень тяжелые. Голова, руки, плечи — это все крепкое такое, ладное, могучее, в три дня, как говорится, не обгадишь, а изпод мышек — сразу ступни, а посередке — вымя. Это Никита Иванович так сказал: «вымя», а мы такого слова не знаем, да и ни к чему нам, да и в книгах такого слова нету, а по-нашему это сиська.

Ну, бывает и конфуз, конечно. Раз наши собрались дразнить кохинорцев, прихватили, кто ходячий, Иван Гвядича на закукорки, тот две полные шапки камушков набрал, поет, — а он и мастер же старинные песни распевать, бывало как заведет: «Эх, Дуня, Дуня, Дуня, Дуня, Ду, била Дуня Ваню колом на леду!» — да плечами-то поводит, да глазами-то поигрывает, зубы белые, сверкают, — удаль молодецкая, да и только! — поет он, стало быть, а кохинорцы уж слышали, окна-двери позатворяли, попрятались, одного только старика на дворе позабыли. Ясно, ему от ребят за всех досталось. А этот старик вредный осерчал, да носом-то своим камению, все равно как рукой, хватать! — да и звезданул

Иван Гвядичу по вымени. Тот: бульк! — и лежит. Ребята наши тоже обозлились: что это, наших бить, — и полслободы кохинорцам разворотили.

Ну это все больше в праздник, когда настроение хорошее, а в будни у всех дел полно, наши на службу государеву ходят, после суп варят или ржавь курят, а кохинорцы из мышинных хвостов торбочки плетут, туески, да такие искусные, заковыристые, а после на торжище обменивают. А больше они ни на что не годятся, кохинорцы.

Вот, стало быть, мимо ихней слободы пробежишь, бросишь чем али так — и на трясину. За неделю ржавь свежая подросла, красноватая али как бы с прозеленью. Ее курить хорошо. А старая побурей будет, ту на краску али на брагу больше применяют. Вот в сухой листик мелкой ржавки напѣхтаешь, самокруточку свернешь, в избу какую постучишь, огоньку у людей спросишь.

Ежели сразу в лоб не дадут, то, может, поворчат да и пожалуют — огоньку-то. Идешь, попыхиваешь, и вроде теплей стало, вроде ты и не одинок, вроде и у голубчиков, что навстречу попадаются, рыла не такие зверообразные.

ЖИВЕТЕ

Нрав у Бенедикта переменчивый, это уж он и сам знает. День на день не приходится. То другой раз с

утра такая бодрость вступит беспримерная, каждая жилочка так и напряжится: ьых!!! Пол-света, думаешь, сворочу. Тогда руками работать охота. Вот под такое дело и ищешь себе занятие: рубить, али тесать, али что по дому ладить, топор али жбан соорудить, может, ведро выдолбить. Раз так вот дюжину тесовин для крыши обстругал. Право! Вот не дать соврать, дюжину! Ну не дюжину, так три штуки. Все равно много. И петь охота. Промко.

То скука плаксивая нападет. Это больше к вечеру. Особо по осени, а уж зимой-то едва ли не каждый день. Но и летом бывает.

Вот ввечеру, как солнце западать начнет — за волнистые поля, за синие горы, за дальние леса, куда никто и не хаживал, как тени длинные падут и будто тишина подступит, — вот тут оно и случается. Сидишь это на крылечке, покуриваешь, с соседями переругиваешься. Мошки в воздухе толкутся. Вот все птицы, все лесные пугалища вроде как приумолкли. Будто кто прошел и пальцем погрозил. А потом снова все враз начали, да уже другими голосами, ночными. Из дубравы шорох слышится, кулдыканье, чваканье, а иной раз засвиристит или мякает по-нехорошему.

Соседи говорят:

— Это русалка, язви ее.

А другие:

— Ну щас, прямо. Это деревяница, у ей гнездо тута.

Тут баба-дура какая-нибудь встрянет:

— Может, это слеповран.

Все на нее и накинутся:

— От то-то ты и дура!!! «Слеповран»! Слеповран без голоса, на то он и слеповран!

Баба глупая опять вякнет:

— Может, он и слепой, а голос у его трубный. Я ж слышу, чай не глухая.

Все:

— Он слепой-то получше твоего видит! Что ему надо, он видит! У его вся сила-то в когтях! А не голос!

Хозяин — бабы этой муж — замечание ей делает;

— Ладно, баба, поговорила — и иди себе. Вари чего-нибудь. Много рассуждать стала.

Вроде бы все как всегда: беседуют, мысли сообщают, оумнения в природе выражают. А Бенедикту вдруг так-то тошнехонько станет! Будто вот тут вот, в середке, изжога припечет, а вокруг того печева, кольцом, — холод какой. И в спине тоже вроде неудовольствие. И за ушами тягучка. И слюна горчит.

Другой раз кому пожалуешься, а тебе и скажут:

— Это тебе кысь в спину смотрит.

Нет. Вряд ли. Непохоже. Это внутрях чего-то уклоняется, а может, как Никита Иваныч говорит, это ФЕЛОСОФИЯ.

Смотришь на людей — на мужиков, на баб, — словно впервые видишь, словно ты другой породы, али только что из лесу вышел, али, наоборот, в лес

вошел. И все тебе в диковинку, в скучную диковинку. Вот, думаешь, баба: ну зачем она, баба? Щеки, живот, глазами мыргает, говорит себе чего-то. Головой вертит, губами шлепает, а внутри у ей что? Темнота мясная, кости скрипучие, кишки колечком, а больше и нет ничего. Смеется, пугается, брови хмурит — а есть ли у ей и вправду чувства какие? Мысли? А ну как она притворяется бабой, а сама оборотень болотный? Вроде тех, что по кустам гукают, в старой листве шуршат, скрипят ветвями, а себя не покажут? А вот ежели встать, подойти да проверить: пальцы рогулькой расставить да ей в глаза-то тыкнуть? Что будет? Вяк! — и упадет, верно?

Ну, ясно, крику не оберешься, мужики тебе по шлям накладывают, не посмотрят, что ты государственный писец, казенный голубчик, — разворотят тебе мордовасию; а ежели какой малый мурза дознание учинит — клясться будут и божиться, что это так и было, что синяя харя — это у тебя обычное Последствие, что и у родителей твоих такое же рыло неудобосмотримое на морде висело, и у бабушки.

Вот и сегодня, к вечеру, в аккурат на самом рабочем месте, невесть с какой причины у Бенедикта ввнутрих ФЕЛОСОФИЯ засвербила. Мутно-мутно, как тень под водой, стало что-то в сердце поворачиваться, томить и звать, а куды? — и не скажешь. В спине как озноб какой, и на слезу потянуло. И то ли злоба разжигает, то ли летать хочется. Или жениться.

Колобок из головы нейдет, страшная такая история. Как он все пел, пел... Все катился, катился... На сметане мешон, на окошке стужон... Вот тебе и стужон.

Барвара Лукинишна тоже с разговорами с этими со своими неясными. «Конь» ей знать надо. Беспокойная какая. Мало ли что Федор Кузьмич, слава ему, в стихах выразит. На то и стихи, чтоб ни бельмесу не понимать. А что Федор Кузьмич, слава ему, на голоса разговаривает, так это что ж... Это, поди, всякий так. Вон Бенедикт: с утра из дому по солнышку шел, снегом поскрипывал, мысли всякие хорошие в голове вертел, и все ему было нипочем. А нынче, на ночь глядя, весь он словно другой: слабый и боязливый, и темь за окошком такая, что на улицу выйти — как в валенок головой, а надо. И Оленьки нет, а без нее в избе еще тошнее.

Ударили в колотушку: кончай работу.

Голубчики с мест повскакали, письменные палочки побросали, слюной свечки тушат, спешат, зипуны натягивают, в дверях толкаются. Шакал Демьяныч, малый мурза, столы обходит, готовые свитки в короб собирает, пустые чернильницы в туюса запикивает, письменные палочки ветошкой обтирает. Ворчит, что ржави много изводим, что палочек не напасесси, дак на то он и мурза, чтобы зудеть, людей язвить, а дана ему такая власть над нами, потому как он есть Ветеран Ледового Побойща. А что за Побойще, и в какие годы и с кем Шакал Демьяныч по-

бывался, и много ли голубчиков уложил палицей али клюкой — про то не знаем, да и знать не хотим, да и скажут — не запомним.

Вот и кончен день, и погас, и отгорел, и пала ночь на городок, и Оленька-душа растворилась где-то в кривых улочках, в снежных просторах, как придуманная; и съеден мимолетный друг-колобок, и теперь Бенедикту поспешать домой, добираться по пригоркам, по сугробам, спотыкаясь, и падая, и зачерпывая снег рукавом, и нашаривая тропинку посреди зимы, и разводя зиму руками.

Зима — ведь это что? Это как? Это — вошел ты в избу с мороза, валенками топая, чтоб сбить снег, обтряхиваешь и зипун, и задубелую шапку, бьешь ее с размаху об косяк; повернув голову, прислушиваешься всей щекой к печному теплу, к слабым токам из горницы: не погасло ли? — не дай Бог; рассупонившись, слабеешь в тепле, будто благодаришь кого; и, торопливо вздув огонь, подкормив его сухой, старой ржавью, щепками, полешками, тянешь из вороха тряпиц еще теплый горшок с мышинными щами. Пошарив в потайном укрытии, за печью, достаешь сверток с ложницей и вилицей — и опять будто благодарен: все цело, не поперли, вора, знать, не было, а коли и был, дак не нашел.

И, похлебав привычного, негустого супу, сплюнув в кулак коготки, задумаешься, глядя в слабый, синеватый огонек свечки, слушая, как шуршит под полом, как трещит в печи, как воет, подступает, жалу-

ется за окном, просится в дом что-то белое, тяжелое, холодное, незримое; и представится тебе вдруг твоя изба далекой и малой, словно с дерева смотришь, и весь городок издалика представится, как оброненный в сугроб, и безлюдные поля вокруг, где метель ходит белыми столбами, как тот, кого волокут под руки, а голова запрокинулась; и северные леса представляются, пустынные, темные, непроходимые, и качаются ветки северных деревьев, и качается на ветках, — вверх-вниз, — незримая кысь: перебирает лапами, вытягивает шею, прижимает невидимые уши к плоской невидимой голове, и плачет, голодная, и тянется, вся тянется к жилью, к теплой крови, постукивающей в человеческой шее: кы-ысь! кы-ысь!

И тревога холодком, маленькой лапкой тронет сердце, и вздрогнешь, передернешься, глянешь вокруг зорко, словно ты сам себе чужой: что это? Кто я?

Кто я?!..

Фу-ты... Это же я. Словно на минуточку себя выпустил из рук, чуть не уронил, еле успел подхватить... Фу... Вот что она делает, кысь-то, вот что она уже издалика с тобой делает, вот как она вынюхивает, чует, нашаривает, — через дальнюю даль, сквозь снежную бурю, сквозь толстые бревенчатые стены, а случись она рядом?..

Нет, нет, нельзя, ну ее, не думать о ней, гнать, не думать, вот засмеяться надо или сплясать — вприсядку пуститься, как на Майский Выходной, песню дробную, громкую запеть!

Ай ду-ду, ду-ду, ду-ду! Да разлюлюлечки ду-ду! Да трилялюшечки мои! Да тритатушечки мои!!!

Вот так... Вроде легче... Искусство возвышает, учит Федор Кузьмич, слава ему. Но искусство для искусства — это нехорошо, учит Федор Кузьмич, слава ему. Искусство должно быть тесно связано с жизнью. «Жизнь моя! Иль ты приснилась мне?» — может быть... Не знаю.

Да и что мы про жизнь знаем? Ежели подумать? Кто ей велел быть, жизни-то? Отчего солнце по небу катится, отчего мышь шебуршит, деревья кверху тянутся, русалка в реке плещет, ветер цветами пахнет, человек человека палкой по голове бьет? Отчего другой раз и бить неохота, а тянет словно уйти куда, летом, без дорог, без путей, туда, на восход солнца, где травы светлые по плечи, где синие реки играют, а над реками мухи золотые толкутся, неведомы деревья ветви до воды свесили, а на тех ветвях, слышь, белым-белая Княжья Птица Паулин. А глаза у той Птицы Паулин в пол-лица, а рот человеческий, красный. А красоты она таковой, Княжья Птица-то, что нет ей от самой себя покою: тулово белым резным пером укрыто, а хвост на семь аршин, как сеть плетеная висит, как марь кружевная. Птица Паулин голову все повертывает, саму себя все осматривает и всю себя, ненаглядную, целует. И никому из людей от той белой птицы отродясь никакого вреда не бывало, нет и не будет. Аминь.

ЗЕЛО

Богатые — они потому богатыми называются, что богато живут.

Взять Варсонофий Силыча, Большого Мурзу. Он над всеми Складами надзирает, решает, когда Складской День назначить, да чья очередь подошла, да какой товар народу раздать.

Ума Варсонофий Силыч государственного, такового же и вида: тучности прямо изумительной, даже и для мурзы редкостной. Вот ежели человек шесть голубчиков вместе связать, так это и до половины Варсонофий Силыча недотянет; нет, недотянет!

Голос у него тяжелый, сиплый и вроде как медленный. Скажем, надобно объявить работникам, чтоб в воскресенье, под Майский Выходной, Центральный Склад отворили и выдали народу по полпуда хлебеда да по два мотка ниток некрашенных. Другой бы, кто попроще, открыл рот, да и сказал что надобно, да и опять рот закрыл, до другого раза.

А вот и вышел бы подход негосударственный, и никто б его, такого, не слушался, и не бывать бы такому Мурзой.

А у Варсонофий Силыча как заведено: призовет с утра малых мурз, Складских Работников, и начнет: «Р-а-з-д-а-т-е.....», а что раздать, и не выговорит до вечера, потому как ему казенного добра жалко.

А и то, как не пожалеть! Это, полпуда-то, — на од-

ного голубчика, а еще выдай и на бабу его, и на детишек, и на дедульку-бабульку слепеньких да хроменьких, да с каждого обихода родня али работни-ки, да и перерожденцев кормить надо? — надо, — а изоб-то в одной Центральной Слободе, почитай, тыща, а ежели весь Федор-Кузьмичск, весь городок наш, набежит кормиться, так это же добра не напа-сешься!

А самому есть? А семье? А Складским Работни-кам? А холопам ихним? И-и, милые! — то-то! Без подхода нельзя!

И ум нужен: думу думать. Скажем, крышки. Опять-таки, простой голубчик, из жалостливых, как бы рассудил? — взять все крышки да попросту и раз-дать. Мигом бы слух прошел, набежало бы народу — не продохнуть, толчея, давка, крики; на закукорках у ходячих — увечные, те, кого в прошлые разы пода-вили; вопят: «Инвалиду!.. Инвалиду крышку!!!»; в толпе дети малые снуют — по карманам шарить, подворовывать; кто кота на веревке тащит, кто коз-ляка, чтоб лишнюю крышку прихватить: это, дес-кать, шурин мой, тоже хочет, а что у него шерсть, рога али вымя — дак это, голубчики, Последствие, али вы сами беленькие? — то-то.

Друг друга поубивают, крышек натащат сколько повезет, — у кого и сердце насмерть лопнет таскаю-чи, — а опосля в избе сидят, смотрят чего набрано, сами в ум не возьмут: а чего с ними делать-то? Чего ими покрывать? Эта велика, а та мала, никуды не

приткнешь. Повертят-повертят, побьют с досады, да и свалят на задний двор под плетень.

Нет, с нами так нельзя.

Вот Варсонофий Силыч все это рассудивши, да рассмотревши, да думу думавши, и решает: крышек нипочем не выдавать. И народ, и крышки целее будут.

А еще думает: коли суп без крышек кипит, дак он наваристее выходит, вроде как уседает. Оно и вкусней.

А еще думает: коли крышек нетути, дак мечта у каждого будет заветная: эх, крышечку бы мне! А с мечтой и жить сподручней, и засыпать слаще.

Вот оно-то и есть государственный ум.

Оттого и живет Варсонофий Силыч богато, терем у него двухъярусный, с маковками, на верхнем ярусе в обвод терема настил пущен на подпорках, называется галерея, по галерее — для страху — холопы расхаживают, поглядывают, нет ли против хозяина злоумышления, не желает ли кто камнем кинуть в его палаты али чем побольнее.

Во дворе службы разные: сараи, амбары, хлев для перерожденцев, бараки, где холопы живут. А холопов тьма-тьмущая: и мышеловные холопы, и мукомольные, и квасовары, и грибышатники, и хвощевники, и кого только нет! Есть и девки-поломойки, и пряжи, и ткачихи, а есть одна баба особая, и приставлена та баба снежки катать, толчеными огнецами, как мукой, обваливать и к столу подавать, и Варсонофий Силыч те снежки кушать изволит.

Бенедикт один раз сподобился Варсонофий Силыча во всей славе его лицезреть: шел себе мимо да и видит: стой, не пройдешь, малые мурзы дорогу перегораживают, на голубчиков гавкают, а кого и по спине колом огреют: не суйся. Тут тесовые ворота отворяются, колокольцы звенят, перерожденцы валенками топочут, сани скрипят, — ма-а-а-а- атушки мои! — в санях Варсонофий Силыч гора-горой расемши. Народ обрадовался, шапки поскидал, в пояс кланяется: «Доброго здоровьичка, долгих лет тебе жизни, Варсонофий Силыч, кормилец ты наш ненаглядный, супруге твоей тож, деткам тож! Что б мы без тебя пили-ели, родной ты наш, золотинушка ты наша слатенькая!»

Вот так ему все кричат — и Бенедикт тоже, — чтобы он, ирод, размяк маленько, еды другой раз прибавил: сальца, репы, хвощей к праздничку, а не сам все съедал-то.

А вот Федора Кузьмича Бенедикт никогда в глаза не видал. И уж не чаял сподобиться.

И вот оно, пожалуйста: нонеча, в обычный день, самый что ни на есть простецкий февральский денек, серый, мутноватый, метелистый-порошистый, с северным тревожным ветерком, — дует он и сметает снежный порошок с крыш за воротник, холодит голубчикам шею, набивается в бороду, красит уши в маков цвет, — словом, в обычный такой день, сегодня! сегодня! — подкатили к Рабочей Избе сани, а в

санях гонцы разряженные, в кушаках, да шапках, да рукавицах, да ноговицах, да боже ты мой чего на них только не наверхено! — и объявиди: жалует вашу Избу сам Федор Кузьмич, слава ему, пресветлым своим посещением.

А в Рабочей Избе, ешь твою двадцать, с утра все печи погасли. Ночные работники, истопники, вместо того чтобы дровишки подкладывать да огонь раздуть, упились ржави, а может, квасу, а может, слышь, и гонобобелю нанпохались, хоть это и своеволие, — да все и проспали. Как протерли глаза, кинулись к печам — а там один пепел холодный, да и тот в трубу выдуло.

Крику!.. Крику-то матерного, отборного! — другой раз за год столько не услышишь, а что делать? — делать нечего; побежали в соседние Рабочие Избы за огоньком, а те не дают. Вы нам в прошлый раз не дали, а мы вам — теперь; хозяйство — дело рук каждого, разбирайся сам. А что нам за дело, что вы казенные; мы чай еще казеннее вас. Пошли, пошли отседа, козолупы дроченые! щас мы вам вдогонку звездолей-то накидаем.

Так наши и убралась ни с чем, а тут, вишь, гонцы. Наши перепужались, озлобились, чуть не плачут; кто руки заламывает, кто со страху описался, а Константин Леонтьич, что в углу у окошка сидит, на время как бы из ума вышел: стал кричать, что, дескать, вижу, вижу столп бестелесный, пресветлый, преужасный, громоподобный и стоочитый, и в том

столпе верчение, и струение, и крылья, и зверь, идущий на четыре стороны.

А начальство, точно, озверело и побежало на четыре стороны, с криками да воплями: где Никита Иваныч, Главный Истопник? подать сюды Никиту Иваныча!

И Бенедикт тоже вместе со всеми заволновался, забегал — аж в висках застучало, в глазах темь пятнами пошла: Никита Иваныч! Где Никита Иваныч! Ведь вот, ведь сейчас, событие-то какое, случай-то какой, Господи! может, раз в сто лет Федор Кузьмич народу показываться изволят, слава ему! В кои-то веки с терема сошел с ясного, с крутоверхого, с-под резных курдалясин, что под кровлей понадрючены, с-под маковок багряных, молодой ржавью крашенных, боботюкалками утыканых, кукумаколками изузоренных! Госсподи!.. Госсп...! Радости-то, страху-то, радости-то!.. Да я...! да куда же мне...! да Госсподи!.. да где же Никита Иваныч, язви его!.. Не понимает, что ли?!

Гонцы той порой с саней поскакивали и давай расстилать чего с собой понавезли: половики камчатные, узорные да плетеные по всей Избе раскатали; и на крыльце половик, и с крыльца половик; мигом снег вокруг избы утоптали и медвежьими шкурами вроде как полукруг выложили; благолепие такое, что вот сейчас умри, и не пожалеешь. Васюк Ушастый припал всеми ушами к земле и слушал: не едут ли; и вот уж кричит: «Слышу! Едут!» — и сразу

вдали будто облако белое задрожало: снег пылит. Выросло облако, надвинулось, и народ чуть не умер, но зря: то лишь малые мурзы оказались, для пущей важности проехали: дескать, трепещите загодя.

Вот проехали они, только народ понапрасну попужали, а уж после, какое-то время прошло, — чу! — будто колокольцы каменные застучали. И птицы шарахаться начали, и помертвело все, и вот будто туча снежная идет, а в ней смерчи вертятся. Тут все, как есть, кто стоял у крыльца: истопники нерадивые, писцы, Оленька мелькнула, повара из Столовой Избы, так прохожие — все, кто набежал посмотреть, — повалились лицами долу, и Бенедикт с ними, так что как подъехали, как из саней выходили, чего такое было и каки-таки церемонии, али возня, али что, — ничего он не видел и не слышал, а только сердце в ушах билось, колотилось: туки-тук! туки-тук! Опомнился, только когда его пинками с сугроба подняли и в избу погнали благоговеть. А там! — даже будто и теплее стало: лепота, половиками все укрыто, аж на тубаретках половики, на лавках половики, окошки кружевами кисейными укрыты, весь сор в углы заметен и берестой прикрыт, так что и не видать, разве что пованивает; а свечей понатыкано — ужаси, да только ни одна не горит. Огня нетути. Никиты Иваныча нетути. Вот кто-то Бенедикта в спину торкнул: садись, голубчик, Федор Кузьмич не любит, когда столбом стоят. Бенедикт сел, замер и смотрит.

И все замерли, и совсем мертво стало. И из-за дверей шажки такие маленькие: туку-туку-туку, — и в избяные сумерки, на багряный половичок ступает Федор Кузьмич, слава ему.

— Вот и я, голубчики, — говорит.

И от страха и радости в голове у Бенедикта жар сделался, а в груди словно бы какое пространство расширилось, а посереде того пространства ровно кулаком стиснуло, подперло и не продыхнуть. И смотрит Бенедикт как сквозь туман, и диву дается: ростом Федор Кузьмич не больше Коти, едва-едва Бенедикту по колено. Только у Коти ручонки махонькие, пальчики розовенькие, а у Федора Кузьмича ручищи как печные заслонки, и пошевеливаются, все пошевеливаются.

— Не ждали? — говорит Федор Кузьмич, засмеявшись. — Картину я хочу такую нарисовать: «Не ждали», ага. Думаю, понравится. Там, это, ну, один входит, а другие, значит, с мест повскакавши и удивимши. Ну, давайте разговоры разговаривать. Как живется, работается, чего такое делаете?

— Переписываем, Федор Кузьмич! — зашумели голубчики, а Федор Кузьмич засмеялся, и многие тоже смеяться стали, вроде как облегчение вышло: простой такой Федор Кузьмич, слава ему, оказался; может, и пугаться нечего, разве что вот руками шевелит.

— А дайте-ка я тоже сяду, — опять засмеялся Федор Кузьмич. — Охота к народу поближе, ага.

Головой по сторонам повертел и прыг на колени к Оленьке. А она его поперек живота ухватила, как Котю, и держит. Не боится.

— Крепче держи, а то свалюсь, ага, — говорит Федор Кузьмич. — Под микитки держи, двумя руками. Только не щекоти, ага.

— Рады встретиться, Федор Кузьмич! Долгих лет жизни! — заговорили голубчики. — Сподобились! Спасибо вам!

— Спасибо вам за ваше искусство! — крикнул Васюк Ушастый.

— Спасибо, что вы есть! Спасибо! — это бабы.

— Я завсегда рад встречаю с интеллигенцией, ага, — Федор Кузьмич головку вывернул и снизу Оленьке в личико посмотрел. — Особенно когда тут такие лямпампушечки меня под микитки держат. Верно? Только не щекоти.

— Верно, Федор Кузьмич, — зашумели голубчики.

— Вот думаю картин много понарисовать, — сказал Федор Кузьмич. — Если, конечно, ржави хватит, ага.

Тут все совсем развеселились: уж чего-чего, а ржави всегда хватает.

— Построю большую-пребольшую избу, картинки нарисую и гвоздиками к стенкам приколочу, — делился Федор Кузьмич. — И в честь себя назову: Каблуковская, дескать, галерея. Ежели кто не знает: Каблуков моё фамилие.

Так все и грохнули: кто ж этого не знает.

— Вопросы какие будут? Может, чего непонятное сказал, дак вы спрашивайте. Спрос не ударит в нос, верно?

— Верно! Ой, верно, Федор Кузьмич, долгих лет вам жизни! — закричали голубчики. — Правильно! Вот в самую точку попали! Ну до чего ж верно, вот в аккурат в самую середку! Точно! Точно! Так и есть!

— А картины — это что? — Оленька голосок подала.

Федор Кузьмич, слава ему, опять головку вывернул и опять на нее посмотрел.

— А вот увидите. Сурприз вам будет. Это вроде рисунка, только крашеное. Один сюжет я придумал смешной, ужаси. Там один голубчик мыша ест, а другой, значит, к нему в избу входит. А этот, который ест-то, значит, мыша прячет, чтоб тот-то, другой, не отнял. А называться будет «Завтрак аристократа», ага. А еще чего я придумал-то. Одну картину я красил, а она у меня вышла не очень. Назвал «Демон». Ну там я все синим позакалякал, ага. Так я думаю вам ее в рабочую избу подарить, ага. Повесьте ее тут где-нибудь, чего она у меня зря болтается. — И рукой свите махнул: — Подайте ее сюды.

Вот один из свиты за пазуху полез, коробку берестяную достал, из коробки тряпицу вынул, развернул, а там вроде как лист какой — береста не береста, а побелее будет. Тонкая-тонкая. Вчетверо сложена. Развернул, а там ярко-ярко так, глянули, — а и не

понять, чем покрашено-то, и все вправду синее. Подали Федору Кузьмичу, он картину-то эту ручищами разгладил и обратно подает:

— Кто у вас старшой-то? Повесьте на стенку.

Константину Леоитьичу как раз кляп изо рта вынули — оклемался маленько; он громче всех закричал «спасибо», тонко так и громко, как козляк, прямо у Бенедикта над ухом: оглушил, бя. А Бенедикт не знал что и думать: первый свежий страх вроде отступил, а заместо него в душе — смурно, что ли. Надо бы сильнее благоговеть, а благоговется как-то слабо, что ли. Криво как-то. Вот если бы на земле распластаться, на четвереньках, коленки подогнувши, а руки эдак вперед и в стороны разбросавши, а лбом об пол бить — тогда лучше получается. Не зря придумано. Тогда восторг так прямо из тебя и прет, как все равно отрыжка; так бывает, если мочеными хвощами объешься: в животе печет и прихватывает, и из нутра в глотку все пузыри, пузыри прут. А на тубаретке сидючи какой восторг? Вроде как ты, простой голубчик, Набольшему Мурзе ровня: ты сидишь, и он сидит; он тебе слово, ты ему слово. Не дело это. И даже, слышь, дерзость в нутре родится и зависть берет: эй, Мурза, ты зачем к Оленьке на коленки сел? А ну слезай. А то щас как ссажу. Подумал так — и еще смурнее сделалось: эка. Как он про Федора Кузьмича сейчас представил. Чего это?

Тут Варвара Лукинишна робко голос подает:

— Федор Кузьмич, вот я спросить хотела... У вас в стихах все настойчивее превалирует образ коня... Поясните, пожалуйста, «конь» — это что?..

— Чой-то? — переспросил Федор Кузьмич.

— Конь...

Федор Кузьмич улыбнулся и головой покачал.

— Сами, значит, не можем... Не справляемся, ага... Ну-ка? Кто догадливый?

— Мышь, — хрипло вышло у Бенедикта, хоть он и положил себе помалкивать: так на душе криво было.

— Вот, голубушка. Видите? Вот голубчик справился.

— Ну а «крылатый конь»? — волнуется Варвара Лукинишна.

Федор Кузьмич нахмурился и руками пошевелил.

— Летучая мышь.

— А как понимать: «скребницей чистил он коня»?

— Ну, голубушка, вы ведь сырую мышь есть не будете? Шкурку сымете, правильно? Ежели суфле али бланманже с ее взбить, вы ж ее всю пообдерете, верно? Ежели, к примеру, вам с ее, с мыши, вздумалось пти-фри а ля мод на ореховой кулисе изготовить али запечь под бешамелью с крутонами? А то мышаток малых наловишь и давай шнель-клопс наворачивать, блинчатый, с волованчиками? Нешто вы их не почистите? — Федор Кузьмич посмеялся эдак недоверчиво и головкой покрутил. — А?! Что ж мне вас учить. Думаете, мне сочинять легко? Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды, ага.

Забьли? Я ж об этом сочинял. Не спи, не спи, художник. Не предавайся сну. Да и окромя искусства дел невпроворот: день-деньской изобретаешь, крутишься-крутишься, ажно мозги вспужли. На мне ж все государство. Другой раз и не присядешь. Вот сейчас Указ сочинил, на днях получите, ага. Хороший, интересный. Спасибо скажете.

— Слава Федору Кузьмичу! Долгих лет жизни! Заранее благодарны! — закричали голубчики.

Тут отворились двери и вошел Никита Иваныч. Все на него обернулись. И Федор Кузьмич тоже. А он вошел как к себе домой, недовольный, в бороде ржавь застряла, шапку не снял, на колени не повалился, не закатил глаза под лоб. Не зажмурился.

— Доброе утро, граждане. — Раздраженный такой. — Ведь неоднократно просил: поаккуратнее с печами. Следить надо. Старого человека постоянно гоняете.

— Истопник Никита, знай свое дело, разжигай печь! — закричал Шакал Демьяныч страшным и зычным голосом.

— Вот что, Шакал, вы мне тут не тычьте, — взвился Никита Иваныч. — И не указывайте!.. Мне триста лет, и я бюрократического хамства еще при Пржней Жизни навидался, благодарю покорной!.. Это ваша задача, ваша элементарная задача: поддерживать минимальный порядок! Ваши коллеги пьянствуют, а вы меня дергаете по пустякам. А в массовом алкоголизме, Шакал, отчасти и ваша вина. Да-да!!!

Не первый раз вам говорю!!! Вы не склонны уважать человеческую личность. Как и многие, впрочем. И ваш ветеранский статус, — Никита Иваныч голос повысил и кривым пальцем по столешнице посту- чал, — попрошу не прерывать! ваш ветеранский статус не дает вам права меня третировать!!! Я та- кой же хомо сапиенс, гражданин и мутант, как и вы! Как и вот, — рукой повел, — остальные граждане!

Все уж привыкли, знают, что Никиту Иваныча нечего слушать: несет Бог знает что, сам небось по- ловину слов не понимает.

— Тута сам Федор Кузьмич, слава ему, присутст- вуют!!! — затрясся Шакал Демьяныч.

— Тута я присутствую, — кашлянул Федор Кузь- мич. — Разжигайте печку, голубчик, ради Бога, но- женьки померзли. Разжигайте, чего зря серчать.

Никита Иваныч только рукой махнул. С досадой. И пошел к печи. А что глава государства, не абы кто, пресветлым посещением осчастливить изволил, что беседу с народом беседует, что думками своими госу- дарственными делится, что картину в дар изволил передать, что стража с крюками и алебардами за- стыла навытяжку, что Константин Леонтыч опять с кляпом сидит, веревками повязанный, чтоб не смел, что у Варвары Лукинишны от напряжения все гребешки ходуном ходят, что пол багряными поло- виками изукрашен, — это ему как будто все равно. Прямо лаптями по государственным половикам прошел, наследил. Все так и замерли.

— Ну хорошо, где дрова? — недовольно так буркнул.

Малые мурзы с дровами подбежали, в печь покидали. Все смотрят, и Федор Кузьмич смотрит, и Бенедикт смотрит: никогда он не видел, как Главный Истопник огонь разжигает. А у него в руках ничего нет. И из кармана ничего не торчит.

На корточки сел. Посидел. Подумал. Голову повернул и глазами всех обвел. Опять подумал. А потом как раскроет рот, да как хыхнет: хыыыыыыыыыыыы! И изо рта его, как столб, как ветер, вышел, клубясь, огонь и вошел в печь, и ахнуло и загорелось в широкой печи, и затрещало, вздуваясь, пламя желтыми языками, словно Окаян-дерево в весеннем цвету.

И от страха и криков людских опять помутилось у Бенедикта в голове, только и видел, что Федор Кузьмич ручищами толк, да на пол прыг, да и был таков. Как опомнился — бросился на улицу, глядь: только снег с земли до неба поднялся, а в том снеге опять смерчи ходят. И малые мурзы в обратную сторону проскакали.

А в избе опять ни половиков, ни шкур, стены одни голые, закопченные, пол мусором покрыт, печь гудит, тепло от нее волнами бежит, и от того тепла синий «Демон» на стенке шевелится, будто сойти хочет.

ИЖЕ

Ах, позавидовал Бенедикт Никите Иванычу! Вечером после работы, добравшись до дому, он как всегда, волнуясь, проверил печь, и, как назло, как уж часто бывало, печь погасла. На часок бы раньше прийти, оно, может, и ничего бы, еще какая-то жизнь теплилась бы в угольках, еще можно бы, пожалуй, на колени встав и вывернув шею, как если бы молясь, дуть, дуть — выдуть живой огонек из сизых, засыпающих деревяшечек. Да, часом раньше — еще можно бы. Да рабочий день длинен, да пока на работу доберешься, да с работы бегом бежишь — как нарочно, словно кто рассчитал, чтоб тебе не поспеть к сроку! Суп-то, конечно, еще не простыл, если горшок тряпками замотан был как надо; похлебать можно, но вкус у него грустный, вечерний; ешь на ощупь, в темноте, — ведь и свечу разжечь нечем, и жалко себя, так жалко! Изба тоже еще не простыла, можно спать завалиться: в зипуне, в шапке; это только ночью подмерзать начнет: поползет зима в худые щели, в пазы, будет задувать под порог, дышать холодом из подполья. А утром в избе смерть, да и только.

Нет, так долго не протянешь, надо либо к истопникам идти огня просить — готовь сурпризы, голубчик, — либо к семейным соседям стучать, побираться, ежели не очень злые. У семейных жизнь легче: пока хозяин работает, баба дома сидит, по хозяйст-

ву поворачивается, за печью досматривает. Варит. Печет. Мусор метет. Прядет, может. Да только не будешь же изо дня в день попрошайничать, эдак никакого терпения у соседусшек не хватит: дадут в лоб оглоблей. А не то, может, они спать завалились, а не то лаются промеж собой, как у семейных принято, али дерутся, в волосья вцепившись, а тут ты, нате вам: не пожалуете ли угольков, добрые голубчики?

А вот Никите Иванычу, стало быть, ни семья, ни баба, ни соседи не надобны, и печь хоть сто раз погасни — ему все равно. Пыхнул — и разжег. Он, стало быть, и закурит когда хочет, хоть он в лесу, хоть в поле, хоть где, — огонек с собой. Пожелает — костерок запалит, сядет к огню, подбрасывая сухой бурелом, веточки, дрянь лесную, опадыши чащобные; станет глядеть в красно-желтое, живое, шевелящееся, теплое, пляшущее. Ни просить не надо, ни кланяться, ни челом бить, ни пугаться — ничего. Свобода! Вот бы Бенедикту так! Вот бы так!..

Он еще раз, в кромешной тьме, ощупал горшок с теплым супом, пошарил руками в окрестностях: где ложка? А черт ее знает, сунул куда-то и забыл. Опять через край хлебать? Да сколько же можно, ведь он не козляк?..

Выбрался на крыльцо. Господи! Какая тьма. На север, на юг, на закат, на восход — тьма, тьма без края, без границ, и во тьме, кусками мрака, — чужие избы как колоды, как камни, как черные дыры в черной черноте, как провалы в никуда, в морозное без-

молвие, в ночь, в забвение, в смерть, как долгое падение в колодец, вот как во сне бывает, — падаешь и падаешь, и нетути дна, и сердце становится все меньше да меньше, все жалче да туже. Господи!..

А над головой — небо, тоже чернее черного, а по небу, узором, голубоватые пятнышки звезд, то гуще, то слабее, словно бы дышат, пошевеливаются, словно бы тоже задыхаются, ежатся, хотят оторваться, а не могут, намертво приколочены к черной небесной крышке, накрепко прибиты, не сдвинутся. Прямо над головой у Бенедикта, всегда над головой, куда ни отойди, — и Корыто, и Миска, и пучок Северных Хвощей, и ярко-белый Пупок, и россыпь Ноготков, и мутно, тесно, густо сбитое, полосой через весь ночной небосвод Веретено, — все тут, всегда, сколько себя помнишь. Родись, умри, встань, ляг, пляши на соседской свадьбе или поутру на малиновом суровом восходе проснись как от удара палкой, испуганный, как если бы ты один остался живой на свете, — они всё тут, всегда тут, бледно мигающие, подслеповатые, вечные, молчаливые.

За спиной — остывающая изба. Щи. Лежанка. На лежанке — тряпье: валяное одеяльце, что от матушки осталось, летний зипун — ноги укрывать; подушка перьевая, замусоленная. У окна должен быть стол, у стола тубаретка, на столе расщеп с сальной свечкой, да в чулане свечей запас, да ржави с полпуда, да в загатнике, от воров припрятаны, валенки запасные, да вязаные носки, да лапти на весну, да

каменный ножик, да сушеных грибышей связка, да котелок с ручкой. Утром были, во всяком случае. Живи не хочу. Все есть. А все чего-то неможется. Все чего-то свербит, свербит.

...Али богатства алчу? ...Али свободы? ...Али помереть боюся? ...Али куда уйти хочу? ...Али вознесся дерзостью до высот своеволия, мыслю себя мурзой, а не то каким властелином неудобосказуемым, агромадным, волшебным, всевластным, главным-преглавным, голубчиков потаптывающим, во тереме обретающимся, руками пошевеливающим, главой помавающим?.. А как Федор Кузьмич-то, слава ему, в сени взошел и все повалилися... А как Никита-то Иваныч огнем хыхнул...

А ничего старик не боится, никто ему не надобен — ни мурза, ни соседи. Потому такая сила ему дана, такое Последствие завидное: огонь у него внутрих вырабатывается. Да он захочет — всю слободу спалит, да чего: весь городок, все леса вокруг, весь блин земной! Потому, знать, и начальство его стороной обходит, не придирается, как к нам, простым голубчикам; его же сила, и слава, и власть земная!.. Ох-ти, охтенки, а нам, малым да сирым, в ночи на крыльце стоять, вдыхать морозную тьму, выдыхать тьму чуть теплую, переступить с ноги на ногу, задирать личико к далекому небесному Веретену, слушать, как слезы мороженым горошком шуршат, скатываются в заросли бороды, слушать, как молчат черные избы на черных пригорках, как поскри-

пывают высокие деревья, как ноет метельный ветер, как доносит порывами — чуть слышно, но явственно — далекий, жалобный, северный голодный вой.

И КРАТКОЕ

Не обманул Федор Кузьмич-то, слава ему, — в аккурат через неделю после пресветлого своего посещения изволил издать Указ, и по всем Рабочим Избам тот Указ раздали для переписывания и размножения, досталось переписывать и Бенедикту.

Шакал Демьяныч всех собрал и объявил — как будто сами не знаем, — что государственное постановление должно быть в кратчайшие сроки доступно всем голубчикам, а посему чтоб быстро и с красивыми завитушками тот Указ перебелили и на каждом углу, где есть щит, чтоб приколотили копию.

Указ

Вот как я есть Федор Кузьмич Каблуков, слава мне, Набольший Мурза, долгих лет мне жизни, Секлетарь и Академик и Герой и Мореплаватель и Плотник, и как я есть в непрестанной об людях заботе, приказываю.

× Праздновать Праздник Новый Год.

× Этот праздник чтоб праздновался
Первого Марта навроде Майских Выход-
ных.

× Также выходной.

× Значит никому на работу не ходить,
пей-гуляй, что хочешь делай, но в меру, а
не так как бывает другой раз что буяни-
те и все пожжете а потом разгребай.

× Этот Праздник Новый Год праздно-
вать так: обрубить в лесу дерево так
небольшое разлапистое, чтоб в избу
влезло а кто хочет ставь во дворе. Втор-
нуть его дерево это в пол или куды при-
дется, чтоб держалось, а на ветки пона-
весить всякой всячины что у кого есть.
Можно нитки цветные крученые али
так, можно орехи, огнецы или чего не
жалко чего дома заваялося всякая
дрянь по углам всегда бывает другой раз
и сгодится. Покрепше там примотайте
чтоб не падало сами знаете.

× Свечки тоже зажгите чтоб светло
и весело.

× Всякой вкуснятины наварите-напе-
ките не жалейте все равно скоро весна в
лесу всего полно понавырастет.

× Гостей зовите соседей, родню, всех
угощайте, ничего не жалейте, не объе-
дят, сами же тоже есть будете.

× На дудках сыграйте кто сподручный, на колотушках, можно вприсядку у кого ноги в порядке.

× На себя одежду хорошую наденьте, расфуфырьтесь, в волоса тоже повтыкайте чего ни попадя.

× Может кому помыться охота дак я велю Бани открыть в дневное время пожалуйста заходи мойся но только дрова с собой приносите а то на вас не напасес-си.

× Интересно будет вот увидите.

Каблуков

Бенедикт перебелил Указ четырежды, отдал Оленьке бересту, чтобы буквицы покрасивее изукрасила — плетеными ленточками, птичками и цветочками, потому как дело сурьезное, или, как выразил Шакал, судьбоносное, — и сам просветлел и порадовался. И остальные голубчики, что в избе работали, тоже просветлели и словно бы выпрямились. А как же не порадоваться: весна на носу! Весна! Кто ж ее не любит! Самый захудалый, паршивый голубчик по весне охорашивается, добреет, на что-нибудь там свое надеется.

Вот пролежишь всю зиму на печи, в копоти да шелухе, да не снявши лаптей, да не мывшись, не чесавшись, уж и нога-то от грязи как все равно вале-нок — хоть сам любуйся, хоть соседям показывай;

уж и борода-то вся гнездами пошла да колтунами — хоть мышей приглашай; уж и глазыньки-то чешуей поросли — хоть пальцами раскрывай да придержи-вай, а не то захлопнутся, — а придет весна, выползет такой поутру, по весне-то, на двор, по нужде или как, — и потянет вдруг ветром сильным и сладким, будто где за углом цветы пронесли, будто девушка какая вздохнула, будто идет кто невидимый и у калитки твоей остановился, а сам с подарками, — и стоит запселый мужик, и замер, и будто слушает, и ушам своим не верит: неужто, мол?.. Неужто?.. Стоит, глаза остекленели, борода звенит, как ржавь на ветру, как колокольцы малые; рот разинул, а закрыть забыл; как взялся за портки, так и застыл, и от ног уж на снегу два круга черных протаяли, и уж птица-блядуница ему на волосья нагадила, а он стоит, безгрешный, первым ветром омытый, на золотом свету, а тени синие, а сосульки жаром горят и наперебой работают: кап-кап! кап-кап! трень-трень! — стоит, покуда сосед али сослуживец не окликнет, мимо идучи: «Чего торчишь, Эдуард? Али чем подавился?» — и рассмеется по-хорошему так, по-доброму, по-весеннему.

Первое Марта — это уж совсем скоро. Это на носу. Правда, еще морозы по ночам знатные, еще жди метелей, еще не раз придется разгребать снег, протаптывать тропку к избе наново, а то и проезжие дороги расчищать лопатами, ежели выпадет очередь на дорожную повинность, — а все равно уж

легче, уж конец видать, уж и дни вроде как длиннее стали.

Зима недаром злится —
Прошла ее пора,
Весна в окно стучится
И гонит со двора.

Верно. Так и есть. Таперича надо деревце в лесу подобрать, как указал Федор Кузьмич, слава ему, и обмотать чем у кого завалялось. Голубчики в обеденный перерыв обсуждают: чем. Волнуются.

Ксения-сирота рассуждает:

— У меня два ореха есть и ниток аршин пять в за-
гашнике схоронено.

Константин Леонтьич мечтает:

— Я из бересты настригу фестонов и кружочков и
сделаю симметричные гирлянды.

Варвара Лукинишна:

— Мне так видится: на самую верхушку — огнец,
а пониже все бусы, бусы спиралями.

— А из чего бусы-то?

— Ну как... можно из глины шариков накатать и
на нитку.

— Из глины?.. Зимой?..

Посмеялись.

— Хорошо горошек нанизать, если у кого запасёно.

— Да, горошек было бы отлично. Полюбовался —
и съел. Еще полюбовался — еще съел.

— Может, под праздник из Склада чего выдадут.

— Ага. Держи карман шире. Им самим надо.

— Голубчики! А может, у кохинорцев плетеные туески сменять?

— На что вы менять-то собрались? К весне все подчистую съедено.

— У кого как.

— А вы, Оленька, чем украшать думаете?

Оленька, как всегда, зарделась и потупилась.

— Мы? Мы — что ж... Мы — так... Как-нибудь...
Чего-нибудь...

Бенедикт умилился. Стал представлять, как Оленька в новой кацавейке да в сарафане с пышными рукавами сидит за каким-то столом богатым, то взор в столешницу опустит, то на него, на Бенедикта, поглядывает, то на свечки зажженные посматривает, — а от тех свечек глазыньки у ней сияют да переливаются, а румянец во всю щеку так и пышет. И пробор в светлых волосах чистый, ровный, молочный, как небесное Веретено. На лбу у ей тесьма плетеная, цветная, а на той тесьме украшения, подвески покачиваются: по бокам височные кольца, а посередке камушек привешен голубенький, мутный, как слеза. На шейке тоже камушки, на нитку нанизаны, под самым подбородком туго-натуго завязаны, а подбородочек такой беленький, а посередь его ямочка. Вот сидит будто она где-то, словно новогоднее деревце разряженная, расфуфыренная, сама не шелохнется, а сама поглядывает...

А другая Оленька, что вот тут, в Рабочей Избе, картинки рисует и язык высунула, — она попроще и личиком, и одежей, и повадками. А все равно и одна, и другая — все та же Оленька, и как это она так у Бенедикта в голове раздваивается, как это она видится да мерещится — не понять.

Вроде как от простой Оленьки сонный образ какой отделяется, перед глазами висит как марь, как морок, как колдовство какое. Не понять... Простую Оленьку и локтем в бок толкнуть можно, как водится, и шутку ей какую сказать, а то озорство учинить: пока она там рисует — взять, подкрасться да и привязать ее за косу к тубарету, к ножке его. Коса у ей до полу, так оно и не сложно. Привстанет она — в нужный чулан отлучиться али на обед, — а тубарет за ней ка-ак грохнется! Шутка веселая, сколько раз уж пробовали.

А с другой-то Оленькой, с волшебным видением, таких шуток не пошутишь, кулаком под ребра не пнешь, а что с ей делать нужно — неизвестно, а только из головы нейдет. А видение это всюду навязывается — и на улице другой раз, особливо к вечеру, когда впотьмах домой пробираешься, и в избе... Так и представляется: открыл задубелую дверь, шагнул внутрь — а там, в прокуренном, дымном воздухе, в теплом блинном чаду, посередь всех избяных запахов: кислой мокрой шерсти, душной золы, еще чего-то привычного, домашнего, — посередь всего этого словно зарево какое, словно свечение слабое, — пря-

мо в воздухе Оленька, нарядная, как идол какой: неподвижная, туго бусами замотанная, на молочный пробор расчесанная, только взор поблескивает, ресницы поддрагивают, и во взоре тайна, и синее свечное пламя огоньками.

Фу-ты. И не отвяжешься.

...Да, вот голубчики небось будут Праздник Новый Год справлять, плясать да пировать, а у Бенедикта в избе, кроме старых носков, ничего не припасено. Да и гостей звать, угощать — напряг большой. Чем кормить-то? Самое голодное время — весна. Бенедикт к весне всегда худел, ажно ребра выпирали. Цельный день на работе, и летом работа — спозаранку в поле, запасы запастись. Измозолишься так, что письменная палочка из пальцев выскользывает. Руки дрожат, и почерк плохой. Оттого-то летом писцам отпуск положен: какие из них, на хрен, работники. Летом писец, как простой голубчик: косу на плечо — и в поля, в луга, хлебеду косить, хвощи. Снопы вязать. Навязал — тащи в сарай, да опять, да еще, да сызнова, да еще раз, да бегом, бегом, — а пока отлучился, соседи али кто чужой непременно пару снопов попрут, кто с поля, а кто прямо из сарая. Но это ничего: они у меня украдут, я, обозлившись, у них, те у этих, эти у тех, — как по кругу, ан и выйдет справедливость. Вроде все друг друга обворовавши, а вроде все при своем. Более или менее. Это, как выражается Никита Иваныч, стихийное перераспределение личного имущества. А наверно так.

А старикан раньше, когда еще матушка жива была, захаживал и рассуждал и Бенедикта брался учить всяким рассуждениям: думайте, думайте сами, молодой человек, рассуждайте своей головой: не удобнее ли, дескать, было бы без воровства? Сколько бы, говорит, времени и сил сэкономили! Насколько меньше увечий в слободе было бы! И рассудит, и объяснит, и матушка туда же головой поддакивает: я, мол, всегда сыну то же говорю, излагаю ИЛИМЕНТАРНЫЕ основы МАРАЛИ. Но, мол, пока без толку.

Мараль, конечно, — это хорошо, кто спорит. Но — хорошо-то хорошо, да ничего хорошего. Окромя марали, еще много чего в жизни есть. Как посмотреть.

Ежели бы моего добра голубчики не крали — это, конечно, мараль. Спокойнее на душе было бы.

А с другой стороны. Ну вот накопил голубчик хвощей, так? Теперь в избу носить надо, туда-сюда бегать, так? Только он это взялся, а тут я мимо иду, подмигиваю. Он, ясно, тревожится, снопы прикрывает, от меня загораживает, лицо такое делает беспоконное, вроде как отрицательное, брови накудлатит и с-под бровей взгляды бросает. Вижу такое дело, встану, конечно, рядом, ноги расставя, рот раскрою и ну давай шуточки шутить: дескать, что, Демьян? За добро боишься? А? Беспоконсишься? То-то, бойся! Тут такое, Демьян, дело, только отвернись! Верно? А? Своего-то жалко? Ишь!..

Вот голубчик и мнется, и топчется, и мечется, а то и рычит на тебя: чего привязался, пес!.. прохо-

ди!.. пасть порву!.. А мне, конечно, хохот. Отойду в сторонку, к плетню прислонюсь али к чему ни попадя, ноги заплету, покуриваю, а сам все посматриваю да подмигиваю, намеки намекаю, все голубчика беспokoю. Вот если некогда ему — плюнет, заберет вязанок сколько сможет и тащит, и тащит, волоком али на спине, ежели здоровье дозволяет, а сам оглядывается: как там я-то, не разорил ли чего? Не унес ли, не попрятал? Не облегчился ли, часом, на его припасы? Не обсморкал ли заветное? А могу!

Смеху! Веселья! У такого беспokoйного хоть одну укладочку беспременно попереть надо.

А ежели я ему мараль сделаю, так и веселью не бывать. И что же тогда: иди мимо насупившись, словно с утра не емши? Ни глядеть на чужое добро, ни даже мечтать не смей? Это ж мука! Право, мукамученическая. Ведь глаз — он такой: он сам на сторону съезжает, в чужое упирается, иной раз аж вываливается. Ноги, хоть и заплетаются, — бывает, и мимо пройдут, а глаз прям приклеивается, а за ним и вся голова на шее вывертывается, и мысль как в столб, как в стенку какую упрется: ах, бля, вот бы это мое было! Вот бы!.. Уж я бы!.. Да уж я бы!.. Слюна, ясное дело, с-под челостей выступает, а то и на бороду натечет. Пальцы сами шевелятся, как будто что прихватывают. В грудях свербит. И будто кто в уши нашептывает: бери! Чего там! Никто не видит!

Ну вот, стало быть, попотевши да потрудившись, да шутки пошутивши, съестного себе на зиму и на-

пасешься. А к весне все и съешь. Так что либо иди, голубчик, в Столовую Избу мусор кушать, либо довольствуйся пищей духовной.

А так про книжицы завсегда говорят: пища духовная. Да и верно: зачитаешься — вроде и в животе меньше урчит. Особенно ежели куришь читаючи. Конечно, книжицы разные случаются. Федор Кузьмич, слава ему, трудится бесперебойно. То вот сказки, то стихи, то роман, то детектив, или рассказ, или новелла, или эссе какой, а о прошлом годе изволил Федор Кузьмич, слава ему, сочинить шопенгауэр, а это вроде рассказа, только ни хрена не разберешь. Длинное такое, бля, три месяца, почитай, вдесятером перебеливали, притомилися. Константин Леонтьич хвастал, что все понял, — ну, это он всегда хвастает: все смеялися. А, голубчик, понял — дак расскажи сюжет: кто куда пошел, да кого увидел, да с кем шуры-муры крутил, да кого убил? А? Не можешь? — то-то. А называлось: мир как воля и представление; хорошее название, зазывное. Всегда ведь чего-нибудь в голове представляется, особенно когда спать ложишься; зипун под себя подоткнешь, чтоб не дуло, голову тряпьем укроешь, ногу подогнешь, другую вытянешь, кулак под голову али локоть; потом повертишься, подушку на холодную сторону перевернешь, опять зипун подоткнешь, ежели сполз, покрутишься-покрутишься — и засыпаешь.

И представляешь.

То вот Оленьку представишь нарядную, белую, неподвижную, аж под ложечкой засосет; то представишь, как с бабой заигрываешь али с девушкой какой хорошей, ты ее хвать, а она — ну визжать, а обоим и весело; то будто по улице идешь и чего ценное нашел: кошелек с бляшками али корзинку с едой; а не то размечтаешься, что пошел ты будто туда, куда не ходили: по тропочке в лес, на восход, и дальше, в луга, и еще дальше, где опять лес незнаемый, где ручьи светлые журчат, дерево береза золотые ветви в ручьях полощет словно нити длинные, словно волосы девичьи, что на солнце блестят, — полощет, играет, завивает на теплом ветру; а под березой мурава зеленая, папорот резной, жуки с синим переливом, а вот и маков цвет — сорвешь его, вдохнешь, а он сон навевает, и звон далекий в ушах слышать, и будто облака какие в груди плывут, и будто ты на горе, и дороги с горы видны белые, путанные, и солнце светит, играет, обманывает, слепит, смотреть мешает, и будто вдали блестит что — али то Море-окиян, про который в песнях поют? али то острова в море волшебные, с белыми городами, с садами, с башнями? али царство чужое, утерянное? али жизнь другая?..

Так-то вот представляешь, представляешь — ан и заснул.

А только ни о чем таком Федор Кузьмич, слава ему, в шопенгауэре не выражает, — а уж если по правде, то нудьга такая, что не приведи Господи. А

только народ все равно все раскупил, а лучше сказать, сменял, и теперь кто-то где-то это дело, стало быть, читает, плюется. Народ вообще-то книжицу читать любит, в выходной день на торжище завсегда идет мышей на книги выменивать. Вот малые мурзы на торжище выходят, государственные прилавки вдоль тына раскидывают, берестяные книги выкладывают, в каждую ценник вторнут, али сказать, закладку: почем, дескать, товар. А цены разные: пять мышей, десять, двадцать, а которые особо завлекательные али с картинками — слышь, и до пятидесяти доходит. Голубчики толпятся, прицениваются, обсуждают: брать, не брать, да про что книжица, да какой сюжет, да много ли картинок. А заглядывать нельзя: спервоначалу плати, а потом и заглядывай сколько влезет. Малые мурзы на морозе валенками потаптывают, рукавицами похлопывают, товар расхваливают:

— А вот новинка, а вот кому новинка! «Вечный зов», громаднейший роман!..

— А вот кому «Основы дифференциального исчисления», популярнейшая брошюра, громаднейший интерес!..

А другой и руки ко рту ковшом приставит, чтоб громче слышать было, зычным голосом выкликает:

— «Коза-дереза», последний экземпляр! Увлекательная эпопея! Последний, повторяю, экземпляр!

А это он нарочно, это он врет, у него под прилавком еще дюжина схоронена. А это он так голубчиков

завлекает, чтоб толпой набежали: а ну-к и впрямь последний, так чтоб не упустить. А ежели кому страсть как охота книжицу сторговать, дак он и приплатит. Дескать: ой, что, все вышли? А мурза, будто нехотя:

— Ну... есть одна... для себя отложил... не знаю...

А голубчик:

— Может, уступишь? Я пару мышек накину... А?

А мурза:

— Не знаю... Сам читать хотел... Ну разве если пять накинешь...

— Пять? Побойся Бога-то! У меня мышь жирная, за полторы идет!

— Ну, покажи... — так и сторгуются, а все мурзе навар. Оттого-то у них и рыло толще, и изба выше.

А у Бенедикта рыло так себе, на ощупь небольшое, и изба махонькая.

И ДЕСЯТЕРИЧНОЕ

Всю ночь Бенедикт ловил мышей.

Легко сказать: ловил. Дело это не простое и, как и всякое дело, разумения требует. Оно только кажется, что вот, мол, — ты, и вот — мышь, так хватай ее. Не-е-е-ет.

Ловил он, конечно, удавочкой. Но! — ежели в подполе пусто, ежели мышь перебежала к кому побогаче, то тряси удавочкой, не тряси — ничего не натря-

сешь. Мышь прикармливать нужно. Стало быть, все должно быть продумано загодя.

Вот двадцатого числа получка была. Пятьдесят бляшек. Так. Налог с их — тринадцать процентов. Значит, шесть с половиной бляшек налога. Вот с утра спозаранку голубчики в очередь в Выплатную Избу встали. Еще и заря не всходила, темень зимойто — хоть глаз выколи.

А бывает. Идет голубчик на ощупь, в темноте-то, за получкой — ан и в яму свалится, а не то сучком глаз выколет, а то поскользнется и ногу переломит, а то и заблудится, забредет в чужую слободу, а там его собаки злые порвут; упадет да и замерзнет насмерть в сугробе-то. Все может быть.

Но вот, допустим, слава те, Господи, добрались. Хорошо. Встали в очередь. Кто первый добрел — тот в калидоре, али сказать в сенях, расположился. А уж кто в конце — на улице стоит, на морозе перетаптывается. Вот так стоят, переругиваются али разговоры беседуют, гадают, приедет ли выплатной мурза али опять упился накануне-то, ввечеру-то, браги, али квасу, али сусла конопляного. А то шутки шутят: ежели кого из тех, что в сенях, от тепла разморило, дак он на полу и прикорнул, — возьмут такого сонного осторожненько под микитки да и отнесут в самый конец очереди. Как проснется такой голубчик — ни хрена не понимает, что, куда, да зачем он тут. Рвется где раньше стоял али лежал, а все ему: куды без очереди прешь? Стой в конце! А он: да я ж первый был!

А мы: ничего не знаем! Ну, крики-драки, увечья всякие.

Так времечко и идет, заря розовая, мгlistая на небо всходит, темноту раздвигает. Утренняя звезда Чигирь блестит красотой несказанной, как огнец в вышине. Мороз еще крепче кажется. Искры на снегу искрятся.

Вот ждем мурзу, еще приедет ли? Чуть где в улочках снег пылит, сани мелькнули — кричат: едет! Не едет! Точно он, его шапку видать! — и разное такое. Волнение большое.

Коли до вечера не приедет — так и разойдемся, а коли изволил глаза продрать — ну, быть голубчику с получкой.

Вот стоишь-стоишь — глядь, и достоялся до выплатного окошечка. Твое счастье, нагибайся. А почему нагибайся: потому как оно в аккурат на уровне пупа проверчено, узенькое такое. А это оттого, что мурза по ту сторону на тубарете сидит, оно ему и удобно. А еще затем придумано, чтоб нам в пояс ему кланяться, смирение выказывать, чтоб покорность в организме была. Ведь ежели во весь рост стоишь, бляшки пересчитываешь, дак мало ли что в голову вступит. Дескать, а что так мало-то, или: а чего они рваные, или: да все ли он мне выдал, не зажал ли пригоршню, ирод проклятый; и другое своеволие. А когда в пояс согнешься, да голову набок вывернешь, чтоб видать сподручнее, что дают, да руку-то в окошечко далеко-о-о-о-о просунешь — а оно ж глубо-

кое, — да пальцы-то растопыришь, чтоб бляшки ухватить, аж плечо заломит, — вот тогда и чувствуешь, что такое есть государственная служба, ея же и сила, и слава, и власть земная, во веки веков, аминь.

Вот если опять повезло, бляшки и ухватишь. Кто короткорукий, конечно, али хвор в суставе, тот всех денег нипочем не ухватит, а разве часть. Про таких и говорится народная мудрость: руки, мол, коротки. Да и голубчики сзади напирают, торопят, толкают, на спину тебе ложатся, в ухо дышат. Трудности. Ну, Бенедикту силушки не занимать, молодой, — он и отобьется, и бляшки крепко в кулак зажмет, и руку назад из окошка благополучно выпростает, разве костяшки обдерет чуток, ну да это пустяки, дело житейское. Компресс теплый на ночь поставить, руку обмотать, кровь-то, может, и свернется. А к следующей получке, глядишь, кожа новая и нарастет.

Бляшки у государства вырвал — теперь в другую очередь вставай, налог платить. Это так говорится: вставай, а по собственной воле кто ж встанет? Тут уж, конечно, стража с бердышами, гонит голубчиков по калидору в другую палату, на первый-второй рассчитайся, цепи каменные со всех сторон путь загораживают: все как положено.

А так все то же, только мурза в окошке сидит не выплатной, а налоговый, да и окошко широкое, просторное — сани проехать могут.

Тут дело быстрее идет — почитай, за четыре часа обернуться можно. Шесть с половиной бляшек мур-

зе отсчитай и отдай. Но бляшку пополам не порвешь, верно? Кому она, рваная, нужна, верно? Стало быть, отдай семь. К концу дня у мурзы энтих денег лишних — великие тыщи. Вот он их себе возьмет, кушанья какого купит, али ярус к терему пристроит, али балкон, а то шубу спроворит, а не то сани новые.

На то он и мурза.

А в которых людях государственного разумения нету, а одни пустые измышления, вот как Никита Иваныч, к примеру, — дак те говорят: а почему, дескать, нельзя, чтоб один и тот же мурза сам деньги платил, сам и налог удерживал? Что, мол, быстрее было бы.

Эвона, дурачье! Право, обхохочесси слушать! Почему? — да потому что выплатной мурза — он мурза выплатной, а налоги берет — это ж мурза налоговый! Ну? Как же это один мурза тебе и давать будет и отбирать? Ну? Зачем же он тогда вообще на работу приедет, с эдакими деньжищами? Запрется дома, да и давай есть-пить, а то в сани сядет — и на охоту завалится, и поминай как звали, верно?

А и всякий бы так сделал.

Да ежели б налоговый мурза в избе не сидел, денег не отбирал, разве ж выплатной-то когда нос-то на улицу б высунул? Да он, пьянь такая, и не вспомнил бы, что уж двадцатое число, получка; али, к примеру, пятое, аванс!

Его ж небось налоговый с вечера терзает: где

бляшки? Не разорил ли казну? Нет ли какого урона моему интересу? Накрепко ли в туеса увязаны, мышь не погрызла ли? — а и это бывает, тогда и полчку не дадут. Скажут: пропало незнамо куда, ждите другого раза. Ждем.

Но вот, допустим, все обошлось, полчка получена, бляшки в кулаке. На эти бляшки али, как другие говорят, «рваные», али «кровные», али еще «рубляшки», — ничегошеньки, конечно, не купишь. Кабы их много было — тогда да. Тогда купишь. А так нет. Победать разве.

Мышь — она другое дело, ее — вон, всюду полно, каждый день она свежая, наловил, ежели время есть, и меняй ты себе на здоровье, да ради Господа, — кто тебе слово скажет? Конечно, и с мыши в казну налог идет, али сказать, ясак, — домовой, подушный, печной, всех не пересчитать, но это ж совсем другое дело.

Стало быть, бляшки у Бенедикта в кулаке, пол-дела сделано. Теперь разумение такое: на эти бляшки покупать в Столовой Избе обед, а только хлеб нипочем не есть, приберегать, домой носить и тем хлебом мышей прикармливать. Каждый день им по куску крошить, — набежит их, сердешных, видимо-невидимо.

И на этот раз так все счастливо и вышло, как и задумывалось! Все сошлось! Всю-то ноченьку Бенедикт мышей ловил, и к утру у него на веревочке, вот не соврать, двести семьдесят две штучки ба-

рахталось, толстоморденькие, серенькие, шкурка шелковая! Ну, может, не двести семьдесят две, а сто пятьдесят шесть. Много! Сбился считаючи. А почему удача такая — а потому, что все продумано было загодя, все было промыслено грамотненько, тщательно.

Ахти мне! — красота ума человеческого, кто б ее воспел? Кто бы взялся песню сложить, громкую, счастливую, да с руладами, да переливами, да чтоб выйти на бугор али на холм какой, покрепше встать, расставя ноги, а руками-то размахнувши в стороны, да и топнуть! ножкой-то! — только чтоб не упасть, конечно, — топнуть, говорю, да и — эх! — да разлили мои-лѣди, эх! — дак вы ж мои люли!!! Зеленеет травка-муравка, да эх! — да травка-муравка!!! Ах! — зеленая травка; эх! — зеленая травка!!!

Не так, пожалуй, но что-нибудь такое, разудалое, радостное, чтобы напев сам из груди рвался, чтоб счастье в голове чувствовалось, чтоб оно, счастье, между ушей бултыхалось, как щи в котелке, чтоб в затылке щекотало. Чтоб на всю слободу, на весь мир разнеслося: слава уму-разуму человеческого, слава! Разумению, размышлению, промышлению, хитроумному расчислению — слава! Голове — слава! Да! Ура!!!

Ведь такой прорвы мышей небось у самого Федора Кузьмича, слава ему, отродясь не бывало, а уж он ли не мастак на них охотиться? Он ли не поэт, не гурман, не ценитель?

После полуночи сердце пирует,
Взяв на прикус серебристую мышы!

И вроде всю ноченьку не спал, а от радости сон как рукой сняло. Разве что поджилки эдак немного ослабли, и томность в спине. А так — ни в одном глазу! Теперь с эдаким богатством — на торжище.

Хорошо с утра на торжище! Лепота! Снег расчищен лопатами, притоптан, ажно пол. Если большой мороз, дак он, снег-то, весь синий, посверкивает. Понятно, голубчики набегут — заплюют, загадят, окурков набросают, а все равно лепота. Ежели к теплу, ежели подтает маленько — словно как темные полыньи под ногами, а сугробы у забора осемши и почернемши, ноздреватые, с зубчатыми корками, весной пахнут.

Народищу — и-и-и-и-и-и-и-и!!! — тучи несметные. Всякому торговать охота. Всякий свою мену тащит.

Вон ряды с моченьями да соленьями: весь прилавок уставлен бочками, крынками, жбанками, ходи да пробуй, но много не хватай, не то по шеям накладут. Ежели летось урожай хороший был, дак прилавок иной раз до горизонта растянется, последний дальний голубчик в ряду вроде как лесная букашка видится: далекий, махонький, руками машет, кричит, грибыши свои нахваливает, тоже себя человеком мнит, а посмотреть на него с этого конца — наступи ногой, да и нет его.

Другой вон хвощи моченые хвалит, криком кричит, надрывается, — али квашеный папорот, али пряники, али еще что.

Тута орешки моченые, там холсты разложены, нитки простые, нитки крашеные, лапти связками; там шкурки заячьи али шерсть с козляков: купи да и валенки валяй, али носки вяжи, ежели сподручный; там иголки костяные, ножики каменные, ведра каменные да деревянные, ухваты, оглобли, веники — чего хочешь.

А вон целый ряд огнецами торгует: тут торговцы важные, молчаливые, стоят на животе руки сложимши, с-под бровей поглядывают, морды красные. Загадочные. Молчат. А почему они молчат: привыкши. Огнецов надо молча брать, они и привыкши. Постоишь, посмотришь. Робеешь. А так этих огнецов покушать охота! Спросишь торговца:

— Почем за штуку?

Помолчит, губами пожует. Потом:

— Эти — пять. Эти — семь.

Дорого, бля!..

— А не ложные?..

Опять помолчит.

— Люди брали, живы.

Вот верить ему али не верить — прям и не знаешь. Потопчешься... Отсчитаешь пяток мышей. Возьмешь одного огнеца. За щеку положишь. Сладкий!.. А может, и не помрешь, с одного-то. Так, вырвет разве что. Ну, волос выпадет. Шею раздует. А

так, может, еще и поживешь. Матушка отчего померла? — цельную миску зараз скушать изволила. Никита Иваныч все ей говаривал: «Полина Михайловна, что за несдержанность?! Не ешьте вы эти финики! Радиоактивные!» — да разве она послушает? Объелась.

Но сейчас Бенедикту про грустное даже начинать думать не хотелось. Весна с юга колобком катит, Новый Год ведет! Праздник и смех. Шутки и веселье. Вон и слепцы тоже сгрудились у тына — кто на ложках мелодию брякает, кто в свиристелку дудит, — поют:

И хорошее настроение
Не покинет больше вас!

— тоже, значит, весну почувяли. Ихний поводырь тоже взбодрился, орлом глядит, голубчиков строго озирает: а ну, кто песни слушает? — плати, мимо не пройдешь! А то любителей послушать да не заплатить предостаточно. Слепцы, они потому и слепцы, что ничегошеньки не видят. Поют себе разливаются, а голубчик другой раз послушает, удовольствие свое урвет, да и бежать не заплатимши. Как его слепцам поймать? — никак! Им же темно, слепцам! Им и в летний полдень темно. Кабы не поводырь, они бы померли с голоду, слепцы-то.

Бенедикт народные песни страсть любил. Особенно когда хором. Или когда задорные. Вот другой раз слепцы грянут:

Сердце красавицы!
Склонно к измене!
И к перемене!
Как ветер мая!!!

— так ноги на месте не устоят, сами в пляс пустятся. А и еще есть хорошие. «Вот идут Иван да Данила». «Миллион алых розг». «Из-за острова на стрежень». «А я люблю женатого». И много еще.

Нынче Бенедикт чувствовал себя умным и богатым. Потому и богатым, что умным. Эвон как он все придумал ладно — и все сошлось. Мышей он увязал в увязочки — о пяти штучках каждая; хвосты косичкой переплел, веревочку продел и той веревочкой препоясался. Сам идет, сам гордится. Здорово. И непривычно как-то.

Обычно идешь себе, семенишь, по сторонам сторожко поглядываешь: нет ли начальства какого? Ежели в санях едут — отскочишь на обочину, шапку долой, кланяешься. На рыло улыбочку умильную напустишь, масляную. Глазыньки тоже сощуришь, будто обрадовался. Выражение в глазыньках выразишь: словно бы удивляешься, как это тебе, простому голубчику, так повезло-то — мурзу встретить. Хоть и по сорок раз на дню, да хоть по пятьдесят на него, ирода, наткнешься, а все дивись, словно он, мурза, — не мурза, а бабушка с гостинцами.

Кланяешься, конешно, смотря по чину. Если малый мурза — голову приклонить, руку к желудку.

Если большой — в пояс: волосами в снег али в пыль, а рукой дугу отмахнуть.

Ежели Красные Сани — ...не приведи Господь. Нет, нет, нет. Тьфу, тьфу, тьфу. Нет, нет.

Проедет мурза, напылит, напачкает, — можно опять шапку надевать, рукавом морду обтереть, и — на здоровычко, свободен. Рыло можно опять прежнее, простое, злобное, — плюнешь, обматеришь, вслед оскорбление какое — пожалуйста. А не то просто ворчишь: «Ишь расселся...», хотя чего ж? не стоять же ему в санях-то? — или длиннее: «Ездют тут!.. ездют и ездют, а чего ездют, и сами не знают!», а это тоже просто так, к слову: уж мурза-то наверно знает, куда ему ехать.

А так говорится для того, чтоб свою досаду подольше потешить. Когда ворчишь сквозь зубы, да бормочешь, да набычишься, да еще пасть на сторону свернешь — злость, она хорошо так, тепло внутри пощипывает. Чего-нибудь крепкое сделать хочется. Ногой забор пнешь. Собачонку, если подвернулась. Ребятенку затрещину. Мало ли. Всяко себя выразить можно.

А иногда бывает, и злиться неохота. Вроде как грусть внутри. Будто жалеешь кого. Фелософия, должно быть.

А сегодня с утра новое чувство вступило: чувствовал себя Бенедикт умным и богатым, и охота было, чтоб все видели: вот он идет, Бенедикт, умный и богатый. И щедрый. Остановился, слепцов послушал.

Они как раз старинное, бойкое грянули: «Два двенадцать восемьдесят пять ноль бэ! Два двенадцать восемьдесят пять ноль вэ! Два двенадцать восемьдесят пять ноль гэ!» — послушал и кинул им мышей связку. Ага, целую связку! Гуляем!

После нищим побирушкам связку — швырь! Чуть не передрались, вмиг подачку в клочья разнесли. Потеха! Потом по рядам пошел, вкуснятину покупать. О, сразу уважение... Заметили...

Кланяются:

— К нам пожалуйте!.. Чего душа просит?.. Рассольчику, барин, отведайте, рассольчик у нас самый лучший!..

Отведал рассольчику. Взял. Всего взял, чего душа просила: и простого, и моченого, и фаршированного. Хлебеды взял четверть пуда, козьего творожку, огнецов с полдюжины — ватрушку испечь. Вермишели квашеной. Репы. Гороху красного и синего. Квасу кувшин. Туесов накупил, всю провизию в них поклат. И еще холопа нанял всю эту тяжесть до дома доволочь, а по правде сказать, не столько оно тяжело было, сколько знатность свою охота было вволюшку выказать. Дескать, вознесся выше я главою непокорной александрийского столпа, ручек не замараю тяжести таскамши. Обслугу держу. Не вам чета.

И сейчас же неувязочка вышла: которые Бенедикта не знали, думали, что такой богач беспрерывно в сани сядет, а какие ж у Бенедикта сани? Так что

некоторые, гниды, в кулачок хихикали. А которые его знали, те порешили, что это не холоп, а приятель Бенедиктов, и дивилися, что ж это приятель-то эдакие короба тащит, аж раскорячился, а Бенедикт руки в карманы засунул и идет себе насвистывает, а не подмогнет? Хотел всласть почваниться, а нет, не удалось.

А по дороге Бенедикт волновался, чтоб вперед холопа не забежать. А то только отвернись, а он, может, шасть в проулок, — с таким добром-то, вы что!!! Ищи его потом. Потому шел Бенедикт за холопом шаг в шаг, только покрикивал: «Не сюда, тудыть!.. Заворачивай! Заворачивай, говорю, песий сын! На-лево! Все вижу, все вижу! Я тута! Слежу!» — и все такое.

Тревога большая была. Но дошли хорошо. Может, холоп, хоть он и холоп, тоже соображал, что далеко с такой тяжестью не убежишь: Бенедикт догонит и побьет. Бенедикт, когда его нанимал на торжище-то, в холопском закуте-то, и кулачищи свои ему показывал, и личиком суровился, и глазами выражал: гнев грядущий, подозрение всеохватное, неудовольствие на весь род людской. Пужал.

Но и думать не забывал, пока шли-то: ай, ведь до чего удача хорошая, когда ум к делу приложен: за одну ночь заработал себе цельный стол еды. А?! Теперь дальше так: ватрушек напечь, гостей назвать; хорошо бы Оленьку, ну а ежели не выйдет, можно и Варвару Лукинишну, можно и другого кого со службы.

Варфоломеича можно, он байки мастер рассказывать. Ксеню-сироту. С ней, правда, скучно, и вида никакого. Соседей, что ли, пригласить. Да, позвать голубчиков дюжину, избу подмести, свечей натянуть... Нет, нанять бабу пол мести... Чего самому-то горбатиться? Да, и ватрушки пусть тоже баба печет. А платить опять мышами. Да, и слепцов нанять!!! Во, точно! Всю артель и нанять. Сюрприз гостям!.. Попили-поели-поплясали, потом, может, в поскакалочки играть... Али в удушилочку. Но не до смерти, а так, наполовинку. Так, а объедки под пол, а мышей опять набезит видимо-невидимо — а опять наловить — а наловивши, опять еды купить — а еду опять туда же! под пол! — а с-под пола мышей! — а опять сменять! и еще! И еще!..

Батюшки!.. Это что же будет? А будет, что таким макарон Бенедикт до того разбогатеет, что, глядишь, и работать не надо! Да! А начнет мышей в рост давать! Слуг наймет: одних дом сторожить, да и дом-то надо светлый, высокий, двухъярусный, с прибабасами по кровле-то!.. А других слуг, чтоб сторожей сторожили, следили, чтоб те не взяли чего! А третьих, чтоб за этими смотрели!.. А четвертых... Но это ладно, это потом сообразим... А баб нанять, чтоб готовили... А еще слепцов, чтоб постоянно дудели да бренчали, Бенедикта увеселяли; помост им в углу построить, да чтоб там и сидели, пели чтоб день-деньской... И баню хорошую построить... И в баню тоже музыку провести... других слеп-

цов... Сам моешься, сам слушаешь... И девку-чесалку нанять, чтоб спину чесала... А другую — чтоб волоса расчесывала и песни мурлыкала... Ну, чего бы еще? Да! Сани!.. И подъезд к дому широкий, и ворота на замке... Эй, холопы, отворяй, барин едет!.. Вот все падают ниц. Бенедиктовы сани во двор въезжают и прямо к терему... А из терема навстречу Оленька, белая лебедушка: здравствуй, свет мой, Беня, а попрошу к столу, уж так заждалася... все-то глазыньки проглядела...

...Дошли. Фу-х... Вот видение-то какое вышло... избенка-то наша, прямо сказать, не терем. Холоп туса поставил в снег. Усмехается. Бенедикт отстегнул плату: мышей связку. Посмотрел: у холопа на рыле неуважение, точно, играет. И сразу разговор пошел такой неприятный...

Холоп говорит:

— У кого служишь?

Бенедикт ощерился:

— Служу?! Я-те дам: служу! Я государев работник. А не «служу»!

А холоп:

— А провиант кому?

А Бенедикт:

— Мне провиант! Свое хозяйство! Щас есть буду!

А холоп:

— Ща. Свое.

Плату взял, высморкался на снег, прямо под валенки Бенедикту, да и пошел себе.

От ведь холопское отродье!!! Холоп он и есть холоп!!! А догнать его, да плату отнять, да в рыло ему въехать как следует, да ногами-то потоптать за обиду, за своеволие!.. Скотина!!! Бенедикт дернулся было, да побоялся оставить туса без присмотра! уже голубчики стали стекаться, на еду смотреть. Тьфу! Плонул, вволок туса в избушку.

Гадина холопская, сучий потрох! Намекнул, гнида, что и Бенедикт, мол, — не Бенедикт, а холоп чей да нибудь, как и он сам, что и еду-то он, мол, не себе купил, а хозяину, что и изба-то не изба, а сараюшка, клеть, может, какая перевалочная... И мечты-то его все пустые: сани захотел... Нет, нельзя оставить! Догнать по-быстрому да поджоппик ему!!! Бенедикт бросился на улицу, туда-сюда... Нет, пропал холоп, как и не было... А может, примерещилось?

Вернулся в стылый, холодный сумрак избы. Как время-то пробежало. Пока туда-сюда — уж солнце садится. Пощупал печь: холодная. Не должно бы, а? Открыл заслонку — ясно... Воры были. Сперли угольки с огоньками. Одна холодная зола. Ну что ж...

Вдруг скучно стало. Расхотелось как-то всего. Сел на тубарет. Встал. Распахнул дверь, постоял, прислонясь к притолоке. В груди что-то кислое такое взошло, как слабость. Да! Вечер уже. Середь дня — вечер; это и есть зима. Бледное закатное небо, на небе ветки деревьев словно углем прочерчены. Пнезда колтунами. Заяц порхнул. Понижу — грустная синева снежных увалов, пригорков, сугробов. Чахлый

черный тын, как старый гребень. Еще виден, а погасни закат — и ничего не увидишь в крошечной тьме. Сразу выступают звезды, нальется небосвод их молочным, слабым свечением — как будто издевается кто, али равнодушен, али не нам эти небесные огни предназначены: что разглядишь при их тусклости, неживом мерцании! А наверно так, а не для нас они!..

...А и все так! Будто кто для нас, для людей, из всей безмерной природы малый кусок выкроил: вот вам, голубчики, солнца чуток, да лета кусок, цветок тульпан, травки зеленой малость, малых птичек на сдачу, да и будя. А всех остальных тварей припрячу, ночью оболочу, тьмою укрою, в лес да под пол, как в рукава, заховаю, малый свет им зажгу, звездный, — им и хватит, им и хорошо. Пуцай шуршат, юркают, пицат, размножаются, своей жизнью живут. А вы их, ну-тко, ловите-ка, если сумеете. Поймали? — кушайте на здоровье. А не поймали — как знаете.

Бенедикт вздохнул тяжело, да сам свой вздох и услышал. Вот, опять... Опять в голове раздвоение какое-то. То все было просто, ясно, счастливо, мечты всякие хорошие, а то вдруг будто кто сзади подошел да все это счастье из головы и выковырнул... Как когтем вынул...

Кысь это, вот что! Кысь в спину смотрит!!!

Бенедикта даже затошнило от страха, от нехорошего, под ложечкой сосущего чувства. Он захлопнул

дверь, не досмотрев заката, не додышав сырого, синего вечернего воздуха; поспешно заложил на крюк, на засовы; споткнулся в тухлой избяной тьме о творог; и матюкнуться забыл; ощупью добрался до лежанки и лег поскорей, не чуя ног.

Сердце билось. Кысь это... Она. Вот, значит, что. А не философия никакая. Правильно говорят: кысь в спину смотрит!

Это она там, на ветвях, в северных лесах, в непролазной чащобе, — плачет, поворачивается, приюхивается, перебирает лапами, прижимает уши, выбирает.. выбрала!.. Мягко, как страшный, невидимый Котя, соскочила с ветвей, пошла, пошла, пошла, — ползком под буреломом, под завалами сучьев, колючек, длинным скачком через седой, мохом обросший, метелями поваленный сухостой!.. Ползком и скачком, гибко и длинно; поворачивается плоская головка, поводит из стороны в сторону: не упустить, не потерять бы следа: далеко в худой избе, на лежанке, налитый теплой кровью, как квасом, лежит и дрожит, в потолок уставился Бенедикт.

Ближе, все ближе к жилью!.. Где поземка стелется, пылит по оврагам, где метель столбом, где снежный смерч с полей поднялся, там и она: летит в поземке, вьется в метели! Ни следа не оставит лапами на снегу, не спугнет ни одного подворотного пса, не потревожит домашней твари!..

Ближе и ближе — и кривится невидимое лицо ее, и дрожат когти, — голодно ей, голодно! Мука ей,

мука! Кы-ы-ысь! Кы-ы-ысь!

Вот она подкрадывается к жилью, вот глазыньки-то закрыла, чтоб лучше слышать, вот сейчас прыгнет на ветхую крышу-то, на остывшую трубу-то; вот напрягла ноги...

...В дверь стукнули: тук-тук-тук. Бенедикт вскочил, как ударенный палкой, страшным криком крикнул:

— Нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

— Ах, вы заняты, голубчик? Так я попозже зайду, — из-за двери голос такой знакомый: Никита Иваныч. Господь послал!.. Господь послал!..

КАКО

Неделю провалялся Бенедикт в лихорадке — позорище и стыдобушка. Как все равно дитё малое. Старик ему и огонь разжег, и ватрушек напек, и кипяточку пить подавал. Сами вдвоем все и съели.

Вот те и праздник Новый Год. Прошел, минул, как и не было, — такая жалость, все упустили! А голубчики, видать, веселились вовсю, плясали, да хоровады водили, да свечки по Указу жгли, да ржавь пили: после праздника, как водится, увечных да калечных в городке прибавилось. Идешь по улочке, сразу скажешь: праздник был да веселье: тот на костыликах клякает, у того глаз выбит али мордovorот на сторону съехамши.

Бенедикт, оклемавшись, сокрушался: жизнь стороной прошла, по губам мазнула, — как всегда, как всегда! Вот обида-то! Вот черная досада! Он ли не готовился, он ли разум в дело не пускал? мышей не ловил, на снесь не менял? Ведь две недели, почитай, жил в ожидании светлого, радостного: гости, свечи, музыка!

Ведь жизнь-то, она какая? — труды, да холода, да посвист ветра! Так? В кои-то веки праздник выпадает.

А он, видать, простыл, да надорвался, али другое что, — али с голодухи, али несвежего чего в Столовой Избе поел, — кто знает? — да и свалился в жару, в лихорадке, и где вы нынче, дни золотые?

А Никита Иваныч говорит, что Бенедикт не ВРАСТЕНИК. Ну что же — нет так нет, это уж как кому повезло. А только обидно до слез!

А еще он говорит, что, дескать, слава Богу, целее будешь, руки-ноги сохранил, еще пригодятся тебе, юноша неразумный, пустоголовый, мечтательный и заблудший, как и вся ваша порода, все ваше поколение, да, в сущности, и весь род людской! А не любит он наши праздники, не любит!

Что ж с того, что иной раз повреждение кому и выйдет? Другой раз и на льду поскользнешься. И в яму упадешь, и на сук напорешься, и съешь чего непроверенного. А что ж, нешто от старости не мрут? Даже Прежние голубчики — по триста лет живут, а все равно мрут. Новые голубчики рождаются.

Себя-то, конечно, жалко до слез, чего говорить. Родню, приятелей — тоже жалко, но поменьше. А чужих — как-то не жалко. Они же чужие. Как можно равнять? Когда матушка померла, Бенедикт так плакал, так убивался, весь вспух. А помри — ну хоть Анфиса Терентьевна, разве ж он плакал бы? Ни боже мой! Подивился бы, расспросил бы, вытянувши шею, возведя брови на лоб: от чего помре? Обьемшись чего али так? И где хоронить думают? И женится ли теперь Поликарп Матвееч на ком другом, и много ли от Анфисы Терентьевны добра ошамшись, и какое то добро? — все расспросит, интересно же.

Да и на поминки позовут — развлечение. Еду есть будут. В избу пригласят: входишь, смотришь, какая у них изба-то, в каком углу печь, да где окно, да есть ли украшение какое — может, лавка резная у какого заетейника, может, полог цветными нитками расшит, а то полку прибьют и на ней книжицы держат. Наешься-напьешься, по избе бродишь, глазами зыркаешь, к полке подойдешь, книжицы рассматриваешь. Другой раз интересная попадетса — к стене боком прислонишьса, ногу за ногу закрутишь, в затылке скребешь, стоишь читаешь. Да мало ли!..

Но самому помирать неохота, кто спорит. Упаси Бог! А только еще страшней, если кысь. Сейчас-то вроде она отступила, видать, потеряла Бенедикта, — может, это Никита Иваныч ей след перебил, она и отступись.

А почему она страшной смерти: потому что уж ежели ты помер, так все — помер. Нету. А ежели эта тварь тебя спортит — так с этим еще жить! А как это? Как они себя мыслят, каково им, испорченным? Вот что им там внутри чувствуется? А?..

...А должно быть, чувствуется им тоска страшная, лютая, небывалая! Мрак черным-черный, слезы ядовитые, жидкие, бегучие! Вот как иной раз во сне бывает: будто бредешь себе волоча ноги, да все влево да влево забираешь, — и не хочешь, а идешь, словно ищешь чего, да чем дальше заходишь, тем больше пропадаешь! А назад ходу нету! А идешь будто по долинам пустым, нехорошим, а из-под снега трава сухая, да все шуршит! Все-то она шуршит! А слезы все бегут да бегут, с лица да на колени, с колен да на землю, так что и головы не поднять! А и поднял бы — все зазря: смотреть там не на что! Нет там ничего!..

А случись такое страшное дело с человеком, что кысь его выпьет, жилочку когтем перервет, — лучше ему помереть скорей, лучше уж пускай в нем пузырь лопнет, да и все тут. А только кто же знает, может, ему эти два, а то три дня до смерти целой жизнью представляются? У себя-то, в голове-то, внутри, он, может, и в поля какие ходит, и женился, и детей малых народил, и внуков дождался, и повинность государственную какую несет, дороги чинит али ясак платит? Внутри-то? А только все со слезами, с криком душевным, с воем непереноси-

мым, не людским, беспрестанным: кы-ы-ы-ы-ысь!
кы-ы-ы-ы-ысь!..

То-то. А не то что: «зачем увечье»: увечье — дело житейское, выбьют глаз — дак и одним глазом можно солнышку радоваться, выбьют зубы — дак и щербатый счастьем своему улыбается, доволен.

Но у Бенедикта и глаза в порядке, и зубы, и руки-ноги. Так что ж. Оно и хорошо.

А вот другое дело, что одному жить вроде как скучно, компания нужна. Семья. Баба.

Баба обязательно голубчику нужна — как без бабы? По этому бабскому делу Бенедикт ходил ко вдове, к Марфушке: раз ли, два ли раза в неделю, но непременно к Марфушке завернет. С лица она нельзя сказать, чтобы уж очень была хорошенькая. У ней, по правде сказать, весь мордovorот как бы на сторону съехамши, будто ей кто оглоблей в личико вдарил. И один глаз заплывши. Фигурка тоже не сказать, чтоб очень. На репу похожа. Но Последствий нетути: где надо, все у ней выпуклое, где не надо — впуклое. Да и не смотреть же на нее он ходил, а по бабскому делу. Кому смотреть охота — дак выйди на улицу и смотри, пока глаза не вывалятся. А тут другое. Это, как Федор Кузьмич, слава ему, сочинил:

Не потому, что от нее светло,

А потому, что с ней не надо света.

Никакого света с ней не надо, а даже наоборот: Бенедикт как к ней придет, сразу свечку задует и давай валяться, да крутиться, да кувыркаться, всяким манером любовничать. И вприсядку, и в раскорячку, и туды, и сюды, и по избе скакать — боже ты мой, чего иной раз вытворять в мысли-то вступит! Вот когда один сидишь, думу думаешь, ложкой во щаж шевелишь — никогда по избе скакать не станешь али на голову становиться. Как-то оно глупо. А когда к бабе придешь — обязательно. Сразу портки долой, — шутки и смех. Природа у бабы, али сказать, тулово для шуток самое сподручное.

Вот, наштутимшись, умаешься. Опосля так жрать охота, будто три года не жрамши. Ну, давай, чего ты там наготовила? А она: ах, куды, Бенедикт, куды ты от меня стремишься? Желаю, мол, еще фордыбачить. Неумная женщина. Огневая.

— Нет, баба, нафордыбачились, давай еду, вермишель давай, квашеного чего-нибудь, квасу, ржави, все давай. Поем да и побегу, а не то у меня печь погаснет.

— Да какая печь, дам я тебе угольков-то! — И то правда, и накормит, и с собой пирог завернет, и угольков в огневой горшок наладет.

А другой раз Бенедикт ей стихи читает, ежели чего Федор Кузьмич, слава ему, про бабское дело сочинить изволил. Он, видать, тоже ходок будь здоров!

Горит пламя, не чадит,
Надолго ль хватит?

Она меня не щадит —
Тратит меня, тратит.

Во как! А то еще:

Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,
Хочу одежды с тебя сорвать!

Хочешь — дак и сорви, кто мешает? Бенедикт раньше удивлялся: кто ж ему, Набольшему Мурзе, долгих лет ему жизни, слово поперек скажет? Срывай. Хозяин — барин. Но теперь, конечно, когда он Федора Кузьмича, слава ему, воочию лицезреть сподобился, — теперь призадуматься: видать, ему, с его росточком, до бабы и не допрыгнуть, вот он и жалобится. Дескать, сам не управлюсь, подсобляй!

Но с этими стихами раз конфуз вышел. Перебеливал раз Бенедикт стихи, уж такие разэдакие, такие, сказать, томные!

Нет, я не дорожу мятежным наслаждением!

— во как Федор Кузьмич, слава ему, выразил. Бенедикт даже изумился: а с чего это он не дорожит-то? Приболел? А там к концу Федор Кузьмич, слава ему, прояснил, что он вроде как новым, диковинным манером бабское дело решил испробовать:

Лежишь, безмолвствуя, не внемля ничему...
И разгораешься все боле, боле, боле,
И делишь, наконец, мой пламень поневоле.

Бенедикту так захотелось проверить, чего это На-
больший Мурза, долгих лет ему жизни, чудит-то, —
что сделал своеволие: лишний свиточек для себя пе-
реписал да в рукав-то и схоронил, а опосля бегом
бросился к Марфушке и те стихи ей прочел. И пред-
ложение ей предложил: давай, дескать, и мы так: ты
брык — и лежи как бревно, не внемля ничему, но,
смотри! — по-честному, как договорились. А я на те-
бя яриться буду, и поглядим, чего это такое за бар-
ские придумки. Лады? Лады.

Так и порешили. А вышел конфуз. Марфушка все
сделала по-честному, как ей велено, — ни гу-гу, ру-
ки по швам, пятки вместе, носки врозь. Ни хватать
Бенедикта, ни щекотить, никаких кренделей вы-
каблучивать не стала. И нет чтобы разгораться все
боле да боле, как по-писаному, али там пламень
разделить, — какое — так мешок мешком весь ве-
чер и пролежала. Да и пламеня, по правде, не вы-
шло — Бенедикт потыркался-потыркался, да чего-
то завял, да скис, да плюнул, да рукой махнул, шап-
ку нашарил, дверью хлопнул да и домой пошел, да
и весь сказ. А Марфушка осерчала, догнала да
вслед ему — матюгов. А он — ей. А она — ему. Повз-
дорили, волосья друг другу повьдирали, потом, не-
дели через две, опять помирились, но все уж было

не то. Не было уж той, сказать, искрометности.

Ну, по этому же делу он и к Капитолинке ходил, и к Верке Кривой, и Глашка-Кудлашка его зазывала, и много еще кто. Теперь вот Варвара Лукинишна напрашивается, можно бы сходить, да больно страшна. А ну как она по всему тулову петушиной бахромой утыкана?

Но все эти бабские дела — сходил да и забыл. Да и из головы вон. А другое дело, когда видение привяжется, образ чудный, марево светлое, — вот как Оленька стала Бенедикту мерещиться... Лежишь на лежанке, ржавь покуриваешь, а она — вот она, рядом, усмехается... Руку протянешь — нет ее! Воздух! Нету ее — а и опять она тута. Что такое!

...Может, взять да и посвататься к ней? А? Посвататься? Так, мол, и так, Оленька-душенька, ненаглядная раскрасавица, желаю на тебе жениться! Честным пирком да за свадебку! Будь моей хозяйшкой! Будем жить-поживать да добра наживать!.. Что еще в таких делах говорится?.. Совет да любовь! Пир на весь мир! Чем богаты, тем и рады!

А что! Хоть семья у ней и знатная — в санях ездит, хоть шубка у ней заячья, а женихов вокруг нее не видать. Строгая, должно быть. Скромная. А на Бенедикта-то посматривает. Посмотрит — и зарумянится.

А когда Бенедикт, оправившись от лихорадки, на работу вернулся — так Оленька и просияла. Вся засветилась, как свечка; прямо бери ее, в расщепу

вставляй и в любой тьме видать будет во все стороны.

Обдумать надо это дело.

ЛЮДИ

Вот миновали февральские метели, грянули мартовские бури. Пролились небесные потоки, прошибли снег, будто кто его каменными гвоздями истыкал да исчернил. Где и земля показалась. Весь мусор прошлогодний всплыл — по всем улочкам, по всем подворьям. Побежали быстрые ручьи, пенистые да мутные, понесли мусор с пригорков в низины, вынесли вон из слободы, а наверху, глянь, уж лазурь проступила. Светлая такая, чистая, холодная, облачка по ней бегут быстрые, ветер веет, голые ветви мотает, весну торопит. Сыро так и светло; ежели руки в рукавицы не упрячешь — красные такие делаются; а хорошо, весело!

Земля под ногами чавкает, глина непролазная, ни тебе в санях, ни тебе в телеге, а мурзы все равно ездить желают, пешочком нипочем не пройдутся — не по чину. Вот смотришь, перерожденцы валенками глину месят, сани тащучи; из сил выбиваются, матюгаются, а сани ни с места. Мурза их кнутом! да еще! а они его по-матерному! — такой, право, гвалт стоит, одно слово: весна!

Потом, глядишь, опять подморозит, денек выпадет пронзительный, холодный; и снежок мелкой

крупкой просыплется, и пузыри в окошках изморозью подернутся.

А пока Бенедикт в лихорадке лежал, Федор Кузьмич, слава ему, новый Указ сочинить изволил:

Указ

Вот как я есть Федор Кузьмич Каблуков, слава мне, Набольший Мурза, долгих лет мне жизни, Секлетарь и Академик и Герой и Мореплаватель и Плотник, и как я есть в непрестанной об людях заботе, приказываю.

× Вот еще какое дело вспомнил совсем забыл с государственными делами заматавшись:

× Восьмого Марта тоже Праздник Международный Женский День.

× Энтот праздник не выходной.

× Значит на работу выходить, но работать спустя рукава.

× Женский День значит навроде Бабского Праздника.

× В энтот день всем бабам почет и уважение как есть они Жена и Мать и Бабушка и Племянница или другая какая Пизалица малая всех уважать.

× В энтот Праздник их не бить не колшматить ничего такого обычного

чтоб не делать, а пушай она Жена и Мать и Бабушка и Племянница или другая какая Пизалица малая с утра пораньше встанет пирогов напечет оладушков того-сего навалает все чисто вымоет полы подметет лавки надраит воды с колодца наносит белье там исподнее али верхнее намочит-настирает у кого коврики али половички пушай все хорошо выколотиш а то я вас знаю пылшиша в избе хоть нос зажимай. Дров пушай нарубит баньку растопит помоемся как следоват. Стол накроет побогаче блины горкой закусь всякая может с Нового Года чего недоедено все на стол тащи.

× С работы придя проздравить Жену и Мать и Бабушку и Племянницу или другую какую Пизалицу малую с Международным Женским Днем.

× Сказать: «Желаю вам Жена и Мать и Бабушка и Племянница или другая какая Пизалица малая счастья в жизни успехов в работе мирного неба над головой».

× Всякую бабу, хоть Соседка хоть кто такими же словами вежливо проздравлять.

× Опосля пей-гуляй, ешь что хочешь веселись, но в меру.

Каблуков

Вот точно, Бенедикт так и знал, большой он по бабскому делу ходок, Федор Кузьмич, слава ему. На работе бабы сидят предовольные: никто им слова худого не скажет, не пнет, ни тебе заушин, ни затрещин, всякий проздравляет. Варвара Лукинишна на шейку-то бусы надела. Оленька вся в лентах. Даже Ксения-сирота какой-то кружавчик из суровых ниток навертела и на темечко пришпилила. Такие все красавицы — хоть сейчас портки долой да шутки с ними шути.

А еще что придумали: вербных веток нарвали да в горшок с водой вторнули; в избе тепло, листики-то и распустились. Может, оно и своеволие, а только ихний день, и все тут. И Шакал Демьянычу на стол тоже горшок с ветками поставили было, да только он его сбросил на пол: ничего в Указе про вербу не указано.

Шакал Демьяныч Указы все наизусть знает и любит. Даже старые, с незапамятных времен: вот, скажем, чтоб выходной был в воскресенье. Все и так знают, что воскресенье — это воскресенье, ни один голубчик нипочем работать не будет, хоть его режь. Казалось бы: чего ж тут указывать, бересту тратить? Не-ет, это вот подход негосударственный.

А государственный подход — это чтоб строго-настрого указать, чтоб выходной ни Боже мой не в субботу случался, ни Боже мой не в пятницу, ни Боже мой не в четверг, ни Боже мой не в среду, ни Боже мой не во вторник, ни Боже мой не в понедельник. Так укажут — и так и будет, потому как на то и госу-

дарство, его же сила и слава и власть земная, во веки веков, аминь.

Шакал Демьяныча никто особенно не любит. Да и кто мурзу любить может? Разве что баба его, ну, детушки малые, а так никто. А не для того он и предназначен, мурза, чтоб его любить. А он для того предназначен, чтоб порядок был. Списки работников наблюдать. Чернила выдавать. Бересту. Вычеты за прогулы, за пьянство али пороть кого — вот для чего. А без мурзы нельзя, без мурзы мы все перепутаем.

Ну вот, к примеру. По-простому ежели рассуждать. Майский Выходной — он случается в мае, а стало быть, Октябрьский Выходной — в октябре? Ан и нет! Октябрьский Выходной — в ноябре! Не будь мурзы, слышь, все бы голубчики, весь Федор-Кузьмичск так бы пьяные и провалялись весь октябрь-то месяц!

А многие дивятся: отчего бы это Октябрьский Выходной — да в ноябре? А опять-таки подход у них негосударственный! А потому он в ноябре, что в октябре погода обычно хорошая, ни снега, ничего. Воздух такой крепкий, палым листом пахнет, солнышко долго светит, небо, чать, голубое. Голубчики, кто ходячий, сами, без Указа, на улицу выходят — кто за ржавью отправился, кто хворосту из лесу принести, кто последнюю репу выкапывать. Красота! Ясность в природе.

А в ноябре как зарядят дожди, как зарядят, как

зарядят, — и-и-и-и-и-и! — мутно так между небом и землей, и на душе мутно! Крыша течет, если худая; холодом, сыростью в пазы дует. Заткнешь окно тряпицей, к печи поближе притулишься, а не то на лежанке дремлешь, и плачется что-то, все плачется! Прошло лето красное, не воротишь — словно бы сама жизнь прошла, развеялась радость пылью дорожной! Отворишь от окна тряпицу, глянуть, — а на улице никогошеньки, ничегошеньки, только дождь крутит да в лужи бьет. Да тучи рваные. Голубчики, даже из самых глупых, в такую погоду нипочем из дому по своей воле носа не высунут.

Вот в такой день, когда все тут, все по домам, никуда не разбрелись, никого ни в лесу, ни в поле не позабыли, — в такой день и назначают Октябрьский Выходной. Всем голубчикам, и здоровым, и увечным, велено из дома выходить на главную площадь, где дозорная башня, и по шестеро в ряд, с песнями, пройтись. А с дозорной башни мурзы будут на голубчиков глядеть и всех их по головам пересчитывать. Потому что надо ж знать, сколько у нас народу, и сколько бляшек нарезать для уплаты, и сколько добра в Складской День выдавать, и скольких можно на дорожные работы привлечь, если не увечные, и все такое. И народная мудрость тоже говорит: цыплят по осени считают. А когда всех пересчитают, то, конечно, можно по домам, пей-гуляй, веселись, что хочешь делай, но в меру. Это вот и есть подход государственный.

А в какой точно день Октябрьский Выходной назначить — это уж начальство думает, на то оно и начальство. Они в терему сидят, на небо смотрят, за погодой наблюдают, про себя рассуждают: вчера, думают, было вроде рано, а завтра — кто его знает, может, и поздно, а сегодня, думают, в аккурат тот самый день. Пнать всех на пересчет.

Эти все дела Шакал и знает, такая ему должность.

Ознакомил Бенедикта с Указом:

— Извольте проздравлять.

Бенедикт выучил проздравление: прочел, еще прочел; в потолок глядя, повторил; потом по бересте проверил, потом глаза зажмурил и еще раз прошептал, чтоб уж накрепко. Варваре Лукинишне все вежливо сказал:

— Желаю вам Жена и Мать и Бабушка и Племянница или другая какая Пигалица малая счастья в жизни успехов в работе мирного неба над головой.

Васюк Ушастый локти растопырил и из своего угла тревожно слушал: все ли правильно Бенедикт говорит, все ли по Указу.

Варвара Лукинишна вся красная стала: приятно ей такие слова слышать.

— Ах, милый, спасибо. А вот приходите ко мне сегодня вечером: у меня суп сварен.

— Сегодня-то? Не знаю...

— Орешки остались... Мышь запекла.

— Уж я и не знаю...

— Мышь — свежайшая.

Бенедикт колебался.

— Приходите... Я вам кое-что покажу... по секрету.

Вот какая баба настырная. Она и в сарафане страшна, а если одежду скинет да секрет показывать будет, так оно небось и вовсе: шапку хватить да и в двери? Но, конечно, оно заманчиво... Мало ли...

— Право, заходите... Об искусстве поговорим... Я знаю, вы способны тонко чувствовать... У вас, мне кажется, огромный потенциал.

Потупила свой глазик единственный. О, какая... Бенедикт даже вспотел. Какие разговоры волнующие... Прямо на работе...

— Да уж не маленький... Жалоб не поступало... Все чувствую тонко... А вы откуда знаете?.. Какой у меня пуденциал?

— Ну... этого же не скроешь...

— Сболтнул кто?

— Да, мы часто о вас говорим... в своем кругу, знаете... высказываем мнения... Все согласны: у вас прекрасное развитие...

— О?!..

— Да... От вас можно многого ожидать.

— Хм... Что за круг-то у вас?

— Свои люди... близкие. Вы с некоторыми знакомы.

Так он и думал. Бабы!.. Сядут в кружок да давай разговоры разговаривать про свои бабские дела.

Кто, да с кем, да когда. И Бенедикта обсуждали! Хвалили!..

— ...открываем друг другу свои маленькие секреты, — шептала Варвара Лукинишна. — Делимся.

?!?! Эка! Вон как у них заведено! Понятно... что ж... люди одинокие...

— Много вас там? В кругу-то?

— О, небольшая группа, человек шесть... Нечасто удается собраться, но общение очень интенсивное, тесное...

— Вшестером-то, конечно, тесно... это вы на полу али как?

— Зачем, кто где...

— Как же вы тогда...

— Как размещаемся? Ну, конечно, избушка у меня миниатюрная, слов нет, это правда. Когда все соберутся, поверите ли, иногда буквально на головах друг у друга сидим!

— Ага... Я приду, — быстро сказал Бенедикт. — Приду, ждите.

Так!.. Срочно надо баньку растопить, помыться, потом ржави жбан прихватить — не с пустыми же руками в дом, — потом... потом видно будет. Ой, что будет!.. Сейчас всех проздравить — и домой; Шакал ничего не скажет — указано: работать спустя рукава. Бенедикт откланялся Ксене-сироте:

— Желаю вам Жена и Мать и Бабушка и Племянница или другая какая Пигалица малая счастья в жизни успехов в работе мирного неба над головой.

Обрадовалась.

— Уж сколько раз сегодня слышу, а все приятно!
Вот бы каждый день так!

Шакал на нее из своего угла покосился: своеволие выражает. А сказать-то и нечего: сегодня велено только проздравлять, а не обижать, ничего. Завтра ей врежет, надо думать.

— Приходите вечерком на мои оладьи.

— Занят.

— Ах, как жалко. Оладьи у меня такие пышные!

— Не сомневаюсь.

И эта туда же: намекает. Оладьи у нее, вишь, пышные!.. А что если и туда и сюда?.. В два конца обернуться?.. А Оленька со своего тубарета посматривает... Надо Оленьку проздравить. С другими-то разговор легко шел, а с Оленькой как-то боязно стало: оробел, коленки ослабели. Подсел к Оленьке, пробормотал:

— Желаю вам Жена и Мать и Бабушка и Племянница или другая какая Пигалица малая счастья в жизни успехов в работе мирного неба над головой.

А Оленька тихо так засмеялась:

— Какая же я вам жена?..

— Так в Указе...

— А без Указу?..

Бенедикт опять вспотел: вот он, Женский День, Бабский Праздник, вот к чему все это клонится-то... Ай да Федор Кузьмич, слава ему... Вот она его сейчас на блины позовет...

— ...без Указу, значит, нет счастья в жизни?

— Оленька... Оленька, хочу счастья в жизни без Указу...

— Ну дак?..

— Предлагаю вам руку, сердце и пуденциал, — прошептал Бенедикт. Сам от себя таких слов прекрасных, страшных не ждал: вырвалось.

— Беру, — прошептала и Оленька.

— Берете?!..

— Беру... Я все беру...

Помолчали... Что еще надо говорить... Сердце-то так и прыгало... Ой, решился!.. Решился! Ну и день сегодня!

Федору Кузьмичу — слава!

Прощай, значит, жизнь холостая! Недолго и погуляли, Бенедикт Карпыч! Ну и хорошо! Надо остепеняться. Бенедикт домой бежал бегом: еще рано, угли в печи не остыли, набрать да и баньку растопить... Эвона: с прошлого года не мылся! По новому, конечно, стилю. Раньше Первого Января новый год считали, по старинке, а теперь перенесли, вот и получается... Бежал, бабам встречным кланялся — непривычно, а надо. Поздравление выкрикивал. Всем желал счастья в жизни. Мимо Никита Иваныч семенил, бревно тащил — и ему, в шутку, крикнул: «Мирного неба над головой, Никита Иваныч! Чтоб ни дождичка, ничего!» — старик даже передернулся, обернулся, плюнул оземь. А-а,

думает: Бенедикт его за бабу принял!.. А это просто шутка!

Оленька в другой слободе живет... не в нашей... Мы вон где, а она — эвон где. Договорено на Майский Выходной к ней в гости: с родителями знакомиться. Дай-то Бог, погоды будут хорошие, светлые... Мирного неба над головой!.. Не то что сегодня: грязь, и дождичек моросит...

Пробежал мимо завязших саней: безнадега в такую погоду ездить. На обочине перерожденцы мохнатые: тройка. Отдыхают, валенки скинули, ржавь покуривают, вслед голубчикам зубоскальничают. Увидели Бенедикта, заржали:

— Убежим от инфаркта!..

— Не догоню, так согреюсь!

— Давай быстрее, гараж закроют!

Твари бессовестные. Пристают к людям. А отлаиваться — себе дороже: ругань у них покрепше нашей. Никто с ними не связывается, с перерожденцами.

С горки на горку, по переулочкам, где и огородами, где под плетень пролезть, путь сократить, — добежал до дому, засовы посбрасывал, скорей в избу, печную заслонку рванул: тлеет! Тлеет, голубчик! Успел! Сейчас ржавки туда, полешек, щепочек; вздуть огонь, пушай играет; а как заиграет, так и в баньку его перетащить. Да воды наносить, да веник прошлогодний вроде в сарае валялся, да мочалка совсем новая где-то тут.. была тут где-то... Вот был бы

сейчас женат, прибежал бы с работы — а все уж приготовлено, пауки выметены, веник распарен. Да, но только женатому по бабам-то не очень сподручно... «Ты куда это, Бенедикт, на ночь глядя?» — «Да тут.. надо мне... об искусстве поговорить...» — «Знаем мы!.. Ишы!.. Искусник нашелся!..» И веником его, веником... Нешто он с Оленькой драться будет? Не-ет, все у них будет по-хорошему, а иначе зачем.

Да, придешь — все приготовлено, а только той свободы уж не будет. Ну и пусть. Зато жена красавица! А свобода — что ж... Вот он сейчас свободен, а мочалки не видать — неужели украли? Ан нет, опять повезло: нашлась мочалка в баньке под камнем; заплесневела малость, зато нашлась. Что за день сегодня: все ладится.

Вот попарился влать. Всего себя мочалкой растер, веничком докрасна исхлестал, обсмотрел себя со всех сторон, куда глаза хватало: красавец! Случись сейчас сосед какой, загляни он в окошечко — позавидовал бы. Бенедикт даже сам себе позавидовал. Немудрено, что бабы его хвалят: «прекрасное развитие, много от вас ожидаем!» Ожидайте, сейчас оботрусь — и к вам. А что ж, все шестеро соберутся али как?.. Ничего, Бог даст, управлюсь! На головах сидят... эка!

Угли сгреб в кучку: так, может, дольше продержатся. Но до утра — вряд ли. Хотя ведь у Варварки угольков набрать можно. Но только зачем? — утром все равно на работу. Эх, суета, пустые хлопоты! Бе-

недикт опять разбросал угли: не дай Бог, пожар. С этим огнем ведь как: погаснет он — ложись и помирай; разгорится не в меру — все пожрет, уничтожит, как и не было ничего! Он такой, огонь-то! Он норовистый. Он пищи требует, он, как все равно человек, всегда голодный. Все дай да дай! А перекормишь его — он тебя же и съест.

А как у кого пожар случится, голубчики сбегаются отовсюду, со всех слобод; и с самых дальних концов другой раз бегут. Соберется толпа агромаднейшая, как все равно на Октябрьский Выходной. Обступят дом, что горит, стоят, на грудях руки сложимши, смотрят.. Молчат али перешептываются: «ишь, как пламя столбом-то...», «смотри, вон, вон, с угла занимается!..» А пламя и правда рвется, мечется, не то что столбом, а, сказать, деревом каким, вот как Окаян-дерево по весне: пляшет и гудит, крутит и клубится, а с места не сойдет. Обернешься на голубчиков: стоят, глаза раскрывши, и в глазах тоже огонь пляшет, отражается, как в воде какой, переплескивается. Вот у толпы глаз-то тыща, да в каждом вода с огнем плещет, словно заря на реке; дико так на душе станет, право! никогда вода с огнем не сходится, а тут вона, сошлись!

А если Прежние рядом случатся — они бегают, за голову хватаются, кричат: «Тушите! Тушите пожар!» — а как? Как его потушишь-то? Это малое пламя ведерком зальешь, а если огонь свою силу показал — все. Жди до конца.

Ежели другие избы не займутся — хорошо. Вот как огонь все поест, ложиться начнет, засыпать, — голубчики двинутся с ведрами, да с горшками, кто с чем, угольки набирать, себе в дом тащить. Может, у них и без того печь теплая — неважно. Не пропадать же добру.

А иной раз вся слобода выгорит. Что ж! — начинать жить сначала.

Мытый, сам себе приятный, постучался к Варваре. Открыла нарядная, вся вспотевши.

— Ах! Это вы. Как мило. Что это? Ржавь? Ну зачем вы трудились...

Посмотрел по сторонам: баловниц еще не было. Подождем. Стол накрыт. Миски — две, да ложки — две. Супу горшок.

— Вы присаживайтесь. Я сейчас.

Вытащила из печи противень с мышами.

— Вроде пропеклись...

— А вы лучинкой их потыкайте.

— Верно... В самый раз. Свежие, сегодня ловила.

— Чудно.

Налили ржави. Закусили.

— Ваше здоровье.

Еще налили. Хорошо пошла.

— Какая чудная ваша ржавь. С букетом.

— А это я знаю, где брать.

— А где вы берете, если не секрет?

— А на трясине. За кохинорской слободой.

— Где Садовое Кольцо?

— Ну да.

— В какую даль вы ходите!

— Но дак. Зато и ржавь знатная.

— Надо мне тоже туда наведаться.

Бабы все не шли. Бенедикт кашлянул вежливо, в кулак.

— Гости-то подойдут ай нет?

— Нет, я не решилась...

— А обещали?..

— Я подумала... вот... лучше я вам сперва открою свой секрет наедине... Не знаю, как вы воспримете... волнуясь...

— Да я вроде тоже...

— Я не знаю, способны ли вы оценить...

— Способен, — сказал Бенедикт, но не был уверен, что способен.

— Ну хорошо... Но это секрет. Вы, конечно, никому...

— Да-да.

— Ну, закройте глаза.

Бенедикт закрыл глаза. Варвара зашуршала. Стукнуло что-то. Опять шорох. Бенедикт приоткрыл один глаз и стал подглядывать. Но ничего еще не было вроде готово, только от свечи плясали тени на бревнах — и он опять зажмурился.

— Пора не пора — выхожу со двора-а! — пропел Бенедикт.

— Да погодите вы... Какой нетерпеливый...

— Мне невтерпеж, — соврал Бенедикт и в голос игривости подпустил. — Оч-чень даже невтерпеж.

Тут ему на колени тяжесть какая-то опустилась, легкая такая тяжесть, и плесенью пахнуло.

— Вот... Смотрите...

— Что это?!..

Коробка не коробка, а вроде того; внутри листы беловатые, похоже на свежую бересту, но светлее; тонкие-претонкие и будто мусорком присыпаны, али маком.

— Что это такое?!

— А вы ближе посмотрите!

Поднес к глазам. Мусорок такой ровненький... как нитки... смотрел, дивясь... Вдруг словно бы нитка распалась и по глазам ударила: «и свеча, при которой она читала полную тревог и обмана жизнь...» Ахнул: буквы! Точно, буквы! Написано мелко-мелко, до того уж аккуратно, и не коричневые, а черные... Посплюнил палец, потер бересту: сразу протер дырку. Тонкая, бля!

— Осторожнее, попортите!

— Что это такое...

— Это книга... Старопечатная...

— А!!! — Бенедикт сорвался с тубарета, отбрасывая заразу. — Вы что!!! Заболею!

— Нет! Погодите! Да погодите вы!..

— Болезнь!..

— Нет!..

— Пустите!..

— Да сядьте! Сядьте! Я все объясню! Клянусь! — Варвара Лукинишна отдираала Бенедиктовы руки от засовов, трясла гребешками. — Совершенно безопасно... Никита Иваныч подтвердил!

— Он-то здесь каким боком?

— Он знает! Это он подарил!

Бенедикт притих, ослаб ногами, осел на тубарет, вытер нос рукавом, унимая дрожь. Никита Иваныч. Начальство. И не заболел. Держал книгу — и не заболел...

— Безопасно... — шептала Варвара. — Вы знаете, он чудесный старик... такой знающий... Пояснил мне: совершенно безопасно, это просто суеверие... Знаете, когда Взрыв случился, это все считалось опасным, радиация... ну, вы слышали... Поэтому запрещалось. От книг — радиация...

— Их послушать, Прежних, так от всего — радиация, — дрожал Бенедикт. — Нет, тут другое что-то...

— Но Никита Иваныч знает... У него есть... Если бы правда было опасно, он давно заболел бы, но вы же видите, он здоровее нас с вами...

— Зачем же... зачем же лечат?.. — тьфу, тьфу, тьфу?..

— Это традиция, тьфу, тьфу, тьфу...

Оба постучали по дереву.

...Боже упаси, боже упаси. Я не болен, я не болен, нет, нет, нет. Не заболею, не заболею, нет, нет, нет. Не надо приезжать, не надо, не надо. В красных ба-

лаконах не надо приезжать, тьфу, тьфу, тьфу. Крюком меня не надо, нет, нет, нет.

— ...Он мне пояснил... считалось очень опасно, потому что бумага впитывает... вот мы с вами и переписываем, чтобы чисто, чтобы не опасно народному здоровью... но теперь уже все равно, двести лет прошло... Мы с вами старые книги переписываем, Бенедикт...

— Как старые? Это все Федор Кузьмич, слава ему...

— Нет... Это все разные люди писали, но все равно считается, что Федор Кузьмич. Я чувствовала, что тут что-то... Знаете, когда я его увидела, Федора Кузьмича, я ночь не спала... все думала, думала... Потом решила, набралась смелости, пошла к Никите Иванычу. Мы долго говорили...

— Он мне ничего такого...

— Ах, Бенедикт, он своеобразный человек... Мы говорили о вас... Он хотел вам сказать, но не сразу... подготовить... Я знаю, это большой удар... но, по-моему, лучше знать, чем бродить во тьме...

Бенедикт сидел на тубарете ссутулившись; мысли вразброд, в голове тупость. Может, он рано на работу вышел? Может, еще лихорадка не прошла? Что-то дрожь бьет. Или это после бани?.. К чему ж было умываться, когда не с кем целоваться...

— Ну и что теперь?

— Теперь? Ничего, просто теперь вы знаете.

— А зачем?

— Ну как... Я думала...

— А зачем думать? Я жить хочу.

— Но при чем здесь... Я тоже... но я хочу знать правду... если это возможно...

— «В великом знании многая печали»... Что ж, выходит, это тоже не Федор Кузьмич сочинил, слава ему?

— Наверно, нет.

— А кто?

— Я не знаю... Это у Прежних надо спрашивать.

Варвара Лукинишна подняла с полу старопечатную книгу, положила на стол, ручками погладила. Странно как-то и дико: такой ужас вблизи видеть.

— Все-таки: зачем вы трогаете... Если мы старые книги переписываем, дак и подождите, пока велено переписать будет... Тогда и в руки взять можно...

— Но когда еще... может быть, не скоро. А жизнь такая короткая, а я искусство просто обожаю... Это такая книга интересная!..

— Вы что ж — читаете ее?!

— А как же... Бенедикт, у людей много книг интересных... Хотите — я вам дам почитать?

— Нет!!! — шарахнулся Бенедикт.

— Да что вы так боитесь...

— Я пойду... Голова что-то...

— Подождите!..

Бенедикт вырвался, ссыпался с крыльца под дождик, в раннюю сырую тьму. С глаз долой. Голова и правда что-то...

...Мартовский ветер шумел в верхушках деревьев, шуршал голыми прутьями, заячьими гнездами, еще чем-то неведомым — кто же знает, что там во зится, стонет, оживает по весне? Налетит ветер порывом — зашепчется, занует в деревьях, осыплет голову дождевыми каплями. А то дикий крик сверху, с ветвей: весь передернешься, бросишься к забору поближе... Может, деревяница...

...Пузыри в окнах слабо мерцают — голубчики свечки зажгли, суп хлебают... Переглядываются: у них, может, тоже старая книга под лежанкой припрятана... Двери запрем и достанем... Почитаем... А может, такая у каждого, а что?.. в этой избе... и в той... и вон в той, где помаргивает бледный свет, — свечка ли чадит, люди ли по горнице бродят, слабым смертным туловом огонь заслоняют; засовы пошевелият: крепко ли? — тянут с-под матраса, из вороха тряпиц, пёстрых людских лохмотьев книжицу... книгу... а он тут один, как дурак перепуганный... Один на весь город... Буквы такие черненькие, меленькие... страшно подумать даже...

Наверху все шумело, ныло. Ветер забирался в рукава, продувал насквозь. Бенедикт постоял у чужого забора, размышляя. Печеная мышь только аппетит раздражила. Есть охота. А у него дома, в избе, и огня-то нет: затоптал, в гости собираючись. Думал, не пригодится. Вернуться, огня взять? Она даст, она добрая... Нет... Вернуться? — скрипучая дверь... тепло... белое обрадованное лицо блином, гребешки

трясутся, торопливый шепот: сюда, сюда, у меня искусство... Вот сейчас, только плесень оботру... И свеча, при которой... полную тревог и обмана!.. Страх какой! «Страх, петля и яма», — Федор Кузьмич сочинил... Не Федор, говорит, Кузьмич, слава ему... Полную тревог... И обмана... Не Федор Кузьмич... Другой кто-то, невидимый, древний, лицо укрывший... Большой, наверное, белый и большой, бледный, старинный, давно вымерший, высотой с дерево, борода до колен, глаза страшные... Сам страшный, стоит среди стволов, не пошевелится, только лицо воротит, а глазами все смотрит сквозь мартовский сумрак, шарит глазами-то, чтобы Бенедикта различить во мгле-то: где там Бенедикт-то, чего скрылся, чего привалился к забору, — а сердце в шее колотится, под язык подступает, уши глушит, — где Бенедикт, поди сюды, Бенедикт, чего сказать-то хочу, — да как выбросит руку, да корявым пальцем под ребра-то, со страшным криком древяницы: «Мя-я-я-я-я-я-я-я-я-я!!!»

Стукнуло дверью чужой избы — простой домашний стук, жизнь простая стукнула дверью, пьяный говорок да смех в сумерках, знать, гости у кого, праздник нынче, вот и вышли на крылечко — по нужде ли по малой али так — воздуху свежего вдохнуть, жизнь прожить, песню спеть, коту ногой наподдаты!

Не заметили Бенедикта, оползшего под забор, никому он не виден, и страшный древний житель, что прочитал, а то написал, а то в тряпки припрятал

полную обмана книгу, не заметил его, малого; как привиделся, так и сгинул, и нетути.

Домой. Темно у него в избе, пеплом пахнет, и до свадьбы еще далеко-далеко.

МЫСЛЕТЕ

Прежние — они с виду, как мы. Мужики, бабы, молодые, старые — всякие. Больше пожилых. Но они другие. У них такое Последствие, чтоб не стариться. А больше никаких. И живут себе, и не помирают, от старости-то. От других причин — это да, это они помирают. Их совсем мало осталось, Прежних.

Они по избам своим сидят, а то на работу ходят, а какой и в начальство выбился — все у них, как у нас. Только разговор другой. Повстречается тебе на улице незнакомый голубчик — нипочем не догадаешься, наш он или из Прежних. Разве что спросишь его, как водится: «Хто таков? Почему не знаю? Какого хрена тебя в нашей слободе носит?» — а он нет чтобы ответить, как у людей водится: «А те чо, рыло носить надоело? Ща оборву да об колено» или другое что, — нет, чтобы так понятно, али сказать, вразумительно прояснить, — дескать, ты-то силен, да и я силен, лучше не связывайся! Нет, иной раз в ответ услышишь: «Оставьте меня в покое! Хулиган!» — ну тогда, точно, Прежний это.

А бывает, кто из них помрет, — ну, тогда они его хоронят, Прежние-то. И тоже не по-нашему. Камушки на глаза не кладут. Внутренностей не вынимают, ржавью не набивают. Руки с ногами веревкой не связывают, коленок не подгибают. С покойником в гроб ни свечки, ни мышки, ни посуды какой, ни горшков, ни ложек не кладут, лук-стрелы не кладут, фигурок малых из глины не лепят, ничего такого. Разве из щепочек крестик свяжут, в руки своему покойнику сунут, а то идола на бересте нарисуют и тоже в руки-то ему засовывают, как портрет какой. А которые и того не делают.

Вот как раз у них одна старуха и помри. Никита Иваныч к Бенедикту зашел, мрачный такой: недоволен, что Прежняя старуха померла.

— Бенья, у нас тут Анна Петровна преставилась. Пожалуйста, очень попрошу, по дружбе, помощи нести гроб. Такая распутица, все дороги развезло. Нам не справиться.

Что делать. Пошел помогать. А даже интересно посмотреть, как это у них все не по-людски делается.

Толпа такая небольшая, с дюжину. Народ все больше в летах. Не матерятся, ничего. Беседуют тихо. Личики расстроенные.

— А кто распорядитель-то?

— Виктор Иваныч.

— Опять Виктор Иваныч?

— А кто еще? У него огромный опыт.

— А транспорт не достал.

— Транспорт не дали. Говорят, гараж закрыт, погода плохая.

— У них всегда предлоги.

— Как будто вы не знаете.

— Издеваются над людьми.

— А то вы не привыкли.

Виктор Иваныч, распорядитель ихний, — молодой такой; волос у него светлый, короткий, набок зачесан. На личике неудовольствие. Рукав красными нитками обмотан, чтоб его издали видеть было. Не мурза, но вроде того, так что на всякий случай Бенедикт ему — поклон. Тот бровями шевельнул: принял. Сказал Бенедикту:

— Не толпитесь.

Гроб наземь поставили, рядом с ямой. Рядом тубарет приткнули и подушечку красную на тубарет наложили. Встали жиденьким полукругом, шапки сняли. Виктор Иваныч двоих выбрал, пальчиком ткнул.

— Вы и вы. Прошу. В почетный караул.

Толпу строго так поверх голов оглянул и голос возвысил:

— Гражданскую панихиду считаю открытой. Начинаю!

Прежние ему:

— Начинайте, начинайте, Виктор Иваныч. Холодно.

Виктор Иваныч голос еще возвысил и начал:

— Родственники, близкие есть? Попрошу в первые ряды!

Никто не вышел. Нетути у нее родни, значит, как и у Бенедикта. Сама мышей ловила.

— Сослуживцы?..

Никого. Одна голубушка высунулась:

— Я соседка. Я за ней присматривала.

Виктор Иваныч ей злобно так, обычным голосом:

— Не забегайте вперед! Я еще не вызывал.

— Да я мерзну! Давайте скорее.

— Будете хулиганить — попрошу очистить помещение! — рассердился Виктор Иваныч. — Есть порядок!

— Да в самом деле! — закричали из толпы. — Есть порядок, вот и давайте соблюдать! А то бардак выйдет. Как всегда. Только время теряем!

Виктор Иваныч голос прежний сделал: возвышенный и как бы звонкий, как будто в лесу аукается:

— Соседи, домочадцы?.. В первые ряды.

Соседка, что скандалила, вперед забежала. Виктор Иваныч в личико теплоты чуток подпустил: рот в куриную гузку собрал и подглазьями-то как бы заморщился. Бабе этой локоть пожал и сказал:

— Крепитесь.

Баба заплакала. А Виктор Иваныч опять аукнул:

— Боевые награды, медали, ордена есть?.. Правительственные награды?.. Дипломы государственных учреждений?.. Нагрудные знаки?.. Погоны, орденские планки?..

Ничего не было.

— Билеты партийный, комсомольский, профсоюзный?.. Билеты государственной лотереи?.. Облигации внутреннего займа?.. Трудовая книжка?.. Удостоверения членов творческих союзов?.. Нет?.. Документы на право вождения транспорта?.. Грузового?.. Легкового?.. Трактора с прицепом?.. Нет?.. Жилищно-эксплуатационные документы?.. Абонентские книжечки?.. Газ?.. Телефон?.. Коллективная антенна?.. Квитанции на перерасчет?..

Слова все такие непонятные, смешные, ужаси. Бенедикт не выдержал, хихикнул, обернулся на толпу: небось тоже со смеху давятся? Нет, слезы в три ручья точат. Личики такие, будто в даль какую глядят. Баба одна ручки заломила, шепчет: «Не ценили... Не ценили...» И Никита Иваныч тоже слезы точит. Бенедикт ему шепнул:

— Вы чего, Никита Иваныч? Старуху жалко?

— Помолчи, Бенья! Помолчи, пожалуйста. Это же вся жизнь... Господи... Вот она какая... Вся жизнь человеческая...

Затрясся, рукавом лицо обтирает. А Виктор Иваныч:

— Инструкции к пользованию приборами бытового обслуживания?.. Нет?.. Телевизор?.. Плита газовая?.. Электрическая?.. Печь микроволновая?.. Примус?.. Нет?.. Пылесос?.. Полотер?.. Машина стиральная?.. Швейная?.. Приборы кухонные бытовые?..

— Есть, есть! Есть инструкция! — зашевелились в толпе.

— Очень хорошо! В первые ряды попрошу! Что за инструкция?

— Это на мясорубку. Со сменными насадками.

— Сюда кладите. Сюда. На подушечку.

Вышел пожилой голубчик, положил на красную подушечку клок замурзанный, обтерханный не-разбери-чего, и камушком придавил, чтоб ветром не сдуло. Тут все бабы ихние в голос зарыдали, завыли, как испорченные. Одной вроде как плохо стало, так ее поддерживали и в личико ей руками махали.

— Мужайтесь, товарищи! — объявил Виктор Иваныч. — Так! Еще! У кого еще есть памятные предметы?.. Реликвии?.. Нет?.. Все?.. Я перехожу ко второй части!.. ТОВАРИЩИ! — Тут Виктор Иваныч издал такой трубный глас, прям как слеповран какой, что Бенедикт даже присел и оглянулся. Так, бля, крикнул, будто здесь не дюжина голубчиков собрамши, а вся тыща.

— Смерть вырвала из наших рядов, — продолжал Виктор Иваныч, — незаменимого труженика. Светлого человека. Достойного гражданина. — Виктор Иваныч уронил головку на грудь и помолчал. Бенедикт присел и заглянул ему в личико: плачет? Нет, не плачет. Посмотрел на Бенедикта со злобой. Снова головкой-то дернул и продолжает: — Горько. Бесконечно горько. В преддверии славной годовщины, двухсотлетия Взрыва, — ...

— Виктор Иванович, Виктор Иванович! — зашевелились Прежние. — Это вы совсем не то говорите!..

— Как не то?.. А, верно. Извиняюсь. Это на другой случай. Спутал.

— А вы не путайте!

— А вы не сбивайте! Сбивают тут! — ощерился на Бенедикта. — Толпятся!

— Это Полины Михайловны сынок!

— Не ссорьтесь, господа! Давайте продолжать! «В преддверии...»

Виктор Иванович собрался, опять выражение на личико нахмурил, руки по швам сделал.

— В преддверии траурной годовщины, двухсотлетия Взрыва, разбросавшего и вновь сплотившего наши ряды, от нас ушел... ушел... большой, светлый товарищ, незаменимый гражданин, скромный, незаметный труженик. Огромной души человек. Он ушел, но дело его не умерло. Пусть вклад Анны Петровны в дело восстановления нашего Светлого Прошлого был невелик, — Виктор Иванович повел рукой на подушечку, — но он весом, груб, зрим... Земля тебе пухом, Анна Петровна!.. От общественности слободы кто хочет сказать? Вы, Николай Максимыч?.. Прошу.

Вышел другой пожилой голубчик, волоса на ветру развеваются. Заплаканный. Висморкался.

— Анна Петровна! Безвестная ты труженица! — заговорил ей прямо в гроб-то. — Как же ты так, Анна Петровна? А?! А мы! Не ценили мы тебя! Не инте-

ресовались! Думали — ну, Анна Петровна и Анна Петровна! Старушечка там какая-то! Думали, ты всегда с нами будешь. Да что там, честно говоря, ни в грош мы тебя не ставили! Кому она нужна, думали мы, мелкая, злобная, коммунальная старушонка, только под ногами путается, поганка вредная, прости Господи!..

— Э, э, — зашевелились голубчики, — полегче!

— Де мортибус аут бене аут нихиль! — гаркнул кто-то над ухом.

— А чего я-то? — дернулся Бенедикт. — Чего я-то сделал?..

— Это не про тебя, не про тебя, спокойно, Беня, — Никита Иваныч обдернул Бенедикта. — Стой спокойно, не вертись.

— ...Кому, говорю, ты была нужна, Анна Петровна, комар невидный! Интересы кухонные, от печи не отходила! Вон чего от тебя осталось-то: как покушать, да и все тут! А ведь жалко нам тебя, Анна ты Петровна! И без тебя народ неполный!

Виктор Иваныч голубчику руку пожал, поблагодарил:

— Очень хорошо сказали, товарищ. Благодарим вас. От общества охраны памятников, Никита Иваныч, вас попрошу!

Никита Иваныч вышел, тоже высморкался.

— Друзья! — начал. — Что говорит нам этот памятный предмет? — на подушечку указал. — Бесценная реликвия минувшего! Какую повесть поведе-

ла бы она нам, если бы заговорила? Скажут: музейный прах, пыль веков! Инструкция к мясорубке!.. То же мне!.. Но, друзья мои! Но! Как бывший музейный работник, чьи обязанности я и сейчас с себя не слагаю, я вам скажу! В эти трудные годы, — каменный век, закат Европы, гибель богов и все то, что мы с вами пережили, друзья, — в эти годы инструкция к мясорубке-то не менее ценна, чем папирус Александрийской библиотеки! Интегральная часть Ноева ковчега! Таблички Хаммурапи! Да что там! Материальная культура, друзья, ежечасно восстанавливается. Вновь изобретено колесо, возвращается коромысло, солнечные часы! Скоро научимся обжигать горшки! Верно, друзья? Придет черед и мясорубки. И пусть сейчас она так же загадочна, как тайна пирамид, — стоят ли они еще, мы не знаем, — так же непостижна уму, как каналы Марса, — но пробьет час, друзья, и она заработает! И прав Виктор Иванович — она возникнет перед нами весомо, грубо, зримо, как в наши дни дошел водопровод, сработанный еще рабами Рима! — водопровод, к сожалению, до наших дней не дошел, но и он не за горами! Будет, все будет! Главное же — сберечь духовное наследие! Предмета как такового нет, но есть инструкция к пользованию, духовное, не побоюсь этого слова, заветование, весточка из прошлого! И Анна Петровна, незаметная, скромная бабушка, сберегла эту весточку до смертного своего часа! Хранительница домашнего очага, краугольный камень, всему миру опора!

Урок нам всем, друзья. Памятник нерукотворный!
Тверже меди, долговечней пирамид! Низкий тебе поклон,
Анна Петровна, святая ты душа!

Заплакал и отошел.

— Очень хорошо сказали, Никита Иваныч. Благодарим вас. От диссидентов, Лев Львович, попрошу,
— возгласил Виктор Иваныч. Вышел такой голубчик кудлатый, тощий. Личиком покривился. Пальчики на пузике сцепил. Покачивается с носка на пятку.

— Господа, это символично: мир гибнет, но мясорубка неразрушима. Мясорубка истории. И здесь я позволю себе не согласиться с представителем общества охраны памятников, — опять покривился. — Мясорубка, господа. Со сменными насадками. Но все та же. Только насадки поменялись. А свобод как не было, так и нет. И что самое печальное. Укорененность. В народном сознании. Инструкция по завинчиванию гаек. Вечное коловращение рычагов и ножей. Вспомним Достоевского. Всеми миру погибнуть, а мне чтоб чай пить. Или мясо прокручивать. Пушечное мясо, господа. И в этот час мне горько. Нас уже прокрутили. И еще хотят. Об экономическом положении я сейчас говорить не буду: мы все замерзли. Я просто обращаю ваше внимание: да, мясорубка. Сработанная еще рабами Третьего Рима. Рабами! А ксерксов нет!

— Очень хорошо сказали, Лев Львович. Благодарим вас. От женской общественности?.. Лилия Павловна!

Бенедикт бабу слушать не стал, присел в сторонку на кочку, ждал, пока закончат. Подмерзать стало, поверх разбитой ногами глины прихватило морозцем, и крупку наметает. Все весна не проклюнется, все никак не проклюнется. В тепло бы да на лежанку. А Оленька чтоб оладьев поднесла да кваску горяченького. Оленька!.. Краса ненаглядная! Страшно даже на такой красоте жениться! Коса долгая... Глазки ясные... Личико яичком, али сказать, треугольничком. Сама полненькая, а может, это на ней одежи теплой понакручено. Пальчики тоненькие. Скорей бы Майский Выходной наступил... Пущай у окна сидит да вышивает, а Бенедикт на нее день бы деньской любовался.

...Прежние меж тем поговорили, поплакали, попели что-то унылое, зарыли свою старушку и расходиться начали. Никита Иваныч, носом шмыгая, подсел к Бенедикту, кисет развернул, ржавки в листик напѣхтал, себе сверточку, Бенедикту сверточку. Огоньком пыхнул — закурили.

— Отчего она помре, Никита Иваныч?

— Не знаю, Бенья. Кто ж знает?

— Объемшись али как?

— Эх, Бенья!..

— Никита Иваныч, а я жениться думаю.

— Дело хорошее. А не молод ты еще жениться?

— Никита Иваныч! Мне третий десяток!

— Тоже верно... А я тебя хотел привлечь к одному делу... По старой дружбе...

— Что за дело такое? Столбы ставить?

— Лучше даже... Хочу памятник Пушкину поставить. На Страстном. Проводили мы Анну Петровну, я и подумал... Ассоциации, знаешь ли. Там Анна Петровна, тут Анна Петровна... Мимолетное виденье... Что пройдет, то будет мило... Ты мне помочь должен.

— Что за памятник?

— Как тебе объяснить? Фигуру из дерева вырежем, в человеческий рост. Красивый такой, задумчивый. Голова склонена, руку на грудь положил.

— Это как мурзе кланяются?

— Нет... Это как прислушиваются: что грядет? Что минуло? И руку к сердцу. Вот так. Стучит? — значит, жизнь жива.

— Кто это Пушкин? Местный?

— Гений. Умер. Давно.

— Объемшись чего?

— О Господи, твоя воля!.. Прости, Господи, но что ж ты за дубина великовозрастная!.. митрофанушка, недоросль, а еще Полины Михайловны сын! Впрочем, я сам виноват. Надо было тобой раньше заняться. Ну вот теперь мне будет дело на старости лет. Поправим. Профессия у тебя хорошая, ты начитан — да?

— Начитан, Никита Иваныч! Читать страсть люблю. Вообще искусство. Музыку обожаю.

— Музыку... Да... Я Брамса любил...

— Брамс я тоже люблю. Это беспреренно.

— Откуда же ты можешь знать? — Старик удивился.

— Ну а то! Хэ! Да Семен-то — Семена знаете? Он на Мусорном Пруду избушку держит? Рядом с Иван Гвядичем-то? Вот так — Иван Гвядича избушка, а так — Семена? Справа-то, где ямина?

— Ну, ну, так что ж этот Семен?

— Ну дак он как квасу наберется, такую музыку громкую играет: ведра-то, горшки-то кверх днищем перевернет, да давай палками в их бить, — тумпа-тумпа, тумпа-тумпа, а потом в бочку-то, в днище-то: хрясь!!! — брамс и выйдет.

— Да... — Никита Иваныч вздохнул.

Посидели, помолчали, покурили. Да, приятно про музыку думать. Или пение... Надо на свадьбу Семена позвать. Ветер дунул, бросил еще снежной крупки.

— Ну что, пойдете, Никита Иваныч?.. А то у меня хвостик мерзнет.

— Какой хвостик?!

— Какой — обыкновенный. Сзади который.

НАШ

Вот тебе и пожалуйста. Вот оно! Человек предполагает, а Бог-то располагает. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу! Утратив правый путь во тьме долины! Жил, жил, солнышку радовался, на звезды печалился, цветки нюхал, мечты мечтал приятные — и вдруг такой удар. Это, прямо сказать, драма! Позор и драма — такого ужаса

еще небось ни с кем и не приключалось, даже с ко-
лобком!!!

Всю жизнь Бенедикт прожил, гордясь: вот он ка-
кой гладкий да ладный; и сам знал, и люди говори-
ли. Личика-то своего, конечно, человеку не увидеть,
разве воды в миску налить, свечку зажечь и глядеть-
ся. Тогда чего-то слабенько видать. Но тулово-то, оно
ж вот оно. Оно ж все на виду. Вот руки, ноги, пуп,
титьки, уд срамной, вот пальцы все, на руках и на
ногах, — и все без малейшего изъяну! А сзади, ко-
нечно, чему быть? — сзади зад, а на зад — хвостик.
А теперь Никита Иваныч говорит: у людей хвостика
нет и быть не должно! А?! Так что же это, Последст-
вие?!

Конечно, было время, у Бенедикта хвостика не
было. В детские-то годы все было назади гладенько.
А как начал в возраст входить, как мужская сила на-
чала в нем прибывать, так хвостик расти и начал.
Бенедикт думал, так и надо; тем, дескать, мужик от
бабы и отличается, что все в нем растет наружу, а у
ей все внутрь. Борода али волос по телу тоже снача-
ла не росли, а потом выросли, и стало красиво.

А ведь он гордился своим хвостиком-то! Ладный
такой хвостик, белый, крепкий; длиной, сказать, с
ладонь будет али поболее; если Бенедикт чем доволен
али радуется, так этот хвостик из стороны в сторону
помахивает, да и как же иначе? А если страх какой
нападет али тоска — хвостик как-то поджимается.
Всегда по хвостик у чувствуется, в каком человек на-

строении. И что же, теперь оказывается, что это ненормально? Неправильно? Бляха-муха!.. Может, и срамной уд, пуденциал по-книжному, — тоже неправильный? Обглядите, Никита Иваныч!

Никита Иваныч Бенедикта обглядел и сам расстроился. Нет, говорит, уд у тебя правильный, прекрасный и здоровый, числом один, такой бы да всякому, а хвостик тебе совершенно не нужен, и даже удивляюсь, как это ты, мечтатель и неврастеник, раньше не всполошился. И говорил ведь я тебе: меньше мышей есть надо! И давай я тебе его сейчас же ампутирую, а это значит, возьму топор да и отрублю. Тяп.

Нет!!! Страшно!!! Как же: отрублю?! Как все равно руку али ногу! Нет! Ни за что! А он: давай, давай, может, у тебя вся дурь-то, все невроты от хвостика!.. Нет, нет! Не дамся! Но вот как же теперь жениться-то?! Как теперь Оленьке, светлой красавице, в глаза смотреть? Ведь жениться — это не только олады, да вышиванье, да по саду-огороду прогулки рука об руку, это ж портки снимать! А Оленька глянет да и испугается: что это?! А?! А бабы-то: Марфушка, да Капитолинка, да Верка Кривая, да Пляшка-Кудлашка, да и другие многие, — ничего ему такого не сказали, никаких замечаньев али неудовольствия не выражали. Наоборот, нахваливали! Дуры неученые! кроме своего бабского дела, ничего знать не хотят!

Да, но как теперь быть-то: ведь полдела сделано, ведь он, считай, уже посватамшись и в гости к своя-

кам напросимшись, ведь уже с Оленькой стоворено, и день назначен к ним в избу идти, кланяться да знакомство заводить! Здравствуйте, милые, хочу вашу девушку за себя замуж взять! — А ты кто такой будешь и в чем твое преимущество? — А я буду Бенедикт Карпов, Карпа Пудыча покойного сын, а тот Пуда Христофорыча, а тот — Христофора Матвейча, а чей тот Матвей и откуда — того не упомним, во тьме времен потерялся. А в том мое преимущество, что молодой, да здоровый, да из себя пригожий, да работа у меня хорошая, чистая, а сами знаете... — А не врешь ли ты нам, Бенедикт Карпов? — А не вру. — А отчего это у тебя, Бенедикт, имя собачье? А может, то не имя, а прозвище?.. А отчего бы это тебя собачьим именем прозвали? В чем твое Последствие?..

Вот где драма-то.

Да мало ли, да какое мне дело-то, что у других голубчиков тоже Последствия бывают: волос лишний, да сыпь, да шишки-волдыри! Волдыри — по воде пугыри, лопнут — и нету их. Рожки, да ушки, да петушины гребешки тоже никого не красят, да мне-то что в том! Своя-то болячка — велик желвак, чужая болячка — почесуха! Да и нету в рожках да ушках секрету никакого, все на виду, люди и привыкши. Никто смеяться не будет: эй, чего у тебя рожки! — они тут всегда были, рожки-то, глаз и не видит. А хвостик — он вроде как секрет, тайный такой, али сказать, интимный. Кабы он у всех был, хвостик, так оно бы и хорошо. А коли он у одного тебя — это стыд.

Нет чтобы досталось какое роскошное Последствие, вот как Никите Иванычу выпало: огнем пыхаты! Чисто, красиво, люди боятся, уважают. Главный ты наш, говорят, Истопник, батюшка! А про Бенедикта скажут: пес! пес ты приبلудный, подзаборный! — вот как собакам всегда говорят, да и то сказать: какой же голубчик, завидев пса, не захочет ногами на него натопать, али пнуть, али палкой бросить, али ткнуть чем, али просто обmaterить всего, да не то чтобы со злобы — нет, злобу для людей приберечь надо, — а как бы с презрением.

А Никита Иваныч рассуждает: ну что ж, с другой стороны, хвост свойствен приматам; в глубоком прошлом, когда еще люди не вышли из животного состояния, хвост был нормальным явлением и никого не удивлял; очевидно, он начал исчезать, когда человек взял в руки палку-копалку; теперь же это атавизм; но что меня беспокоит, так это внезапный возврат именно этого специфического органа. К чему бы это. Все ж таки у нас неолит, а не какое-нибудь дикое общество; к чему бы это.

А Бенедикт ему со слезой: вам-то хорошо рассуждать, слова всякие говорить, Никита Иваныч! вот вы хотите прошлое восстанавливать, столбы ставить, пушкина из дерева резать, а что у меня это прошлое на заднице болтается, а мне жениться надо, дак вам это нипочем! А и все вы, видать, Прежние, такие: «восстановим светлое прошлое во всем его объеме», дак вот вам и весь объем! Нател! А как вы есть такие

ревнителю прошлых лет, дак отчего бы вам с хвостами не разгуливать, а мне лишнего не надобно! Я жить хочу!

А Никита Иваныч: согласен, юноша, слышу речь не мальчика, но мужа. Но только ведь и я о чем: чаю возрождения духовного! Пора бы уж! Чаю братства, любви, красоты. Справедливости. Уважения друг к другу. Возвышенных устремлений. Желая, чтоб место мордобоя и разбоя заступил разумный, честный труд рука об руку. Чтобы в душе загорелся огонь любви к ближнему.

А Бенедикт: ага, сейчас. У вас-то огонь, вам-то рассуждать сподручно. Всякий вам кланяется, в ножки валится, небось сурпризы в туесах носит: блины али вермишель! А ежели что не по-вашему — пыхнули да и подожгли лютого ворога, можно сказать, испепелили! А нам-то, простым-то, как жить?

А Никита Иваныч: нет, подожди, юноша, подожди, ты меня опять не понял. Никого я поджигать не собираюсь, помогаю по мере возможности. Конечно, Последствие у меня своеобразное, удобное, прикурить — всегда пожалуйста. Но ведь я тоже, может быть, не вечен, — вот и Анна Петровна отошла в мир лучший, идеже нет ни печали ни воздыхания. Пора бы вам, любезные мои, перестать надеяться на дядю и немножечко — ну немножечко — проявить инициативы. Пора самим добывать огонь!

А Бенедикт: да ей-Богу, Никита Иваныч, вы что,

дурной, что ли? Да где ж мы огонь возьмем? Это ж тайна! Это ж нельзя знать! Откуда он берется? Вот разве у кого изба загорится — это да, это все сбегутся и давай себе в горшки угольков набирать. Тогда конечно. А ежели по всему городу печи погаснут? А?! Жди грозы-молоньи? Мы ж все помрем дожидаячись!

А Никита Иванович: а трением, юноша, трением. Попробуйте, а я бы и рад, да стар уже. Не могу.

А Бенедикт: ай да ну вас, Никита Иванович. Старый, а похабничаете. Ну вас совсем.

— Портрета его, — сказал Никита Иванович, — у меня, к сожалению, нету, о чем вечная моя печаль и терзание. Не уберег. Что спасем из горящего дома? Что унесем с собой на необитаемый остров? — вечный вопрос! А ведь долго когда-то препирались все на летних верандах, на зимних кухнях, а то со случайными попутчиками на междугородных поездах! Какие три книги самые ценные в мире? Какие дорожки всего сердцу? Вот ты, юноша, что бы вынес из горящего дома?

Бенедикт крепко, честно подумал. Изба представилась. Как войдешь — на правую, значит, руку, — стол с тубаретом. Стол эдак к окну придвинут, чтоб светлее; на столе, понятное дело, свеча, ну а уж у стола — тубарет. Одна ножка у него подгнила, а подправить — руки не доходят. Потом там дальше вдоль стены — еще стуло. Раньше на нем матушка сидела,

а теперь никто не сидит, а Бенедикт на него другой раз зипун вешает али одежду бросает. Так, а больше там ничего нету. От того угла, стало быть, другая стена отходит, и там уж лежанка. На лежанке, известно, тряпье. Над лежанкой, на стене, полка приколочена, на полке книги стоят, ежели воры не украли. Под лежанкой, как у всех, — короб для дряни всякой, для нужного мусора, который выбросить жалко, для инструмента — гвозди там, другое что. В изголовьи лежанки — опять угол. На третьей стене-то, это которая, как взойдешь, напротив тебя будет, — печь. Ну что печи! Она и есть печь. Все про нее понятно. Сверху на ней тоже лежанка, кто тепло любит, спонизу в ней еду варят. Заглушки, засовки, загашнички, заслонки, воротильнички, потайные схоронилица — все на печи. Вся она вокруг себя веревками обмотана: сушить что, али так, для красоты развесить. И такая она, печь-то, широкая, такая, сказать, толстозадая, что на четвертой стене и места, почитай, ни для чего не осталось: пара крючков — шапку вешать, да полотенце, да и все тут. Ну и дверь в чулан, конечно, где ржавь храним, грибыши сушеные.

Что бы вынести, если, не дай Бог, пожар? Ржавь? — да ну ее! — всегда новой набрать можно. Миску новую? — тоже выдолбить можно. Стуло жалко немного, стуло еще давнишнее.

— Я бы стуло вынес, — сказал Бенедикт.

— Да?! — изумился Никита Иваныч. — Почему?!

— Матушкино.

— Ах, ну это понятно. Сентиментальная ценность. Ну а книги? Книги тебе не дороги?

— Книжицы, Никита Иваныч, я прямо вот как обожаю, да что в том? Ежели надо, я всегда заново перекаताю. А то на мышей сменяю. Да и потом, Никита Иваныч, ведь если пожар, не приведи Господь, — они ж первые загорятся. Пых! — и нетути. Это же дрянь, береста, матерьял пустой.

— Но слово, начертанное в них, тверже меди и долговечней пирамид! А? Скажешь нет?

Никита Иваныч засмеялся и похлопал Бенедикта по спине, будто откашляться помогал.

— Ведь и ты, юноша, причастен! Причастен! — даром что раззява, невежда, духовный неандерталец, депрессивный кроманьон! А и в тебе провижу искру человечности, провижу! Кое-какие надежды на тебя имею! Умишко у тебя какой-никакой теплится, — продолжал оскорблять Никита Иваныч, — душа не без порывов, н-да... «Суждены вам благие поры-ы-ы-вы, но свершить ни-чччче-го не дано!» — пропел Никита Иваныч омерзительным голосом, как козляк проблеял. — Ну а мы с тобой вот и свершим что-нибудь симпатичное, душепользительное... Есть в тебе, пожалуй, какой-то артистизм...

— Никита Иваныч! — обиделся Бенедикт. — Да что же вы все слова какие!.. Лучше бы сразу ногой пнули, ей-Богу, что же вы обзываетесь!..

— Да, так вот, — рассуждал старик, — портрета его у меня нету, но я тобой поруковожу. Росточка он был небольшого.

— А вы сказали: гигант. — Бенедикт утер нос рукавом.

— Гигант духа. Вознесся выше он главою непокорной...

— ...александрийского столпа. Знаю, переписывал. Дак мы ж не знаем, Никита Иваныч, сколько в том столпе аршин.

— Неважно, неважно! Вот из этого бревна, — другого, извини, нету, — вот из этого бревна мы его и извлечем. Мне, главное, голову склоненную и руку. Вот так, — изобразил Истопник. — На меня смотри. Голову режь курчавую, нос прямой, лицо задумчивое.

— Борода длинная?

— Без бороды.

— Совсем?!

— Сбоку вот эдак — бакенбарды.

— Как у Пахома?

— Ты что! Раз в пятьдесят поменьше. Значит, так: голова, шея, плечи, и руку, руку главное. Понял? — локоть согни.

Бенедикт постучал валенком по бревну. Звенит; древесина хорошая, легкая. Но плотная. И сухая. Хороший матерьял.

— Дубельт? — спросил Бенедикт.

— Кто?!?!

Старик заругался, заплевался брызгами, глазенки засверкали; чего взбеленился — не пояснил. Красный стал, надулся как свеклец:

— Пушкин это! Пушкин! Будущий!..

Вот кто после этого кроманьон? Кто не ВРАСТЕ-НИК-то? Почему и дела с ними никакого не сделаешь, с Препными: кричат не вовремя, ругаются не нашими словами, дергают тебя не знам с чего, вечно недовольны: ни шутки хорошей не понимают, ни пляски, ни игр наших, никакого выражения народного, душевного, все-то у них: «О-о! Ужас!» — когда никакого ужаса.

Ужас, это как? — это когда Красные Сани скачут, тьфу, тьфу, тьфу, нет, нет, нет; не меня, не меня; али когда про кысь подумаешь, вот это ужас. Потому что тогда ты — один. Совсем один, без никого. И на тебя — надвигается... Нет!!! — и думать не хочу... А какой же ужас, когда хорооводы водим да в поскакалочку, к примеру, играем?

А игра хорошая. Вот гостей созовешь, перво-наперво все в избе приберешь. Локтем со стола обьедки на пол сгребешь: эй, мышь, набегай! Мусор, что в доме набрался, под лежанку, конечно, валенком за-толкаешь, чем-нибудь там загородишь, чтоб не торчало. Тряпье на лежанке разгладить: простынь там, одеялко расправишь гладенько. Если простынь уж очень грязная, так и постираешь. А нет — и так сойдет. Ежели где заваялся подзор вышитый, али полог, — обтряхнешь, вдоль печи красивенько прила-

дишь, будто всегда так и было. Свечки зажжешь, всюду налепишь, не пожалеешь, чтоб светло и празднично. Закусок, жаркого наваришь-нажаришь, все на столе рядками порасставишь. Браги жбан на стол выставишь, еще другие жбаны в холодке, в чулане наготове держишь. Но и гости тоже принесут, с пустыми руками кто же в дом завалится? михрютка разве какой, художнице, писяк звезданутый. Беспременно надо в дом подношеньице... Вот соберутся — чистые, намытые-начесанные, одежда свежая, если у кого нашлась. Шутки, смех. Спервоначально за стол. Лепота на столе! Мыши печеные, мыши отварные, мыши под соусом. Хвостики мышинные маринованные, икра из глазок. Потрошки квашенные тоже с квасом хорошо идут. Лепешки постные из хлебеды. Грибыши по сезону. Кто побогаче — блины. Кто совсем в достатке живет — ватрушка. Вот сели, благословясь, браги налили, хватанули по первой — понеслось... Тут же сразу по второй. Вот в голову стукнуло, забирать стало. Хорошо! Если ржавь хорошая, забористая, так и не заметишь, что еды-то мало. Нались, отвалились, — по третьей-четвертой, — это уж и забыли когда было, на десятую переваливаем. Курим, смеемся. Сплетни сплетничаем, чего с кем было друг другу рассказываем, врем. Если бабы в гостях — с бабами заигрываем: щиплем там, руками хватаем, интересуемся. Песню с притопом хором грянем:

Эх, сыпья, горох,
На двенадцать дорог!
Когда буду помирать,
Тогда буду подбирать!

Ну а потом играть. Вот в поскакалочки игра хорошая, веселая. Значит, так. Правила такие. Свечки потушить, чтоб темно было, сесть-встать где попало, одному на печку забраться. Сидит он там, сидит, да ка-а-ак прыгнет с криком громким, зычным! Ежели на кого из гостей попадет, дак непременно повалит, ушибет, али сустав вывихнет, али еще как пристукнет. Ежели мимо — дак сам расшибется: голову, али колено, али локоть, а то и ребро переломит: печь, она ж высокая. Об тубарет в темноте удариться можно будь здоров! Об стол лбом. Вот ежели не разбился, опять на печь лезет, а ежели из игры выбыл — другому уже невтерпеж: пустите, теперь я прыгну! Вопли, крики, смех — право, уписаешься, такая игра чудесная. А потом свечки зажжем да и посмотрим, кто как повредился. Ну, тут, конечно, еще больше хохоту: вот ведь только что был у Зиновия глаз — ан и нетути! А вон у Гурьяна рука надломивши, плетью висит, какой теперь с него работник?

Конешно, ясное дело, ежели мне кто член какой повредит, урон тулову причинит, это не смешно, это я осерчаю, спору нет. Тут и рассуждать нечего. Но это если мне. А если другому — тогда смешно. А почему? — потому что я — это я, а он — это уж не я, это

он. А Прежние говорят: о! ужас! как можно! — а того не понимают, что если бы все по-ихнему было бы, то и смеха, веселья никакого на свете бы не было, а сидели бы все по домам постные и унылые, и ни тебе приключений, ни плясок впрысядку, ни визгу бабьего.

А еще мы в удушилочку играем, и тоже интересно: подушкой на личико навалишься и душишь, а тот-то, другой, брыкается, вырывается, а вырвется — весь такой красный, вспотевши и волоса врозь, как у гарпии. Редко кто помирает, народ же у нас сильный, сопротивляется, в мышцах крепость большая, а почему? — потому что работает много, в полях репу садит, каменные горшки долбит, снопы вяжет, деревья на бревна рубит.

А не надо оскорблять, говорить, что умишко у нас еле теплится: ум у нас прозорливый, соображаем небыстро, но хорошо. Вот соображаем: дерево дубельт — хорошее дерево для буратины, и на ведра хорошо, и бочки из него знатные. Клель — тоже отличное дерево, и на веники самое оно, и орешки вкусные, и много чего, но резать символ с него несподручно, потому что смола, натеки большие, липкие. Береза — смотреть на нее хорошо, а ствол тонкий и кривой, резать трудно. У Окаян-дерева ствол еще тоньше, все узлами, шишками, колтунами, одно слово: Окаян-дерево! Вербя — негоже, сусень — волокнистый очень, хватай-дерево — круглый год мокрое. Много еще всяких пород, али сказать, разнообраз-

ностей, еще когда их пересчитаешь, а мы все, почитай, знаем. Вот сейчас кору обдерем, долотом ямки наметим... к свадьбе и спроворим идола.

Бенедикт вздохнул, пошептал, плюнул, все как полагается, и — Господи, благослови! — топориком вдарил по дубельту.

ОН

Терем у Оленьки, у семьи ихней, с улицы не видать. Забор высокий, глухой, островерхий. Посередь — ворота. В воротах — кольцо каменное. От ворот сбоку — будка. В будке холоп.

Бенедикт, когда с Оленькой сговаривался, хотел вперед себя сватов выслать. Оно как-то легче, когда сваты за тебя все что надо скажут, по рукам ударят, сговорятся. Расхвалят тебя за глаза: мол, он у нас и такой уж, и сякой уж, и разедакий, не мужик, а розан в цвету, ясный сокол. Но Оленька замаялась: нет, не надо сватов... мы семья современная... не надо. Сами приходите. Сядем рядком, поговорим ладком... Покушаем...

Гстинцы взял: мышей связку, жбан квасу — чтоб не с пустыми руками в дом приходиться — и букет колокольчиков.

Вроде все путем. А боязно. Что будет?

Подошел к воротам, постоял. Из будки холоп вышел. Недовольный.

— К кому?

— Ольги Кудеяровны сослуживец буду.

— Назначено?

— Назначено.

— Обожди тут.

Холоп в будку возвратился, долго берестой шуршал.

— Как звать?

Бенедикт сказал. Опять холоп берестой пошуршал.

— Проходи.

Калитку малую в заборе отворил — Бенедикт прошел. А там другой забор, аршин на пять от прежнего отступя. И еще будка, а в ней тоже холоп, еще недовольней прежнего.

— К кому?

— Ольги Кудеяровны сослуживец.

— Что несешь?

— Гостинцы.

— Гостинцы сдать.

— Как это... Я ж в гости зван, как я без гостинцев?

— Гостинцы сдать и вот тут расписаться. — Холоп Бенедикта будто и не слышал. Бересту развернул и записал: «Мышь домашняя бытовая — дюжина. Квасу жбан деревянный малый — один. Цветки синие полевые — пучок».

Бенедикт вдруг — к месту, не к месту — рассердился:

— Цветки не отдам!!! Не имеете права!!! Я в гости самолично Ольгой Кудеяровой приглашенный!!!

Взял да, перед тем как расписаться, «цветки» и вычеркнул.

Холоп подумал-подумал:

— Пес с тобой. Проходи.

Как выразил-то нехорошо — «пес». Но пропустил. За второй забор пропустил — а там третий. У третьих ворот два холопа с лавки поднялись, не говоря худого слова, а и доброго не говоря, Бенедикта с ног до головы всего ладошами обхлопали: видать, дознавались, не запрятал ли чего в штанах да под рубахой. А только ничего лишнего, кроме хвостика, у него не было.

— Проходи.

Бенедикт думал, там опять забор, а нет, забора не было, а только открылся сад-палисад с деревьями, да цветами, да всякими пристройками, а тропки желтеньким песком усыпаны, а в глубине сада — терем. Вот раньше Бенедикт не боялся, а тут забоялся: никогда он такого благолепия и богатства не видел. Сердце в груди заколотилось, а хвостик из стороны в сторону: туда-сюда, туда-сюда — замахал. И в глазах притемнилось. Не помнил, как его и в дом-то ввели под белые руки.

Вот холопы-то его ввели да в палате одного и оставили. Сколько-то времени прошло — вроде зашуршало за дверями. Зашуршало, двери отворилися — и выходит Сам. Папенька Оленькин. Добра этого хозяин. Тесть будущий.

Заулыбался.

— А добро пожаловать. Ждем. Бенедикт Карпыч? А меня звать Кудеяр Кудеярович.

И смотрит. И Бенедикт смотрит. А сдвинуться не может — ноги будто к полу приросли.

Росту Кудеяр Кудеярыч большого, али сказать, длинного. И шея у него длинная, а головка маленькая. Поверху головка вроде лысоватая, а окрай плещи — волос венчиком, бледный такой волос, светленький. А бороды нет, один рот длинный, как палочка, и углы у него вроде как книзу загибаются. И он этот рот то приоткрое, то призакроет, будто ему дышать непривычно, дак он по-всякому пробует. А глаза у него круглые и желтые, как огнецы, и на дне глаз вроде как свет светится.

Рубаха на нем белая, просторная, враспояску. Порты широкие, книзу-то пошире. На ногах — лапти домашние.

— Что встали, Бенедикт Карпыч? К столу прощу.

И под локоток в другую горницу подталкивает. А в другой горнице стол накрыт. И-и-и-и-и! — чего только нет на столе на том! От одного края до другого — миски, миски, блюда всякие, котлы да тарелки! Пирожки без счету, блины-олады, пампушки витые, кренделя, вермишель разноцветная! А гороху! а из хвощей снопы сделаны да по углам расставлены! а грибыши! — цельные тазы, и с нависанием: сейчас через край поскачут. А птички цельные, махонькие, в тесто завернуты: с одного конца ножки торчат, с другого — головка! А посереде стола — туша мясная:

никак козляк! Цельного козляка на стол потратили, а ведь того козляка еще поди вырасти! А знать, правильно у него гостинцы отобрали: куда ему со своими мышами да супротив козляка!

А за столом Оленька сидит, нарядная, зарумянившись, и глазки потупила; вот как она Бенедикту в видениях представлялась, так и сидит: блуза на ней белая, шейка бусами обмотана, головка гладенько причесана, на лбу лента! А как Бенедикт в горницу взошел, так Оленька еще больше раскраснелась, а глаз не подняла, только сама себе улыбнулась.

Страшно!

А с другой стороны горницы еще одна дверь открылась, и входит теща. Али сказать, wpłyвает: баба толщины необъятной, половина уж в горнице, здороваается, а другая половина еще и в двери не вошла, ждать надо.

— А это, — тесть говорит, — супруга наша, Феврония. Роду стариннейшего, из французов.

— Така у нас семейная легенда, — говорит теща.

Бенедикт теще в ножки упал, рукой поклон отмахнул, другой рукой букет колокольчиков сунул.

— Кушанья стынут, — говорит теща. — Откушайте, не побрезгуйте.

Сели за стол, на лавки. Бенедикт напротив Оленьки, тесть с тещей по бокам.

— Накладывайте, — теща говорит.

Бенедикт опять заробел: как себя держать-то? Ежели он себе много наложит, подумают: о, какой

зять прожорливый! Такого небось не прокормишь! А если мало возьмешь, подумают: о, какой зять слабосильный! Небось и гвоздя не забьет. Пирожок, что ли, взять. Потянул руку к пирожку, и все на эту руку посмотрели. Отдернул.

— Мы любим много кушать, — теща говорит. Наложила себе. И Кудеяр Кудеярыч наложил. И Оленька. Бенедикт опять руку потянул — к оладьям, и все раз! — и посмотрели. Опять отдернул.

Жуют.

— Стало быть, — говорит тесть, — жениться хотите.

— Хочу.

Опять молчат да жуют. Бенедикт в третий раз думал чего-нибудь себе на тарелку наложить, только руку приподнял, а они опять — глядь!.. И у тестя в глазах будто огонь какой блеснул. Что такое...

— Жениться — дело серьезное... Я вот, когда на супруге своей Февронии женился, так ей и сказал: это дело серьезное.

— Да, мы на свадьбе много поели, — теща.

— Хорошо поели на свадьбе, — тесть.

Намекают они, что ли? У Бенедикта хвостик от волнения стал легонько об лавку постукивать.

— Почему плохо кушаете? — теща опять.

Ай, была не была. Руки вытянул, козляка ножку отхватил, на тарелку себе плюхнул, и еще вермишели сверху. И хвощей взял. И как он это сделал, так вдруг у них у всех в глазах-то опять будто свет какой мелькнул, как все равно луч.

— Стало быть, к семейству нашему присоединиться желаете. — Это тесть.

— Желаю.

— Трудностей семейных не боитесь? Хозяйство вести — не бородой трясти.

— Не боюсь. Я на всякое дело сподручный.

— На всякое?

— Ага.

Тут под столом чего-то прошуршало. Мышь, должно быть.

— Ну а ежели дело очень сурьезное?

— Готов. Пожалуйста.

— О как.

Тут за столом вроде бы опять чуток светлее стало. Бенедикт себя пересилил, глаза поднял, посмотрел — а у тестя в глазах, точно, чего-то светится. Как если б огнец через себя огонь пропускал. И в горнице — вечер уже смеркаться начал — от этих глаз лучи исходят. Вот как от лучины, если на нее через кулак смотреть: кульком кулак свернуть и смотреть. Как дорожка лунная. Смотрит тесть в свою тарелку, а все, что в ней наложено, и в сумерках видать. Смотрит на стол — и как огнем шарит, освещает. На Бенедикта посмотрел — еще больше свету подпустил, так что Бенедикт отморгнулся и головой дернул.

А Оленька тестю:

— Папенька, контролируйте себя.

Бенедикт покосился вбок — такие же лучи теща

пускает. И Оленька. Но послабже.

И опять под столом прошуршало. И хвостик у него забился пуце прежнего.

— Вы себе побольше накладывайте, — говорит теща. — У нас вся семья очень много кушает.

— Стариннейшего роду, из французов, — подтвердил тесть.

— Вермишельки еще возьмите.

— Благодарствуйте.

— Но а мыслей у вас каких неподходящих не водится? — Опять тесть.

— Каких мыслей?

— Всяких мыслей неподходящих — своеволия али злоумышления какого...

— Никаких таких мыслей у меня не водится, — испугался Бенедикт.

— Ну а насчет душегубства как?

— Какого душегубства?..

— Мало ли... А не думается ли: вот женюсь, да теща с тещей изведу, да сам себе все их добро и заберу?..

— Вы что?..

— Нет?.. А не думается ли: вот бы их загубить, а самому на их место засесть да день-деньской яства кушать?..

— Да что же вы это такое говорите?.. Да с чего?.. Кудеяр Кудеярыч?! Да я...

— Папенька, — Оленька опять голосок подала, — контролируйте себя.

А под столом опять что-то заскреблось — ну просто вот совсем рядом. Бенедикт не выдержал, локтем кусок хлеба нарочно со стола спихнул, и нагнулся, будто поднять. А под столом — ноги тестя в лаптях. А сквозь те лапти — когти, длинные такие, серые, острые. И теми когтями он пол под лавкой скребет и уже наскреб целую горку — лежит как все равно волосы али солома какая кудрявая, светлая. Посмотрел — и у тещи когти. И у Оленьки. У Оленьки поменьше будут. Кучка под ней поменьше наскребана.

Бенедикт ничего не сказал — чего тут скажешь? Взял и оторвал себе еще козляка кусок. И хвощей цопнул — много. Очень много.

— Но а скажите, — тесть продолжал, — а не приходят ли такие мысли: дескать, не так живем, неправильно жизнь наша устроена?..

— Нет, не приходят.

— А не приходят ли мысли: найти виноватого да и удавить его али в бочку головой?

— Не приходят.

— А то хребтину переломить али с башни оземь сбросить?..

— Нет, нет!

— А что это так стучит-то? — Теща голос подала. — Вроде стук какой?..

Бенедикт быстро под себя руку сунул и хвостик зажал.

— А не приходят ли мысли: дескать, мурзы во всем виною, а скovyрнуть их?..

— Нет!!!

— А Самого-то Набольшего Мурзу никогда ско-
вырнуть не замышлялось?..

— Нет!!! Нет!!! Не понимаю вашего разговору!!!

— Как же не понимать?.. Самого-то Набольшего
Мурзу, говорю, Федора Кузьмича, слава ему, ско-
вырнуть мечтаний не было?..

— Кудеяр Кудеярыч!!!..

— Контролируйте себя, папенька...

— Ну хорошо... А вот чего покажу...

Тесть из-за стола встал, в другую горенку сходил
и — книгу выносит. Старопечатную. Бенедикт обе
руки под себя заложил и крепко там держал.

— Чего покажу... Это видел?

— Никогда!!!

— А что это, знаешь?

— Нет!

— А если подумать?

— Ничего не знаю, ничего не видел. Не слышал. Не
понимаю, не хочу, не мечтал.

Тесть книгу на коленях разложил, свет на нее пу-
стил и страницы переворачивает.

— Хочешь такую?.. Подарить тебе?.. Хорошая!..

— Ничего не хочу!!!

— А жениться?..

Жениться!.. Бенедикт чуть не забыл, — от страха,
тоски, непробудного позора, зажатого в кулачках
под туловом, — что ему жениться надо. Жениться! —
как ему и в голову-то это дело прийти могло! Вознес-

ся, дубина, пес приبلудный! Мало ему было Марфушки, Капитолинки, Верки Кривой, Плашки-Кудлашки да и других многих! Ишь на какую девушку размахнулся: глазки долу, личико белое, коса в пять аршин, подбородок с ямочкой, на ногах когти! Бежать! Право, бежать — котомку за плечо да и бежать, на восход ли, на юг ли, без оглядки, до самого до Море-окияна, до синего простора, до белых песков!

А Оленька глаза подняла, да свет-то глазами пустила, красноватый такой, слабенький, словно ложный огнец на темном стволе повернулся, да бровки-то возвела под самую ленту, да усмехнулась красным ротиком, да блузу белую свою на грудях оправила, да плечиком повела:

— Экий вы, папенька, шалун неумемный. Все уж промеж нами сговорено. Обнимайте зятя.

— Так... Сговорено. За папенькиной спиной сговорились... Папенька день-деньской трудится, рук не покладает... Все хочет как лучше... Всех насквозь вижу! — крикнул вдруг тесть.

— Право, папенька... Не вы один такой...

— Не нашей он породы! — крикнул тесть.

— Папенька, вы не на службе!

— А что за служба такая? — прошептал Бенедикт.

— Как что за служба? — удивилась теща. — Ужли не знаете? Кудеяр Кудеярыч у нас — Главный Санитар.

ПОКОЙ

На работу Бенедикт ходить бросил. А зачем? Все равно пропадать. На его счастье, тут и лето настало, писцам отпуск вышел. А не то забрали бы его на дорожные работы, как Праздношатающегося. Пора уж было репу сажать, да тоска навалилась такая, что никакого прежнего к репе настроения у него не было. Сходил в дальнюю слободу, купил у голубчиков гонобобелю. Нюхал. Не сильно полегчало. На лежанке лежал. Плакал.

К Никите Иванычу ходил, пушкина из бревна помаленечку резал. Головка у идола уже круглилась, большая, как котел. Унылая. Нос на грудь свесился. Локоть торчал, как просили.

— Никита Иваныч. Как вы сказали, хвост-то этот называть?

— Атавизм.

— А какой еще атавизм бывает?

— М-м-м... Женщины волосатые.

— А когти?

— Не слыхал. Нет, наверно.

К Марфушке думал сходить. Передумал. Шутить скучно было, а в воплях ее да оладьях не было уж того интересу.

Сходил к дому, где Варвара Лукинишна жила. Посмотрел через забор. Белье на веревках висит. Во дворе желтунчики выросли. Не зашел.

Ржави выпил бочки три, хотел забыться. Так и

ржавь в голову не взошла, зря живот надул. Уши — да, уши как бы слегка оглохли, это да. Взор тоже помутился. Но в голове ясность невозможная, али сказать, простор, и в просторе — пусто. Степь.

Хотел котомку собрать — и на юг. Палицу вырезать большую — от чеченцев отбиваться — и к морю. А какое то море — кто знает. Кто как хочет, так его себе и представляет. Пешего ходу, говорят, три года. А Бенедикту так представлялось: выходит он на высокую гору, а с нее окрест далеко видать. Смотрит вниз, — а там море: вода большая, теплая, синяя и вся плещет, вся-то она играет да плещет! А волна по ней бежит мелкая да кудрявая, с белым завитком. А по морю тому все острова, острова — как шапки островерхие. Да все зеленые, да той зеленью аж кипят. А по зелени — сады цветные, невиданные. А в тех садах растет дерево Сирень, про которое матушка сказывала. А цветки у той Сирени как кипень синяя, колокольцами, до земли свисают, на ветру полощутся. А на самом на верху, на макушке у тех островов — города. Стены белые, каменные, опояской. А в стенах ворота, а за воротами дорога мощеная. А по дороге на гору пройтить — и будет терем, а в тереме — лежанка золотая. На той лежанке — девушка, косу расплетает, один волос золотой, другой серебряный, один золотой, другой серебряный... А на ногах у ней когти... Вот она когтем-то зацепит... когтем-то...

...А то хотел на восход. Идешь, идешь... травы все выше да светлее. Солнце всходит да сквозь них све-

том своим просвечивает... Идешь себе, ручейки малые перескакиваешь, речки вброд переходишь. А лес все путаней, как тканое полотно, а жуки так и выются, так и жужжат. А в лесу поляна, а на поляне цветок тульпан — красным ковром всю поляну укрыл, так что и земли не видать. А на ветвях-то хвост белый, резной, как сеть кружевная, то сойдется, то опять распухнет. А поверх него того хвоста хозяйка — Княжья Птица Паулин, глазами смотрит, сама на себя любит. А рот красный, как тульпан. А говорит она ему: «Здравствуй, Бенедикт, сокол ясный, проведать меня пришел?.. А нет от меня вреда никакого, а ты это знаешь... Иди сюда, Бенедикт, целовать меня будем...»

...Не пошел ни на юг ни на восход. Вроде и ясность в голове, а вроде и тупость какая. Собрал котомку, а потом опять разобрал, смотрит: чего я туда наложил-то? Ножик каменный, которым пушкина резал. Другой ножик. Долото. Гвоздей зачем-то взял деревянных. Зачем ему на юге гвозди? Вынул. Штаны запасные, еще крепкие, почти без заплат... Миску, ложку уложил. Вынул. Что из них есть-то? Как еду варить? Без огня?

Никуда без огня не уйдешь.

Вот бы Никиту Иваныча с собой взять... Шли бы вдвоем, беседы беседовали. Ночью — костерок. Рыбки наловить, если не ядовитая — супчик сварить...

А только далеко не уйдешь. Хватятся его. Как у кого печь погаснет, сразу хватятся. Забегают: Ники-

та Иваныч!.. Подать сюды Никиту Иваныча!.. Да и Бенедикта хватятся. Догонят, по шеям накладут, белы руки за спину заломят: пожалуйста женитесь! Женитесь, женитесь!..

А то, может, и правда: жениться? Ну что когти? — когти постричь можно. Можно постричь... Не в том дело... Человек — он не без изъяну. У того хвост, у того рога, у того гребень петушиный, чешуя, жабры... Морда овечья, да душа человечесь. А только не так он хотел... Думал по саду-огороду гулять, цветки колокольчики вместе нюхать. Завести разговор какой сурьезный, про жизнь али про природу, чего в ней видать... Стихи припомнить какие...

Но крепче за спиной рука,
Тревожней посвист ямщика,
И сумасшедшая луна
В глазах твоих отражена.

А она чтоб дивилась да слушала. Глаз не сводила. А вечером мышку поймать, в кулачок спрятать и игриво так: ну-к, мол, что это у меня тут?.. Отгадай?.. А она эдак покраснеет:

— Контролируй себя, сокол ясный...

А то на работу вернуться. Книжицы переписывать. Вытянешь шею — и переписываешь... Интересно... Чего там еще люди в книжках-то делают?.. Поехали куда... Али убивают друг дружку... Али любовь какую чувствуют... И-и-и-и-и-и, сколько их, лю-

дей этих, в книжках-то!.. Переписываешь да переписываешь. Потом на палец плюнул, свечу загасил — и домой... Придет осень, листья с деревьев осыплются... Снегом покроется земля... Заметет избу по самые окна... Зажжет Бенедикт мышиную сальную свечку, сядет за стол, подопрет голову рукой, пригорюнится, глядя в тощий огонек: темные бревна над головой, вой снежных пустошей за стенами, вой кыси на темных ветвях в северной чаше: кы-ысы! кы-ысы! Так завоет, будто ей недодали чего, будто нет ей жизни, если не выпьет живую душу, нет покоя, голодом свело кишки, и мотает она незримой головой, и вытягивает незримые когти, шарит ими по темному воздуху, и причмокивает холодными губами, ищет теплую человечью шею — присосаться, упиться, наглотаться живого... Мотает она головой, и принюхивается, и почуяла, и соскочила с ветвей, и пошла, и плачет, и жалуется: кы-ы-ысы! кы-ы-ысы! И снежные смерчи поднимутся с темных полей, где ни огонька над головой, ни путника на бездорожье, ни севера, ни юга, только белая тьма да метельная слепота, и понесутся снежные смерчи, и подхватят кысь, и полетит над городком смертная жалоба, и заметет тяжелым сугробом мое слабое, незрячее, захотевшее пожить сердце!..

...Оленькина семья к свадьбе готовится. На осень назначено. Жить, говорят, к нам переедешь. Отъешься, сил наберешь, а там и к делу тебя пристроим

хорошему. Какие у них могут быть дела, у санитаров... и думать не хочется...

...Пушкина, что ли, опять пойти подолбить. У Никиты Иваныча, у старика, сейчас две мечты дурацких: Бенедикту хвостик обрубить да пушкина на перекрестке воздвигнуть, на Белой Горке. Дался ему этот пушкин. Дрожит над ним, и Бенедикту дрожать велит, вроде как благоговеть. Много, говорит, он стихов понаписамши, думал, не зарастет народная тропа, дак только если не пропалывать, так и зарастет. Вон, говорит, что Федор Кузьмич-то, слава ему, вытворяет: сел на книжки сиднем да с них и переписывает. Народную тропу мусорит. Всю славу себе хочет, а это мараль. Это нехорошо. Понимаешь ты, Бенедикт, что это нехорошо? А мы с тобой, юноша, идола воздвигнем на перекрестке, и это будет наш вызов и протест. Работай себе вдохновенно и истово, а если я иногда покричу, то на мои филиппики внимания не обращай. А как из бревна ручка-то с пальчиками показалась, так Никита Иваныч руками всплеснул: талант у тебя, Бенедикт, право, талант! Вот тут еще маленечко подрежь. Пушай он у нас стоит головку склонимши, слушает, как мышь шуршит, как ветерок повеваает, как жизнь идет себе куда-то, все идет да идет, да все идет да идет, день за днем!.. День за днем!..

...Лето в пышный цвет облоклось, дни длиннее стали. Пушкин уж на кафтан пошел. Днем Бенедикт

пушкина тюкал, к вечеру щепки — на растопочку, супчику разогрели, похлебали и на крыльцо — курить. Куришь, вздыхаешь, вдаль смотришь, голова ничем не занята: опять в ней видения завелись.

Вот опять, об вечернюю пору, как заре желтеть да гаснуть, как туману собираться в низинах, первой звезде выходить на небо, древянице из дубравы мякать, — об эту пору опять стала Бенедикту Оленька представляться. Вот сидит он на крыльце, курит, смотрит, как небо гаснет; вот уж воздух синий становится, холодный; тишина подступает, как если б одеяло кто на уши наложил. В траве прошуршало — и опять тишина. Понизу все синим-синё, а вверху ровно, желто светится, догорает; а по желтому то розовым мазнет, то, глядь, серое облако веретеном протянется, повисит-повисит, малинову кромку поверху себя пустит, да и померкнет, и нетути его. Будто кто пальцами водит, зарю размазывает.

А из сумерек опять Оленька выступает, словно в воздухе нарисованная. Сама чуть светится как огонь, а сквозь нее все видать, слабенько так, темненько. А головка у ей гладенько причесана, а пробор светится. А личико у Оленьки белое-белое, не шелочнется; а шея в дюжину рядов бусами спеленута, до самой ямочки на подбородке; и на лбу, и на ушах все бусы, бусы, висюльки тож. А глазищи у Оленьки в пол-лица, поверху ажно под брови подходят, по сторонам до самых до висков, сами темные, а сами блестят, как вода в бочке в полночь. А глядит она этими

глазищами в самую твою середку, так глядит, будто чего сказать хочет, а нипочем не скажет. И смотрит, и глаз с тебя не сводит, и словно усмехается, али вопроса ждет, али словно щас запоет, рта не раскрывши. А рот у ей, у Оленьки, красный, а сама белая, а от виденья от этого таковая жуть, будто не Оленька это, а сама Княжья Птица Паулин, да только не добрая, а словно она убила кого и рада.

И такой морок на Бенедикта найдет, словно он гонобобелю нанюхамшись. Ноги, седалище словно морозом обметало, а в пальцах будто звон какой и мурашки. И в грудях, али сказать в желудке, тоже звон, глухой такой, словно кто туда каменное ведро вторнул, пустое. А морок этот, на Оленьку похожий, ресницами поведет и опять смотрит, а глазищи у него еще больше стали, а брови союзные, черные, а меж бровей камушек, как слезка лунная.

Чего она от него хочет, проклятая?..

Этот пушкин-кукушкин тоже небось жениться не хотел, упирался, плакал, а потом женился — и ничего. Верно? Вознесся выше он главою непокорной александрийского столпа. В санях ездил. От мышей тревожился. По бабам бегал, груши околачивал. Прославился: теперь мы с него буратину режем.

И мы ничем не хуже. Так? Ай нет?

— Иммануил Кант, — наставлял Главный Истопник, — и тебе, склонному к философствованию, полезно это имя запомнить, — Иммануил Кант изумлялся двум вещам: моральному закону в груди и зве-

здному небу над головой. Как сие надо понимать? — а так, что человек есть перекресток двух бездн, равно бездонных и равно непостижимых: мир внешний и мир внутренний. И подобно тому как светила, кометы, туманности и прочие небесные тела движутся по законам нам мало известным, но строго предопределенным, — ты меня слушаешь? — так и нравственные законы, при всем нашем несовершенстве, предопределены, прочерчены алмазным резцом на скрижалях совести! огненными буквами — в книге бытия! И пусть эта книга скрыта от наших близоруких глаз, пусть таится она в долине туманов, за семью воротами, пусть перепутаны ее страницы, дик и невнятен алфавит, но все же есть она, юноша! светит и ночью! Жизнь наша, юноша, есть поиск этой книги, бессонный путь в глухом лесу, блуждание на ощупь, нечаянное обретение! И наш поэт, скромный алтарь коему мы с тобой воздвигаем, знал это, юноша! все он знал! Пушкин — наше все: и звездное небо, и закон в груди!

— Ладно, — сказал Бенедикт. Бросил окурок, затер лаптем. — Хрен с вами, Никита Иваныч. Рубите хвост. И лег поперек лавки.

РЦЫ

Зверинец у тестя большой, почитай целая улица, а по сторонам все клетки да загоны. Спервоначалу

хлев просторный, в том хлеву стойла, а в стойлах перерожденцы. Волосатые, черные — страсть. Вся шерсть по бокам в колтуны свалямши. Морды хамские. Кто о прутья бок чешет, кто пойло из жбана лакает, кто сено жует, кто спать завалился, а трое в углу в берестяные карты дуются, переругиваются.

— Ты что, опупел, с бубей ходить?

— А ты помалкивай!

— Ах так, значит. А вот тебе подкидон!

Тесть недоволен, когтями поскреб.

— Опять играем? А стойла не чищены!

Перерожденцы — хоть бы хны.

— Не бе, хозяин! Все будет чики-чики. Ходи, Валера.

— А вот мы вам козырного!..

Тесть заругался, повел Бенедикта дальше.

— Скоты... Бездельники... Я тебе, зятек, Терентия дам, он потише будет. Ляди только не перекармливай. Хотел Потапа тебе, да он норовистый. Узду грызет, хамит... Так... Тут козляки. Энтих вон на мясо держу. Энтих на шерсть. С них джерси знатное, теплое. Бабы любят.

— Чего это: джерси?

— Такое вязаное. Тута у нас куры. Тута я вольер построил, зайцев держу.

— Эвона как!..

Бенедикт голову задрал — точно: клетка из прутьев плетеная, высокая-превысокая; в клетке цельное дерево растет, а на самой на верхушке — гнездо,

а в гнезде, точно, зайцы. Вот один хвост высунул, помахивает. Будто дразнится. А Бенедикту теперь и помахать нечем. И кобчик саднит... И дальше, рядами, все клетки, клетки... А тесть идет себе, направо-налево рукой тыкает:

— Тута тоже курьезы у мене. Живность всякая. Без обеда не сидим. У мене птицеловы целый день в лесу сидят, полны силки приносят. Воробьятки, соловьятки в пироги хорошо. Супруга моя, Феврония, до них охотница. Не всяку птицу, конечно, есть можно. Спервоначалу на холопах проверяем. Анадьсь споймали птичку таку махоньку, красненьку, глазки бусинками; и пахнет вкусно, и голосишко такой приятный. Хотели в маринад, а опосля призадумались: дай-к холопу скормим. Он ее кусь, да и об пол хрясь, да и дух вон. Смеялися!.. А если б мы?! то-то!.. С природой глаз да глаз нужен!

Вот еще клеть, а в ней тоже дерево, с дуплом, мшистое такое.

— А тут чего? Никого не видать.

— А... Тут древяницу держу.

— Древяницу споймали?!?!

— Ага. Она в дупле хоронится.

— Во как...

Тесть кнут поднял, которым он перерожденцев-то охаживал, между прутьев просунул и по стволу постучал.

— Древяница! Вылазь!.. Вылазь, кому сказал!.. Молчит. Не хочет.

— Вылазь, говорю, сукина дочь!!! — Тесть кнутовищем в дупло тыкнул.

И точно — быстро выглянула, мелькнула как тень и назад головку спрятала.

— Видал? — обрадовался тесть.

— Чудеса... — обомлел Бенедикт.

— То-то. Эту в суп хотим. Так... Чего ж тут еще?..

А в клетях и плетенках все свиристит, кулдычет, перепархивает — что твой лес. И там вон на веточке соловьяток дюжина, как мышки. И там, глядь, синее перо мелькнуло. И в дальней клетке тоже дерево голое, объеденное, без коры, и с того дерева сук торчит, голый тож, и на суку чего-то висит, белое, мятое, дырчатое, как ветхая простынь.

— У меня всего запасёно... То-то, зятек! Летом ли, зимой — полная чаша. Пойдем амбары покажу.

Показал амбары, где хлебеда хранится, садки рыбные показал, огороды. Хозяйство крепкое — не то слово. Бенедикт и не думал, что такое богатство на свете водится. Теперь, стало быть, и он добру этому вроде как хозяин?! Хорошо!

Право, хорошо оно обернулося, грех жаловаться. Еще боялся чего-то... Чего боялся? Ничего такого уж страшного. Семейство дружное, за стол вместе садятся. Стол каждый раз от стены до стены яствами уставлен, а все до крошки съедают, Бенедикту за ними не угнаться.

Теща, конечно, больше всех себе накладывает, али, как Кудеяр Кудеярыч высказал, лидирует. За

ней теще, опосля — Оленька, ну а уж Бенедикт в хвосте плетется, сколько ж они над ним смеялись! Но по-доброму.

А берем не что ни попадя, а все по порядку. Спервоначалу на пирожки налегаем. Штук сорок в рот себе побросаем, один за другим, один за другим, — как горох. После — черед оладьям. Энтих тоже без счета. После папоротом закусим. Разогревшись, к супу перейдем. Тарелок пять откушавши, скажем: — Ну-ка, вроде аппетит проклюнулся! — тогда уж черед мясу. После мяса — блины: сметанкой полить, грибышей поверх шмякнуть, трубочкой свернуть и — Господи, благослови! Жбан блинов-то и усидим. Потом, конечно, жамки сладкие с толчеными огнецами, ватрушки, пышки, а после — сыр и фрукты.

Бенедикт нипочем не хотел сыр и фрукты. Сопротивлялся.

— Это после сладкого?! Сыр?! Вы что?

Смеялись над ним:

— Объясняли же тебе: супруга моя, Феврония, из французов! Ведь объясняли?

Ведь какие вредные французы эти: поешь сыру — тут тебя и выворотит, и прощай обед. Хоть сначала начинай. А крыжовник этот, фрукт кислый, страшный, волосатый, и того хуже. Грызешь, плачешь: козляком себя чувствуешь.

Это обед. Но, окромя обеда, тоже перекусываем: завтрак, второй завтрак, полдник, ужин, — обязательно. И на ночь с собой миску с едой дадут: а ну

как ночью встанешь, по нужде али как, а от голода кишки сведет? Боже упаси.

Поел — отдыхать. На лежанке лежать. Дремать. У печки.

А то в сани сядем: осень, подморозило, так оно и хорошо. Вот с утра, глаза продрамши, с окна пузырь отведешь, глянешь: что природа-то? К зиме никак? Воздух такой свежий, холодный, небо в белой мути. Первые снежинки, белые, большие, зубчатые, на-земь падают. Сначала медленно, помаленьку, али сказать, штучно: пересчитать можно. Потом больше, больше — вот уже сгустилось в воздухе: сначала забора не видать, потом построек ближних, а там разойдется — и вообще ничего не увидишь, только сеть белая перед глазами пляшет. А в горнице чисто, тепло; печь потрескивает да гудит, лежанка широкая да мягкая, на лежанке Оленька развалилась, разленилась, из-под одеяла вылезать не хочет.

— Поди сюды, Бенедикт, любиться будем...

Окно опять завесишь да и прыг к Оленьке под одеяло. Налюбившись, выползешь к столу, позавтракаешь — и в сани. Сани тоже широкие, мягкие: шкурами устланы да подушками с курьим пером. А холопы еще шкуры несут: вроде как одеяла сверху. Обтыкают тебя шкурами со всех сторон — лежишь как в кровати. Теща бежит к тебе, миску с пирожками тащит:

— Ну-к, проголодаешься в дороге, не дай Бог.

Перерожденец валенками потопывает, ворчит:

— Погода... В такую погоду хороший хозяин собаку из дома не выгонит...

На что намекает, сволочь?

— Давай, Терентий, не рассуждай. Езжай. Кататься желаю.

— Давно ли пешком ходил, шеф?

— Как ты смеешь! А ну, живо!

Вот порода подлая: все бы спорить, возражать, насвистывать. Ленивая тварь попалась, расслабленная: нет чтоб мчаться вихрем, как Бенедикт любил, — нет, плетется нога за ногу, свистит, зубоскалит; а если девушка какая просеменит — еще и комментарии себе позволяет:

— О, какой бабец объемистый!

Или:

— А ничего кадр!

Или Бенедикту:

— Может, подбросим этих?.. Эй, мочалки! Валитесь сюда!

Только народ пугает, скотина. И неуважение навлекает. А то вообще сядет посреди дороги и сидит.

— В чем дело, Тетеря?

— Кому Тетеря, а кому Терентий Петрович.

— Я тебе покажу «Петрович»! Давай двигай!.. Стой!.. Куда тебя несет?!..

— А мне в парк!..

И заржет, гадина.

Но в общем и целом жизнь счастливая. Все хорошо. Ну, почти все. Ночью Бенедикт просыпался с не-

привычки, сначала не мог понять: где это я? — горница большая, окна от луны светлые, и полосы от того света на полу лежат половичками. Рядом сопит кто-то. А, это я женатый... Встанешь, пройдешься босиком, бесшумно... Пол в горнице теплый — а это оттого, что спим на втором ярусе, а под полом — трубы печные пропущены, дак они и греют. Каких только наук не понавыдумают!.. Половицы гладкие, только там-сям кучки, где Оленька наскребла. Вот постоишь, тишину послушаешь. Тихо... Ну, Оленька сопит, ну, где-то в доме храп далекий, а то вдруг вскрикнет кто во сне, но все равно — тихо. А это потому, что мыши не шуршат. Нет мышей.

Сначала дико как-то было. Мышь шуршит — жизнь идет, а и в стихах так указано: жизни мышья беготня, что тревожишь ты меня?.. А тут — ничего. Бенедикт хотел спросить, да как-то неловко было. Длупости всякие спрашивать. Нету — дак, наверное, всех выловили.

Да... хорошо: тепло, сытно, жена в теле. Да и к своякам привык: ничего страшного. Не без недостатков, но это уж как все люди. Все люди — разные, верно ведь? Теща, к примеру, — с ней, как бы сказать, скучно. Поговорить не о чем. Все только «кушайте» да «кушайте». Понял, кушаю. Рот открыл, наложил еды, закрыл, жую. Теперь про жизнь али искусство поговорить охота. Прожевал, проглотил, только собрался спросить чего, а она: «почему плохо кушаете?» Опять рот открыл, еды наложил — с пол-

ным ртом разговаривать несподручно, — проглотил, приноровился заговорить, а она:

— Что же вы совсем ничего не едите? Может, вам невкусно? Тогда так и скажите.

— Нет, все замечательно, я просто хотел...

— А замечательно, так и кушайте.

— Да я...

— Нашей едой брезгуете, что ли?

— Нет, я не...

— Может, вы к каким деликатесам привыкли, а от нашего нос воротите?

— Я...

— У нас, конечно, без разносолов, чем богаты, тем и рады, а если вы нашего не признаете...

— Но...

— Оленька! Что же он у тебя капризный какой... Уж если мою стряпню в рот не берет, я уж прям не знаю, чем его кормить!..

— Бенья, не расстраивай маменьку, кушай...

— Да кушаю я, кушаю!!!

— Плохо, значит, кушаешь. — Вот такие пререкания как пойдут, так все искусство, стихи там али что, из головы и выскочит.

Тесть — он немножко другой. Он поговорить даже очень любит. Он, можно сказать, все время говорить хочет, другой раз думаешь: может, помолчал бы маленечко. Он поучать любит али вопросы задавать, вроде как проверяет. Откроет рот, подышит-подышит и спрашивает. А у него запах изо рта нехо-

роший, вроде бы как пованивает. И шею-то все словно бы вытягивает — Бенедикт думал, ему ворот жмет, а нет: ворот у него расстегнут. Просто привычка такая. Вот наестся Бенедикт, сядет к окну посидеть — тут и тесть рядом садится, разговоры разговаривает.

— Ну что, зять, мыслей каких не завелось?

— Каких мыслей?

— Мыслей всяких нехороших?

— Не завелось.

— А если подумать?

— И думать не могу. Объялся.

— Может, на злодейство тянет?

— Не тянет.

— А если подумать?

— Все равно не тянет.

— Может, смертоубийство какое задумал?

— Нет.

— А если подумать?

— Нет.

— А если по-честному?

— Да что вы, ей-Богу! Ну сказал же: нет!

— А начальство скovyрнуть не мечтается?

— Слушайте, я спать пойду! Я не могу так!

— А если во сне мечты какие душегубные придут?..

Бенедикт встанет, к себе в горницу уйдет, дверью хлопнет и на лежанку бросится. А дверь тихо-тихо так отворяется: тесть голову просовывает.

Шепотом:

— А против мурзы злоумышление не пришло?

Бенедикт молчит.

— Против мурзы, говорю?..

Бенедикт ни гугу.

— А? Не пришло, спрашиваю?.. Зять?.. А, зять?..

Против мурзы, спрашиваю, не пришло ли...

— Нет!!! Нет!!! Закройте двери! Я сплю!!! Не мешайте человеку, что такое, я спать хочу!!!

— Так как, пришло или нет?..

Вот так времечко и течет. Покушать, поспать, с родней полаяться. В санях покататься. В окошко посмотреть. Все ладно, хорошо, — лучше не бывает. Но чего-то как бы недостает. Будто что-то еще надо. Только забыл что.

Первое время после свадьбы ничего не надо было. Недели так с две, ну три. Ну четыре. Пять, может. Пока привыкал, да осматривался, да то, да се. А потом — вот словно что-то было, ан — и нету.

СЛОВО

Сперва Бенедикт думал, что ему мышиноного шороха не хватает. Ведь мышшь — это все. И поесть, и одежу из шкурок скроить, и в обмен на торжище чего хочешь за нее дадут. Вот как он тогда двести штук наловил, на новый год-то? Душа пела, люди подпевали! Вспоминалось, как шел чуть ли не вприпляс-

ку, осевшие сугробчики потаптывал, в лужи пяткой бил, чтоб дрызгало радугой! Честная плата за честные труды! А сколько он всего на тех мышей наменял-то! Ведь они после с Никитой-то Иванычем неделю это добро ели, доесть не могли. Старик ватрушек напек... Как-то они на тех ватрушках сдружились, что ли. Если вообще с Прежним стариком дружить можно. Правда, кулинар из него аховый, ежели с тещей сравнить. Ватрушки, по правде если, были кривоватые: с одного боку сырые, с другого подгорелые, поверху — не творог, а незнам што. Тещины-то ватрушки сами во рту тают.

Потом думал: может, по избе своей соскучился. Бывало, и сон снился: идет он будто по тестеву дому, с галереи на галерею, с яруса на ярус, а дом вроде и тот, да не тот: словно он длиннее стал, да эдак вбок, все вбок искривляется. Вот идет он, идет да дивится: что это дом все не кончается? А нужно ему будто одну дверь найти, вот он все двери и дергает, открывает. А что ему надо за той дверью — неведомо. Вот он одну дверь-то открыл — а там изба его, да тоже не такая, а словно бы побольше стала: потолок высоко вверх уходит, в темноту, и не увидеть. А только сено сухое с потолка помаленьку сыплется, шуршит и сыплется. Вот он будто стоит и на то сено смотрит, а в сердце страх, и будто кто лапой сердце то сожмет, то отпустит. И вот он сейчас что-то узнает. Вот сейчас узнает. А тут будто Оленька идет и бревно тащит

А сама неприветливая, тоже сухая какая-то. Куда ты, Оленька, бревно тащишь, почему неприветлива? А она усмехается так неприятно и говорит: какая же я Оленька, я не Оленька... Смотрит: и правда, не Оленька это, а другой кто-то...

...Вот проснешься от такого сна — во рту сухость, а сердце: тылдых! тылдых! И не понять, на каком ты свете. И ощупаешь сам себя: а я ли это? А луна сквозь пузырь светит, ярко так и страшно. И дорожка лунная на полу протянулась... А есть люди, которые во сне ходят, когда луна в полную силу взойдет: а звать лунатики. А их, говорят, луна манит. Вот в такую ночь они с постели встанут, руки вытянут, пальцами шевелят и идут. А зачем они руки вытягивают, мы не знаем. Похоже, как если б подаяния просили али помощи какой, а только если возьмешь такого за руку — отпрыгнет. И на личике изумление. И прислушивается: головку набок склонит и прислушивается. А глаза открыты, а нас они не видят. Такие голубчики с постели встанут, во двор выйдут, ходят-бродят, а потом давай на крышу карабкаться, ловко так, как по лестнице. Взойдут на крышу, под самый конек, и разгуливают. Там, видать, к луне поближе. Вот они на луну-то смотрят, а она на них: на луне вроде как лицо видать, а то лицо плачет: смотрит на нас, на жизнь нашу, и плачет.

Да, думал, что по избе соскучился. Даже съездил посмотреть: запряг Тетерю и прокатился до родимой слободы. Но — нет: не то. Посмотрел на избушку, на

крышу соломенную: совсем прохудилась. Дверь настежь, во дворе лопух, с весны не полот, да дергунтрава, да кусай-трава, да еще какой-то сорняк неведомый: остья черные, долгие, лист жухлый. Первые снежинки кружатся, падают, равнодушные. Постоял шапку сняв, как все равно у могилы. Внутри небось все разворовано. Вроде жалко, а вроде и нет: от сердца оторвалось, отвяло. Да и зря сани брал: после той поездки Тетеря распустился, совсем уважать перестал. Пока Бенедикт у плетня стоял, скотина перекурил да сплюнул наземь, а потом и говорит:

— Хэ! У меня распашонка в Свиблове лучше была.

— Тетеря, как ты разговариваешь с баринном?! Твое место в узде!

— А твое — знаешь где... У меня сервант был зеркальный... Телевизор Рубин, — трубка итальянская... Стенка югославская шурина достал, санузел отдельный, фотообои золотая осень.

— Поразговаривай у меня! А ну, запрягайся!

— Линолеум только на кухне, а так все паркетная плитка. Плита трехконфорочная.

— Тетеря! Я кому сказал!

— Холодильник двухкамерный, пиво баночное... Водка на лимонных корочках, холодная...

И стоит, тварь, на задних лапах, как ровня, и о плетень оперся, и разговаривает, и в глазах мечта, и за хозяина не считает! В воспоминания ударился!

— Помидорки кубанские, огурчики эстонские с пупырышками... Паюсную ели, зернистую западло

держали... Ржаной за двенадцать... Иваси с лучком... Чай со слоном... Зефир бело-розовый... Пьяная вишня куйбышевская... Дынька самаркандская...

Вот как завел, как пошел свое нести, кто ж выдержит! Правильно Никита Иваныч говорит: уважение должно быть к человеку, справедливость! А эта скотина человека не уважает, ни в грош не ставит! Бенедикт осерчал да и обломал ему бока-то кнутом, надавал заушин да ногой пнул. А тесть говорит: Терентий смиренный, это Потап норовистый! Каков же тогда Потап?! Если этот смиренный?.. А после этой поездки, вишь, Петровичем его зови. Сейчас прям.

Потом еще думал: может, хвоста ему недостает? Всю жизнь жил с хвостом, вилял, радовался. Когда хвостом виляешь, другой раз даже за ушами щекотно. Хороший был хвост, гладкий, белый и крепкий. Да, стыдно иметь хвост, когда у других его нету, но сам по себе он был хороший. Это правда. А теперь Никита Иваныч его обрубил, почти что под самый корешок, — ужас до чего страшно было. Никита Иваныч перекрестился: Господи, благослови! — да ка-а-ак... но не так больно, как боялся. А это потому, говорит Никита Иваныч, что в нем хрящ. А не кость. «Поздравляю, — проздравил Бенедикта, — с частичным очеловечиванием». Пошутил так, значит. «Может, поумнеешь», — пошутил.

Теперь на месте хвоста пупырь вроде шишки и саднит. Целую неделю после Бенедикт враскорячку

ходил и сидеть не мог, но до свадьбы зажило. И вот теперь как-то странно: не повиляешь, ничего. Вот так, значит, думаешь, остальные люди себя чувствуют. Хм.

Но а с другой стороны, — что значит остальные? Кто остальные-то? Ведь у каждого свое Последствие. Вот у родни когти. Пол портят. Теща, она тяжелая, грузная, из французов, — наскребет половицы так, словно цельная голова волос на пол упамши. Оленька поделикатнее, кучки после нее поменьше. От теста поскребыши длинный, толстый, хоть печь растапливай. Вот Бенедикт предлагал Оленьке: давай тебе когти подрежем. Боялся, что она его в постели оцарапает. А она в крик: ты что?! ишь!.. Эвон на что замахиваисся! На организм! Нет!!! Ай!!! Не далась.

А у перерожденцев — хоть они, наверно, не люди — когтей нет. На ногах у них ноги, а на руках руки. Только грязные: они ж целый день в валенках, если в карты не играют. А то иногда сядет, ногу выпростает и за ухом чешет, быстро-быстро; ну вот приглядишься и видишь: когтей нет.

В общем, грустновато было первое время, зад как бы осиротел, и даже Бенедикт провожал глазами всякий хвост, что навстречу попадался: козляк ли то, птичка, пес, мышь ли.

Пушкина ездил проведать. Перед самой свадьбой, за неделю, Бенедикт решил: ну, хватит, считай, готов. Куда же еще.

Да он уж к концу не столько фигуру резал, сколько мелочь всякую подправлял: кудерьки сверлил, затылок на нет сводил, чтоб гений больше как бы ссутулимшись стоял, как есть он очень за жизнь в общем и целом опечален; пальцы там, глазки. Пальцев он сразу вырезал шесть. Никита Иваныч опять возмущался, филиппики выкрикивал, но Бенедикт уже к его крикам привык и разъяснил спокойно, что так по столярной науке всегда полагается: лишнее про запас никому не мешает. Мало ли как повернется, ошибку какую допустишь, по пьяному делу не туда топором наподдашь. Лишнее потом всегда обрубить можно. Вот он работу, считай, закончил, сухой ржавью натер, а называется — отшлифовал, а чтоб гладенько все было и без заноз, — тогда, конечно, заказчику на выбор предложение сделал: который таперича палец певцу свободы оттяпать желательно? А выбор большой, самому приятно, на любой же вкус! Хочешь — этот, а хочешь — тот, а не ндравится — так вон этот, а может, тебе этот приглянулся, а то тут тюкнем, а то — там. Ну? Душа же поет, когда все по науке: пышно и богато.

А Никита Иваныч кручинился и выбрать не мог, бегал кругами и волосья на себе рвал — волосьев у него до ужаста много, — как же он, дескать, своевольно и кощунственно, по собственной прихоти, дерзнет обрубить поэту руки? Добро бы хвост, а то — руки!!! Закрывал личико ладошками, головой мотал, одним глазиком подсматривал, потом его зажмури-

вал, мучился-мучился, да так и не решился. Все шесть пальцев оставил. А ног у пушкина нету, ноги резать не стали. Не успели. Только верхнее тулово, до кушака. А дальше — как ступа, гладкое.

Волокли вшестером — наняли холопов, рассчитывались мышами. Из Прежних — приятель Никиты Иванычев подмочь взялся, Лев Львович, из диссидентов. Идола одобрил.

— Ну чистый даун. Шестипалый серафим. Пощечина общественному вкусу, — высказал. Но таскать-волочь помощи от него, худосочного, мало было, он больше на руководящей, сказать, должности выступал: «давай-давай-давай! стоп! заноси! во! не так! влево заноси!» — ну как всегда руководят. Хотели пушкина поставить, где Никита Иваныч указал, — чем-то ему это место приглянулось. Начали уже яму под пяточку копать. Да только там хозяин злой оказался: выбежал, руками машет, слюной брызгает: укроп ему, вишь, потоптали, а укроп этот — растение самое пустое, ни вкусу от него, ни запаху, а больше для красоты держат; но, конечно, с голодухи и укроп съешь.

Никите Иванычу беспрерывно надо было символ посередь голубчиковой грядки воздвигнуть, он и уговаривал, и стыдил, и сулил огня без очереди, и к холопам взывал, чтобы народный глас и ропот возвысили, а холопам-то что: стоят хмурые, ногу об ногу заплетя, платы ждут, покуривают, ждут, пока начальство откритится, сердце сорвет да и затихнет, а

так всегда и бывает. И пришлось волоочь дубельт через дорогу напротив. Там место ничейное, промеж заборов.

Стало быть, вот он у нас стоит, сердешный, шум уличный слушает, как заказывали, — из-за угла повернешь и видишь его, на пригорке, на ветру, черного такого. А эта древесина, дубельт, всегда от дождей чернеет. Вот он стоит, как куст в ночи, дух мятежный и гневный; головку набычил, с боков на личике две каклеты — бакенбарды древнего фасону, — нос долу, пальцами как бы кафтан на себе рвет. На голове, конечно, птица-блядуница расселась, а такая у ей манера, у бессовестной: чего увидит, то и обгадит, оттого и прозвище ей дано срамное, за срамотищу за ее.

...Ну, съездил, пушкина обсмотрел. Ребят малых шуганул, чтоб по нем не лазали. Хотел снежок вокруг обтоптать, да из саней вылезать поленился. Обсмотрел... ну и обсмотрел. Пушай стоит, места не простоит.

Вот думал-думал: чего же ему не хватает? А потом осенило, али сказать, стукнуло: книжек! Книжек давно не читал, не переписывал, в руках не держал! Почитай, с мая! На работу ходить самовольно бросил, потом отпуск, потом свадьба, потом жизнь семейная, и вот уж осень новая на зиму переламывается, все переломиться не может, — ну это как всегда в природе бывает, словно бы маета какая. День

дождь, день снег. Уж и Октябрьский Выходной позади, шутка ли! А только в этом году на пересчет не ходили. Тесть по службе пошел — ругался, но пошел, а нам сказал: сидите дома, я и так знаю, что вас трое. В список внесу.

Вот уж как Бенедикт Октябрьский Выходной терпеть не мог, — да и кто ж его любит, разве мурза какой, и то по должности, — но все ж какое-никакое, а развлечение было, и на людей посмотреть, и, глядишь, из Склада чего выдадут. Да теперь это нам без надобности. Вот в природе маета, и в голове маета. Заняться — ну нечем. Как бы сказать, скука.

Вот слоняешься по дому, слоняешься, слоняешься; развлечения себе ищешь. Вот палец послунишь, к стенке приложишь и ведешь по стенке-то. Ведешь, ведешь, всю горницу обведешь, али пока слюна не высохнет, тогда опять палец послунишь и опять ведешь.

Ну что еще? На корточки сядешь, локти в колени упрешь, подбородок кулаками подопрешь и качаешься: взад-вперед. Взад-вперед.

А то нижнюю губу выпятишь и пальцем по ней дрынькаешь, а она вроде как хлопает: звук такой смешной, шлеп-шлеп.

Или сидишь себе на тубарете али на лавке, качаешься, язык высунешь, один глаз зажмуришь, другой вбок скосишь и язык рассматриваешь. Кусок носа виден да языка кончик. Но мутно.

А то еще: пальцами глаза оттянуть вбок и смот-

реть, что получается; а то и получается, что все, что видишь, эдак перекашивается.

Можно голову между коленок свесить, чтоб до пола, и ждать, пока кровь прильет. Зашумит в голове, затуманится; в ушах гул и стукота.

Можно еще что делать: пальцы переплетать. С одной руки палец да с другой руки палец, потом опять с первой, потом опять со второй; а как все пальцы выйдут, дак руки-то и вывернуть. Или просто: пальцы расставишь и пошевеливаешь туда-сюда. Это на руках. А если на ногах попробовать — так плохо выйдет: судорога ступню сводит. Вот так попробуешь и дивишься, отчего бы это: на руках так, а на ногах эдак? А знать, оттого, что руки — это руки, а ноги — это уж ноги. Должно быть, так. Не иначе.

Или просто ногти рассматриваешь.

А видений никаких не видишь; как-то они ушли, виденья-то. А жалко. Вот прежде Оленька виделась: бусы там, ямочки, ленточка. А теперь — что ж? Теперь вон она, Оленька. Тут, под боком. Ямочки — дак у нее по всему тулову ямочки. Такие ямочки — палец сунь, дак полпалеца провалится. Пожалуйста. Суй. Не возбраняется. Даже, сказать, приветствуется:

— Шалун!.. Что за нетерпеж...

А только раньше вроде как бы мерцание от нее было. Вроде бы тайна какая. А теперь вот она сидит на тубарете, личико густо сметаной обмазала — чтоб белее было; а только вид страшный от этой сметаны. Волоса чешет:

— Ну-к, глянь, Бенедикт. Чего это у меня тут? Никак колтун?

Раньше ни про какие колтуны речи не было: коса до пят, и все дела. Но теперь ей косу не полагается, Оленьке: как есть она замужня голубушка, у ней на голове должен быть прибор бабский. А уж возня с этим прибором — не приведи Господь. Вот она волоса на пряди разделит, водой намочит али ржавью и давай на деревянные колобашки накручивать. Всю голову обкрутит, ходит колышется, и колобашки эти целый день друг об дружку постукивают. Кудри ей, вишь, надо. И лицо обмазано: ну чистая гарпия.

— Ты зачем это на себя навертела-то?

— А как же? Для красоты. Для тебя же стараюсь.

Бухнется на лежанку:

— Поди сюды, Бенедикт, любиться будем!

— Да хватит уже, сколько можно.

— Поди, поди, не разговаривай.

— Да я ослаб что-то. Переел малость.

— Не выдумывай, ты с утра еще не емши.

— Да ты царапаться будешь.

— Какой царапаться!.. Не выдумывай.

— Да у тебя морда в сметане.

— Вот у тебя вечно предлоги! Несчастливая моя жи-и-ись!

И завоет. Но потом перестанет.

— Бенедикт! Поди сюды. Чего это у меня вон тут чешется? Да во-он, вон тут. Вскочило чего?..

— Ничего не вскочило.

— Нет, ты плохо смотришь. Лучше смотри! Свербит чего-то.

— Да нету ничего.

— А чего же свербит-то? Не чирей ли?

— Нет.

— Волдырь, может? Не припухло?

— Нет.

— Может, покраснело?

— Нет, нет!

— А чего же тогда? Вот чешется-чешется, а потом как дернет!.. А вот тут? Бенедикт! Не отвлекайся! Вон тут — нет, дальше! Между лопатками!

— Ничего нету!

— Чешуя, может?

— Нет!

— Перхоть, что ли, нападала? — саднит. Обтряхни с меня.

— Чисто все! Не выдумывай!

— Веснушками, может, обсыпало?

— Нет!!!

— Дак, может, прыщ какой али бородавка! Вот так выскочит — да и помрешь!

— Чистая, говорю, спина! Все мерещится!

— Конечно, раз я страдаю, а не ты, так тебе и все равно! А у меня вот тут под мышкой ломит, Бенедикт!

— Поломит и перестанет.

— Вот другой бы пожалел!.. Вот если я так руку подниму и вот так поверну, сразу ломит! А если я вот

так нагнусь, а ногу-то вот так поставлю, у меня не медля в боку колотье, ну-к, погляди, чего у меня в боку-то, мне не видать!..

Вот однажды и стукнуло: книжку бы. Завалиться бы сейчас на лежанку с книжкой! На дворе снег бесшумно падает, в печи дровешки потрескивают — самое оно: с книжкой на лежанку. Рядом на тубарете миску с огнецами поставить али еще чего вкусного, чтоб за щеку сунуть, и — туда... В книжку... Вот у нас, скажем, зима, а там — лето. У нас день, а там — вечер. И распишут тебе, и разукрасят, что за лето, да что за вечер, да кто куда пошел, да чего на нем надето-накручено, да на какой, может, скамейке над рекой кто присемши, да кого ждет — а мил-друга, не иначе, — да какие птицы сверху поют, да как солнце садится, да мошки толкутся... И чего из-за реки слышать, какую песню. И все напишут: как в кустах шуркнет, — мил-дружок на свиданье пришел, — да чего промеж ними сказано, да о чем сговорено... Али кто ладью большую построил и на Море-окиян ее спустил, и сколько народу в ту ладью набилось, да куда плыть хотят, и какое у той ладьи устройство, — все распишут. И как они плывут да меж собой перелаялись, и у кого на сердце против других накипело, как он чернее тучи стал да думу думает... А другие дозналися да говорят: ай, что ж он на нас смотрит как все равно пес, будет нам от него вред, а ссадим его на остров...

Вот читаешь, губами шевелишь, слова разбираешь, и вроде ты сразу в двух местах обретаешься: сам сидишь али лежишь ноги подогнувши, рукой в миске шарить, а сам другие миры видишь, далекие али вовсе небывшие, а все равно как живые. Бежишь, али плывешь, али в санях скачешь: спасаешься от кого али сам напасть задумал, — сердце колотится, жизнь летит, и ведь чудеса: сколько книжек, столько и жизней разных проживешь! Как все равно оборотень какой: то ты мужик, а то вдруг раз! — и баба, а то старик, а то дитя малое, а то целый отряд, что в дозоре сидит, а то просто незнаком что. А если правда это, что не сам Федор Кузьмич, слава ему, все эти книги сочинил, так и что с того? Знать, другие Федоры Кузьмичи, древние люди, сидели, писали, виденья видели, оно и пусть.

А сейчас небось в Рабочей Избе свечки зажжены, свитки развернуты, Шакал Демьяныч зорко по сторонам посматривает. Константин Леонтьич быстро-быстро строчит, переписывает, да время от времени письменную палочку бросит, да руками-то всплеснет! да вскрикнет! — очень он всегда волнуется, что там в книгах-то понаписано. А потом опять письменную палочку хватить да давай дальше строчить... А Варвара Лукинишна голову склонила, гребешками трясет, про себя что-то думает... Что у ней за книга-то дома припрятана? Там про свечу что-то было, про обманы... А ни Бенедикта, ни Оленьки в Избе уж нету... Оленька на лежанке ле-

жит нудит, сметаной обмазанная, а Бенедикт на тубарете раскачивается. Сейчас бы мышей наловить, пойти на торжище и на книгу сменить. А только мышей в нашем доме нету.

А вот что за книгу тесть выносил, Бенедикту совал? А вот пойти да спросить? Раз уж тесть не заболел, тьфу, тьфу, тьфу, так это уж точно: можно в руки брать.

ТВЕРДО

Вот тесть опять поближе подсел, рот открыл и спрашивает:

— Не пришли ли мысли какие неподходящие?..

А Бенедикт осмелел и сказал:

— Ага. Пришли.

Тесть обрадовался!

— Ну-ка, ну-ка, послушаем!

— А вот что вы за книгу-то мне совали давеча? Когда я свататься-то приходил?

— А ты почему знаешь, что это книга?

— Да уж знаю.

— А откуда? Показывал кто?

— Может, и показывал.

— А кто?

— А что за книга-то?

— Нет, а кто показывал?

Бенедикт думал сказать, но не решился: мало ли...

— А вы не спрашивайте, а почитать дайте.

— А ты скажи, кто показывал.

— А у нас дома была, — сказал Бенедикт, и даже не соврал.

— А где ж она?

— Сожгли. Тятя сжег.

— А зачем?

— А чтоб Болезни не было, тьфу, тьфу, тьфу.

Тесть подумал, глазами посветил, ногами поскреб.

— Вот то-то народ вы отсталый. Отсталый народ...

— Почему это мы отсталый?.. Указы выполняем. Научные достижения все перенимаем: коромысло, часы солнечные. Гвозди.

— А потому отсталый, что дальше своего носа ничего не видите, — объяснил тесть, — и государственного подхода к общественным процессам не проникаете.

Бенедикт немного приуныл: это верно, государственный подход ему плохо давался. Пока не пришлют в Указе разъяснения, он государственного подхода к делам не проникал, понимал по-простому. Когда растолкуют — тогда да, тогда проникал. А государственный подход — он всегда с вывертом: ты думаешь, надо так толковать, — ан нет, толковать надо не так, а эдак. Сам нипочем не догадаешься.

— Вот и на Болезнь, — продолжал тесть, — у вас взгляд неправильный.

— Я слышал, — осторожно сказал Бенедикт, — что это традиция.

— Какая традиция?

— А лечить. Что раньше от книг радиация была, вот и лечили, у кого книга. А теперь двести лет прошло, так это уж все равно. Такая традиция. Я слышал.

Тесть сильно свет глазами пустил. Скребанул по полу, чуть половицу не выворотил.

— Бенеди-и-икт! Иди сюда, любиться будем! — позвала Оленька из соседней горницы.

— Лежи жди! — прикрикнул тесть. — У нас разговор служебный! Мироззренческий!.. Стало быть, так... Не в книгах Болезнь, мил человек, а в головах.

— Вроде насморка?

— Хуже. Вот ты говоришь: гвозди. Хорошо. Раньше гвоздей не знали, так?

— Так.

— Что ж, без гвоздей лучше было, что ли?

Бенедикт подумал.

— Хуже было.

— Верно. Стало быть, раньше было хуже. А теперь лучше. Улавливаешь?

— Вроде улавливаю.

— А еще раньше — еще хуже. А допрежь всего — вообще Взрыв. Это что же, хорошее дело, как по-твоему?

— Не приведи Господы!

— Ну вот. Стало быть, двигаться нам надо куда? — вперед. Ты когда по улице идешь, разве пятиться

станешь? Нет, ты вперед глядеть будешь. Для чего и глаза на лбу, а не на заду, верно? Природа нам указание делает.

— Верно, — признал Бенедикт.

— Только вперед, и никак иначе. А я вот, к примеру, как я есть Главный Санитар, буду путь освещать. — И пустил луч, как все равно луна взошла. — Теперь прояснение наступило?

— Нет, — сказал Бенедикт.

— Опять нет. Ну что ты будешь делать... Ну хорошо. Отсталость, — объяснил тесть, — в обществе большая. А человек человеку — брат. Ну-к, может брат брату не подмочь? Кто он после этого будет? Плохой человек, михрютка! Подмочь, подправить — это первое дело. А то некоторые как рассуждают: моя хата с краю. Хорошо это?

— Вроде нехорошо. Это мараль.

— Верно. А как подмочь?

— Не знаю.

— А ты подумай.

— Ну, не знаю... Накормить?

— Хэ! Рассудил! Да ведь если кормить да кормить, да кормить да кормить, так людишки и работать бросят. Один ты работать и будешь, на них стараться. А ну как у тебя еда вся выйдет? Где новую взять? Откуда ж еда, если никто не работает? Нет! Думай еще.

Бенедикт стал думать: как подмочь брату. Правда, у него брата не было, и думать было несподручно.

Представлялся кто-то докучный, долговязый: сидит будто на тубарете и нудит: «Бра-а-ат... Помога-а-ай... Помога-а-ай, бра-а-ат...» И не захочешь, а по шее дашь.

— Может, постеречь чего? Пока он там ходит?

— Ага. Вот и стой столбом до вечера. А он тем временем — по бабам.

Бенедикт рассердился на брата: вот ведь стервец! Что же ему надо-то?

— Сдаешься, — покачал головкой Тесть. — Ну ладно. Вот давай мы с тобой так рассудим. Ты репу сажил?

— Сажил.

— Сажил. Хорошо. Стало быть, технику знаешь: посадишь репу и ждешь. Ждешь ты, скажем, репу — а незнам чего вырастет. Половина — репа, половина — сорная трава. Ты траву полол?

— Полол.

— Ладно. Значит, знаешь. Что ж тебе и объяснять. Ежели репу вовремя не прополешь — все поле сорняком зарастет. А репа-то сквозь сорняк и не пробьется. А? И кормить нечем, и сторожить нечего. Так-то!

— Верно, — признал Бенедикт.

— А еще бы не верно. Теперь следи. «Репку» читал? Переписывал?

— Сказку? Читал: посадил дед репку, выросла репка большая-пребольшая.

— Но. Только это не сказка. А притча.

— Что значит притча?

— Притча есть руководящее указание в облегченной для народа форме.

— И чего ж тут указано? — удивился Бенедикт.

— А вот плохо ты читал! Тянет дед репку, а вытянуть не может. Позвал бабу. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Еще других позвали. Без толку. Позвали мышку — и вытянули репку. Как сие понимать? А так и понимать, что без мыши — никуда. Мышь — наша опора!

А ведь верно! Вот как тесть объяснил — так все сразу понятно стало, все и сошлось. Большого ума человек.

— Так что в общем и целом, — заключил тесть, — картина у нас выходит такая: коллектив опирается на мышь, как есть она краеугольный камень нашего счастливого бытия. Это я тебе излагаю общественную науку, не верти головой. И, опершись таким манером, тянет что может. Репу — хорошо, а нет репы — так хвощ али ржавь на худой конец.

— Это точно. Верно говорите. У меня о прошлом годе всю ржавь из чулана стянули! Я пришел — двери настезь, все вынесли!

— Хорошо, вот ты уже думать начал. Ну а как ты понимаешь свою задачу?

— Какую?

— Какую! Да полоть!

Бенедикт крепко подумал.

— Полоть?.. Хм. А надо полоть?.. А! Воров ловить?

— Каких воров!.. Соображай! Кто это — воры?
— Воры? Это которые крадут.
— Ну? А кто крадет?
— Кто крадет... кто крадет... да все крадут.
— То-то! — засмеялся тесть. — Все крадут! Кого же ты ловить собрался? Себя самого, что ли? Экой ты забавник.

Тесть открыл рот и посмеялся как следует. Бенедикт отворотил голову: уж очень дух у него изо рта нехороший.

— Ну так как ты свою задачу понимаешь?.. Сдаешься?.. Да лечить! Лечить надо людей, золотой ты мой!

Бенедикт похолодел.

— Кто — я?

— Ну а кто же? Конечно ты! Вот отъешься маленько — малый крюк тебе дам, а попривыкнешь, руку набьешь — и большой выслужишь.

— Я не могу, нет, нет, нет, я не могу, как же... я не могу крючком, нет, нет, нет... тьфу, тьфу, тьфу, не могу, нет, нет, нет...

— Ну вот, пожалте! Объяснял я тебе, объяснял, вроде так ты хорошо слушал, и нате: не могу! А ты через не могу! Есть у тебя долг перед обществом али нет? К светлой жизни народ должен прийти али нет? Брату подмочь надо? Надо! Не спорь. Задача у нас, мил человек, благороднейшая, а народ отсталый, недопонимает. Страхи глупые, сплетни распускает. Дикость!

Бенедикт затосковал. Только что все понимал, и вот тесть как-то вывернул — и опять ничего не понятно, а только тоска.

— Так что: книги читать нельзя, что ли?

— Почему нельзя? — удивился тесть. — Читай на здоровычко, у меня цельная библиотека старопечатных, есть и с картинками. Я тебе доступ сделаю.

— Так а зачем лечить?

— Опять двадцать пять! Потому что Болезны!

— Я ничего не понимаю...

— Не все сразу. Поймешь.

— Ну а вот... вот вы сказали, что мышь — наша опора. А отчего у нас в доме мышей нету?

— Оттого у нас мышей нету, что у нас жизнь духовная. Нам мышь без надобности.

УК

Старопечатных книг у тестя — целый склад. Когда Бенедикт доступ к книгам-то получил — и-и-и-и-и-и! — глаза-то у него так и разбежались, ноги подкосились, руки затряслись, а в голове паморок сделался. Горница такая просторная, на самом верхнем этаже и с окнами, а вдоль стен все полки, полки, полки, а на полках-то все книги, книги, книги! И большие, и маленькие, всякие. Которые совсем с ладошку — а буквы в них большие. А которые большие — а буквы в них малые. Есть книги — а в них картинки,

да не простые, а цветные! Право слово, цветные! Цельная книга цветных картинок, а на них бабы голые, розовые, — и на траве сидят, и на тубарете, и в раскорячку, и по-всякому! Которые тощие, как метла, а другие ничего, полненькие. Одна вон на лежанку лезет и одеялку откинула — ничего бабец. Ничего.

Полистал дальше: мужики какие-то идут себе куда-то, идут, идут, с граблями, — должно, репу сажать.

Потом море, а на нем ладья, а над ней на палках простыни. Видать, постирушку затеяли и сушат. Но дак оно и удобно: вон в море воды сколько.

Опять отлистал назад, где баба на лежанку лезет. Хорошая баба. Вроде Оленьки, только личико без сметаны.

Потом еще много голубчиков на зверях сидят — звери эти вроде козляка, но без бороды. Тесть сказал: это конь. Конь. Ага. Это, значит, вот он какой, конь. Страшный какой. Но а эти-то сели на него и не боятся.

Потом цветы цветные. Горшок, а из него цветы торчат. Это скучно. Потом вообще все закалякано, не разбери поймешь чего. Тоже скучно. Потом еще полистал, а там картинка такая: ничего на картинке нет, один лист белый, а посередь черная дыра квадратная. Больше ничего. Вроде как конец всему. Смотрел на дыру, смотрел — вдруг так что-то страшно стало, как во сне. Захлопнул быстро книгу и бросил.

В других книгах тоже картинок без числа. Бенедикт три дня на полу сидел, листал. Чего только не нарисовано, и-и-и, Боже ты мой, Господи! Девушки такие приятные с дитем сидят, смеются, а вдали белые дороги, зеленые холмы, а на холмах города горькой, светлые такие, голубые али розовые, как заря. Мужики сурьезные, важные, на голове шапка блином, на грудях цепь желтая, рукава пышные, как у бабы. А то целая толпа голубчиков, и ребятенки малые с ними, а только все голые, только тряпки цветные на них накручены, и будто летят куда вверх, а цветов да венков набрали — ужаси. А должно, на прополку всем семейством ходили, а лихие люди их ограбимши, зипуны-то посрываюмши.

Раз знакомое что-то на глаза попалось — никак «Демон». Точно. Это что Федор Кузьмич в дар преподнес. Бенедикт долго сидел — аж ноги затекли, смотрел на «Демона», думал. Вот одно дело других слушать, а совсем другое — самому видеть: точно это, не наврала, не Федор Кузьмич книги пишет, а другие голубчики. Вот приглянулся, видать, Федору Кузьмичу, слава ему, этот демон, он хватъ — и выдрал картинку-то из книги-то. Вот ведь какой — маленький, да удаленький. А как-то горько: обманул Бенедикта, обставил, за дурака посчитал.

После этих книжек сны снились цветные, с сердцебиением. Все больше холмы зеленые, муравой укрытые, да дорога, а будто бежит Бенедикт по той дороге легкими ногами и сам дивится: до чего бежать-

то легко стало! А на холмах деревья, а тень от них резная да бегучая: солнце сквозь листья играет, на мураве пляшет. А он бежит себе да смеется: вот до чего же легко, рассказать бы кому! А никого и нетути, все будто попрытамшись. А тоже ничего: когда надо, выйдут, вместе с Бенедиктом смеяться будут! А куда он бежит, он не знает, а только ждет его кто-то и радуется, похвалить хочет: хороший Бенедикт, хороший!..

А то будто он вроде как летать умеет. Невысоко, правда, и недолго, но все-таки. Это тоже на дороге, но вроде темно. И тепло. Лето, стало быть. Вот будто на Бенедикте штаны белые и рубаха белая тож. И вот будто он понял: ежели ногой от земли оттолкнуться, а потом спину-то эдак прогнуть, а руками в стороны разводить по-лягушачьи, то прямо по воздуху плыть можно, аршин десять можно проплыть. А потом сила эта вроде как иссякает, дак опять ногой оттолкнуться, и опять плыви. И будто Бенедикт это кому-то показывает, разъясняет. Вот, дескать, как это просто, только спину прогнуть, а животом к земле, а руками, дескать, вот эдак. Проснешься — вот жалость: умел ведь летать-то, а к утру забыл.

А раз приснилось, будто хвост у него вырос кружевной да резной, весь белый, как у Княжьей Птицы. Вот он голову через плечо обернул и на свой хвост смотрит... А в горнице темновато и прохладно. и окошко низкое. И солнце в окошко утренним светом бьет и по белым перьям мелкой радугой дробит-

ся, дрызгами искристыми. А он хвост то распустит, то снова подберет и смотрит, как искры по белому играют, как вот снег бывает пушистый, летучий. И уж так ему этот хвост нравится, так уж нравится — сейчас бы пригнуться, да в окно порхнуть, да на ветку, да по ветке пройтись: ко-ко-ко. Да только хвост этот немного болит, и ходить с ним несподручно. Вот уж он не у окошка, а по лестнице какой-то спускается, а хвост за ним шуршит, по ступеням волочится, тугой такой, прохладный и еще пышнее стал. И входит Бенедикт в горницу, а там семья. За столом сидят и смотрят... Лаптями елозят. И смотрят так сурово, с осуждением, али гневом, на Бенедикта. Бенедикт тоже смотрит — а он голый. Забыл штаны надеть, али потерял, али что. А надо обедать. Вот он за стол садится и хочет хвостом срамоту прикрыть, и так, и эдак, а не выходит, потому как хвост короток. Как же так: сейчас ведь длинный был, волочился, а тут вдруг короток. Он его руками-то нашаривает, голову вывертывает, из подмышки на него смотрит, а хвост уж не тот. Потемнел, и рябой весь, и перья в руках остаются: тронешь — отваливаются...

Вот чудь какая приснится! — не знаешь что и думать. А когда все книги с картинками пересмотрел, за другие взялся. Сначала глаз старопечатные буквы не брал, вроде как соскакивал. А потом приноровился, будто так и надо. Будто Бенедикт всю жизнь только и делал, что запрещенные книжки читал! Сначала хватал все без разбора, а потом решил в

этом деле порядок навести. Все подсчитать и по порядку расставить. Книги с полок сгреб на пол и по своему все переделал. Первое время по цвету книжки расставлял: в этот угол желтые, в тот — красные. Не то что-то. Потом по размеру книжки ставил: большие — туда, малые — сюда. Самому не понравилось; а почему не понравилось, потому что на каждой книжке, слышь, на коробке ее обозначено: кто писал. Скажем, Жюль Верн. Так он и большую книжку, коричневую, сочинил, и малую, синенькую. Как их в разные углы пихнешь? — их надо вместе. Потом закавыка вышла: есть книжки, а называется журнал, а там не один голубчик сочинявши, а целых десять, да каждый — свое. Эти журналы надо тоже вместе, по цифрам: сначала номер один, потом номер два, а потом — что же? — надо номер три, а третьего-то и нет, а сразу семь. Что такое? А нету! Вот досада-то. Может, где заваялось, потом отыщется. А журналы разные, а названия у них чудные, которые понятные, которые нет. Вот «Звезда», это понятно. Это ж дураком надо быть, чтоб не понять.

А вот «Кодры», что за «Кодры»? А должно, ошибка вышла, а надо: «кадры». А Тетеря так девушек встречных называет. Бенедикт чернил из ржави сварил, палочку обстругал, навел порядок, все переправил. А в этом журнале про девушек, правда, много понаписано.

А вот есть «Вопросы литературы». Бенедикт посмотрел: никаких там вопросов, одни ответы. А

должно, был номер с вопросами, да пропал. Тоже жалко.

А есть журнал «Картофель и овощи», с картинками. А есть «За рулем». А есть «Сибирские огни». А есть «Синтаксис», слово какое-то вроде как непристойное, а что значит, не понять. Должно, матерное. Бенедикт пролистал: точно, матерные слова там. Отложил: интересно. На ночь почитать.

А есть «Задушевное слово». «Вестник Европы». «Весы». Эти какие-то не такие, сильно плесенью пахнут, но это неважно, а вот там среди букв, почитай, в каждом слове, еще какие-то буквы, науке неизвестные. Бенедикт думал, это не по-нашему, а по-кохинорски, а потом приловчился читать, и ничего, перестал лишние буквы замечать, будто их и нету.

А некоторые голубчики расстарались, сочинили книги аккуратненькие, одинакового размера и в одинаковый цвет покрашены, а называется «собрание сочинений». Вот Золя, например. Или Антонина Коптяева. А в этих собраниях еще чего учудят: портрет голубчика, что сочинял, нарисуют. Такие портреты смешные, ужаси. Вот голубчик Сергей Сартаков: уж такое личико неудобосказуемое, на улице повстречаешь — шарахнешься. А тоже сидел, сочинял. Много сочинил.

Которые книги трепаные, грязные, листы с них вываливаются, а которые — уж такие чистенькие, как вчера сделаны. Любо-дорого посмотреть. Ска-

жем, Антон Чехов. До того книга у него трепаная! Видать, криворукий мужик, забулдыга. Может, подслеповатый был. Вон на лице у него, на глазках — Последствие: оглобелька, и веревка с нее висит. А вот Коптяева, видать, баба чистая, себя соблюдает. Уж такая книжечка, можно сказать, нетронутая. Коптяеву тоже себе на ночь отложил.

Тесть пришел, посмотрел, как Бенедикт все переставил, — похвалил:

— Я смотрю, ты культуру любишь.

— Культуру страсть как люблю.

— Дело хорошее. Мы тоже читать любим. Другой раз в кружок сядем, читаем.

— М-м.

— А то есть которые культуру не уважают, портят.

— М-м.

— Страницы вырывают, немытыми руками листают.

— Ага... Это кто?..

— Есть такие...

Постоял, подышал — вся горница нехорошим пропахла — и ушел.

Вот Бенедикт с утра, не пимши-не емши, только морду ополоснет, — и читать. Зовут обедать — вот досада, на самом интересном месте оборвут! Сначала он так делал: быстро сбегает, накидает в рот чего ни попадя — и опять к книге. А потом сообразил: можно и за столом читать. Даже вкуснее, и времени

не теряешь. Семейство, конечно, обижается. Теща обижается, что Бенедикт ее стряпню мало хвалит, Оленька — что он в книжках про баб вычитывает, а она сидит одна, как дура. Тесть вступается: оставьте его, это искусство.

Оленька воеет:

— Он книжки читает, а на меня никакого внимания!

Тесть на защиту встал:

— Не твоего ума дело! Молчи! Читает — значит надо.

— Чего он там читает-то? Он про баб читает! А на жену не смотрит! Вот порву все книжки-то ваши!

— Ничего не про баб! Вот, написано: «Роджер вынул пистолет и прислушался. Скрипнула дверь». А не про баб.

— Видишь? Он не про баб.

— Ну конечно! Не про баб! Чего ж он писдолет-то вынул, срамник?

— Дак сейчас мистер Блэк войдет, а он его по балде пистолетом. Роджер-то. Он за портьерой спрятавшись. Не мешай.

— Какой такой мистер Блэк?

— Семейный нотариус. Не мешай.

— Чего ж он семейному человеку свой писдолет выкладывает? Свою семью заведи да и выкладывай!

— Вот то-то ты и есть дура! — это тесть ей. — Семья семьей, а производственный процесс знать на-

до. Муж твой тебе не для забавы даден, а как есть он гражданин общества, кормилец и защитник. Тебе хиханьки, а ему учеба. Зяты!

— М?

— Ты еще «Гамлет» не читал?

— Нет еще.

— Прочти. Нельзя пробелы в образовании... «Гамлет» обязательно прочесть надо.

— Хорошо, прочту.

— Еще «Макбет» прочти. Ох, книга хорошая, ох, полезная...

— Ладно.

— «Муму» обязательно. Сужет очень волнующий. Камень ей на шею да и в воду... «Колобок» тоже.

— «Колобок» я читал.

— Читал?! Здорово, да?

— Ага.

— Как-к она его!.. Ам!.. Лиса-то... Да, брат, лиса — это, знаешь... Лиса она и есть... Лисанька... Ам!

— Да, жалко...

— При чем тут!.. Это ж искусство! Тут, брат, не жалко, а намек... Понимать надо... Басни Крылова читал?

— Басни начал.

— Хорошие есть... «Волк и ягненок». Хорошая. «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!» Поэзия.

— Я больше люблю с приключениями.

— А-а, чтоб не сразу?.. А вот «Охотники за головами», желтенькая. Непременно прочти.

— Слушайте, да не мешайте мне! Прочту я! Вы мне мешаете! Дайте почитать спокойно.

— Все, все! Молчим! — Тесть палец к губам приложил. — Работай, учись спокойно. Молчим, молчим.

ФЕРТ

Пришла весна с большими цветами. Проголубело за окном — только и заметил Бенедикт, что свету прихлынуло, читать виднее стало. Отвел пузырь, что окошко застил, — вона! все луга-поляны муравой давно покрылися, уж и лазоревые цветики сходят, черед желтым. Ветер медовыми волнами налетает, в дальние страны зовет, тридевятые царства-государства проведать, долбленную ладью на чистую речку спускать, к Морю-окияну путь держать! А только Бенедикту этого не надобно. Все у Бенедикта в книгах, словно бы в тайных коробах, свернутое, схороненное лежит: и ветер морской, и луговой, и ненастный, и снеговой, и который зефиром звать, и синий, и песчаный! Ночи беззвездные и ночи страстные, ночи бархатные и ночи бессонные! Южные, белые, розовые, сладчайшие, иссушающие! Звезды золотые, серебряные, голубые, зеленые, и как соль морская, и бегучие, и падучие, и зловещие, и алмазные, и одинокие, и бедой грозящие, и путеводные, слышь, — и путеводные! Все ладьи всех морей, все ноцелуи, все острова, дороги все и города, куда доро-

ги те ведут, все городские ворота, щели и лазы, подземелья, башни, флаги, все кудри золотые, все косы черные как смоль, оружия гром и бряцание, облака, степи, да опять ветры, да опять моря да звезды! Ничего ему не надо, все тут!

Богач — вот он кто. Богач! Бенедикт подумал про себя: «бо-гач», — и сам засмеялся. Визгнул даже. Сам себе мурза! Салтан! Все у меня в руке, в кулаке, в бумажках малых: и природа вся неохватная, и жизни людские! Стар и млад и красавицы несусветные!

А еще что в книгах-то хорошо: красавицы эти, что меж страниц платьями шуршат, из-за ставен выглядывают, из-под занавесей кружевных, узорных; красавицы, что руки белые заламывают, с распущенным с волосам под ноги коню бросаются, гневными взглядами вспыхивают, — сама в слезах, а талия в рюмку какую-то; что разметываются с сердцебиением на лежанке, а вскочив, диким взором поводят окрест; что семят боязливо, потупив синие очи; что пляшут пляски огневые с розой в волосах, — никогда эти красавицы по нужде не ходят, никогда оброненное с полу, кряхтя, не подбирают, не пучит красавиц-то этих, ни прыща у них не вскочит, ни ломоты в поясице не бывает. Перхоти в золотых кудрях у них не водится, вошь малюткам своим гнездышка не вьет, яичек не откладывает, стороной обходит. Да и кудри те золотые — они ж у них цельные сутки кудрявятся, а того не сказано, чтоб полдня с колобашками сидеть. Не случилось им ни чавкать,

ни сморкаться, спят тихо, щеками не булькают, никакая Изабелла али Каролина со сна не опухши; зевнув — зубами не клацают, вскакивают освеженные и распахивают занавеси. И все радостно кидаются в объятия избраннику, а избранник-то кто же? избранник — Бенедикт, зовись он хоть дон Педро, хоть Сысой.

А то: весна! Зачем ему весна? Весной одно хорошо: читать светлее. День длинней, буквы видней.

Летом велел гамак себе на галерее подвесить. Над гамаком навес легкий, от блядуниц защита. Никакой у них совести, у блядуниц, ни самомалейшей: где карниз увидят, там и сядут, оттуда и курлычут и гадят. Ладно если в волосья попадет, а ну как на книгу? Двух холопов по бокам приставил, чтоб опахалами помавали и всякую мошку али комарье от него отгоняли. Девку-качалку приставил, чтоб гамак качала, али сказать колебала, но не сильно, а так, чуть-чуть. Другую — чтоб беспрестанно прохладительные запивки подносила: ягоду кизил толкла, канпот с ее варила и колотого лёду туда побольше пёхтала, а этого лёду еще с зимы запасено, всю зиму работники на реке лед рубили и в холодном подполе хоронили. А этот канпот хорошо через соломинку пить: срежут траву какую, если не ядовитая, высушат, а внутри ее трубочку видать, а через ту трубочку напитки пить.

Вот уж муха пошла злая и крупная, крыло у ней в синеву отливать стало, глазки радужные, а нрав не-

умный; два работника умаялись отгонявши, третий на подмогу прибежал; стало быть, осень. Поднял глаза: и правда осень, брызнет дождем из тучи, не дай Бог, книгу намочит. Перебрался в терем.

ХЕР

День был обычный, четверг. Падал снежок, ничто не предвещало. А и в книжках так: ежели ничто не предвещает, всегда особо оговаривают: не предвещало. А уж ежели предвестит, то держись: и птица каркнет, и ветер эдак завывает, и зеркало треснет, а зеркало это у старинных людей вроде доски было, и они, в ту доску глядя, себя видели, вроде как мы, когда в воду смотрим.

Сели обедать.

Бенедикт раскрыл «Северный вестник», седьмой номер, на редкость крепенький, нитками прошитый и проклеенный, разломил журнал, чтоб не закрывался, и локтем нажал, и еще миской с супом придавил.

Теща:

— Доедай, зять, каклеты стынут.

— М-м.

— Каклеты хорошие, жирные.

— М-м.

— С грибышами упарены. Поди, час в печи томила.

Оленька:

— А еще хорошо к каклетам пюре с репы.

Тесть:

— Пюре, почитай, ко всему хорошо.

— Нет, к каклетам — особливо.

— Ну да и то сказать: не каждый день каклеты парим.

— Не каждый.

«.....», — читал Бенедикт, бегая уже привычными глазами по строчкам, — «.....».

— А о прошлом годе, помните, кусай-травы набрали да с репой масседуан сварганили.

— А то.

— А еще бы для духу козлякового сыру в масседуан-то наблякать, оно бы еще вкусней было.

— А то.

— А еще вермишель хорошо.

— А еще бы не хорошо.

— А кабы в вермишель маслица, да травок лесных, да кваску чуток, да запечь, да протомить, а как заскворчит — на стол.

— А сверху — грибышей толченых.

— Ага.

— А к этому вертуту рассыпчатую, орешками фаршированную.

— С папоротом.

— Но.

— Опосля пряники. Плетеные.

— Зачем плетеные. На поду лучше.

— Ща, на поду. На поду они с горчинкой.

— Но? И чего? Оно и хорошо.

— Чего ж хорошего? Плетеные куды лучше. В их яйцо кладут.

— Что ты понимаешь. Плетеные!.. Еще скажи: блины!..

— А что блины? Что блины-то?

— А то, что неча!.. Блины!.. Тоже мне!..

— А чего тебе?

— А ничего! Вот чего!

— Ну и ничего! А то: блины!..

— А вот и блины!

— Сама ты «блины».

— Да я-то вот блины. А ты-то что?

— А ничего!

— Ну и молчи!

— Сама молчи!

— Ну и помолчу!

— Ну и помолчи!

— Ну вот и помолчу! «Блины»!

— Ну и молчи! Тише будет!

Помолчали. Жуют. Бенедикт страницу перевернул, миску переставил, опять журнал придавил.

— Каклеты-то ешь, зять.

— Я ем.

— Еще накладывай. Оленька, наложи ему. Да ты соусу-то полей! Во. Еще полей.

— Прибышей ему положите.

— А вот еще поджарочки.

Опять помолчали.

— А жаль, Евдоксинья-то помре. Каки она суфле с орехов наворачивала.

— Но. А то.

— Сверху вроде корочка, а внутри мягкое.

— Ну.

— А шарлот? Кто такой шарлот таперича изговит?

— Это который? С репы?

— С репы.

— Да я с репы и сама могу.

— Щас прямо.

— А че?

— Ниче.

— Думаешь, не могу?

— Не-а.

— А вот могу.

— Ври.

— А вот и могу. Спервоначалу упарить ее, потом намять. Опосля яиц в нее, орехов, молока козьего. Обвалить и в печь. И чтоб жар большой. Как все равно для блинов.

— Опять блины.

— Да что ж ты к блинам-то, ирод, привязался?!
Еще попросишь блинов-то!

— А и попрошу! Слоеные!

— А хрен тебе!

— А чего это?

— А того!

— Ща, ей-Богу, как дам в лоб уполовником — будут тебе блины-то!

Бенедикт еще страницу перевернул.

— Зяты!

— М?

— Оставь книгу-то! Как за стол — сразу в книгу. Ни тебе посидеть как люди, ни поговорить.

— Мм.

— Зяты!

— М-м?

— Чего там написано-то? Прочти.

— «Чего!» Искусство написано!

— Дык и прочти.

Оленька рот поджала:

— Он все про баб вычитывает. Приключения хочет.

— Больно много вы понимаете. Ну, что... Ну: «Людмила зябко куталась в пуховой платок, обхватив себя за худенькие, вздрагивающие плечи. Ее зардевшие щеки ярко пылали пунцовым огнем. Звезды глаз бросали на Владимира стрелы тревоги. Высокая грудь вздымалась как морская пучина под шелковой блузкой. «Владимир, — прошептала она. — Владимир...» Владимир стиснул челюсти. Суровые желваки заходили под его загорелой кожей. Он отвернулся. Тонкие пальцы Людмилы нервно перебирали бахрому шали. «Владимир!» — вскрикнула она, простирая ладони...»

Оленька набычилась:

— Но и сколько же у ей рук-то, у Людмилы-то у этой?

— Сколько надо! Две!

— А шурует вроде как шестью. Это у ей Последствие али как?

— На себя посмотри! — обозлился Бенедикт. — Это искусство!

Вот баба — она баба и есть. Всю мечту опоганит. Аж трясет. Бенедикт еще перелистнул. «Кончиками тонких пальцев Людмила потирала усталые виски. «Никогда», — прошептала она, заламывая руки. Смертельная бледность заливала ее лицо. Она разжала объятя. «Все кончено», — пробормотал Владимир. Суровая складка его губ выдавала крайнее волнение». Ах, блин, и впрямь... Последствие у Людмилы-то... А чего ж ничего не сказано?.. Перелистнул страницу. «Продолжение следует». А, черт! На самом интересном месте. Бенедикт оцупал журнал, повертел, листы перелистал: может, где в конце продолжение сыщется, — а бывает. Но не было. Двинул тубарет — пойти в складе посмотреть.

— Куда? А каклеты-то?!..

На полках в складе давно порядок заведен: сразу видно, какой книге где место. А то у тестя Гоголь рядом с Чеховым стоял — сто лет ищи, не найдешь. А на все наука должна быть, али сказать, система. Чтобы не тыркаться без толку туда-сюда, а сразу — пошел и взял.

...Нет восьмого номера. Ну, может, и ошибся, может, сунул не туда... бывает... тут «Северный вестник», тут «Вестник Европы», «Русское богатство», «Урал», «Уральские огни», «Пчеловодство»... тут нет.. «Знамя», «Новый мир», «Литературият Башкортостон»... читал, Тургенев — читал, Якуб Колас — читал, Михалков, Петрарка, Попов, другой Попов, Попцов, Попеску, «Попка-дурак. Раскрась сам», «Илиада», «Электрическая тяга» — читал, «С ветром споря», «Справочник партизана», Сартр, Сартаков, «Сортировка бытового мусора», Софокл, «Совморфлоту — 60 лет», «Гуманистические аспекты творчества Шолохова», «Русско-японский политехнический словарь» — читал, читал, читал...

Бенвенуто Челлини; «Чешуекрылые Армении», выпуск пятый; Джон Чивер; «Чиполлино», «Черный принц» — ага, вот и ошибся, эту не сюда; «Чудо-дерево»; «Чума»; «Чумка у домашних животных»; «Чум — жилище народов Крайнего Севера»; Чулков; «Чулочно-носочное производство»; Чулаки; «Чукотка. Демографический обзор»; Чандрабхагнешапхандра Лал, том восемнадцатый; «Чень-Чень. Озорные сказки народов Конго»... читал; Кафка; «Каши из круп», «Как мужик гуся делил»; «Карты звездного неба», «Камо грядеши?», «Камское речное пароходство»... читал; «Що за птиця?»; Пу Сун-лин; «Пустыня Гоби», «Ракетам — пуск!», «Убийство в Месопотамии»; «Убийство в Восточном экспрессе»; «Убийство Кирова»... «Урарту»... «Ладушки»; Лимонов; «Липи-

до-белковый обмен в тканях» — все читал...

«Красное и черное», «Голубое и зеленое», «Голубая чашка», «Аленький цветочек» — хорошая... «Алые паруса», «Желтая стрела», «Оранжевое Горлышко», «Дон Хиль — Зеленые Штаны», «Белый пароход», «Белые одежды», «Белый Бим Черное ухо», Андрей Белый, «Женщина в белом», «Багровый остров», «Черная башня», «Черноморское пароходство. Расписание», Саша Черный, сюда «Черный принц». Так...

Хлебников, Караваева, Коркия... Колбасьев, Сытин, Голодный... Набоков, Косолапов, Кривулин... Мухина, Шершеневич, Жуков, Шмелев, Тараканова, Бабочкин... М.Горький, Д.Бедный, А.Поперечный, С.Бытовой, А.Веселый... Зайцев, Волков, Медведев, Львов, Лиснянская, Орлов, Соколов, Сорокин, Гусев, Курочкин, Лебедев-Кумач, Соловьев-Седой... Катаев, Поволяев, Крученых... Молотов, Топоров, Пильняк, Гвоздев... Цветков, Цветаева, Розов, Розанов, Пастернак, Вишневский, Яблочкина, Крон, Корнейчук... Заболоцкий, Луговской, Полевой, Степняк-Кравчинский, Степун... Носов, Глазков, Бровман, Ушинский, Лобачевский, Языков, Шейнин, Бородулин, Грудинина, Пузииков, Телешов, Хвостенко...

«В объятиях вампира», «В объятиях дракона», «В объятиях чужестранца», «В гибельных объятиях», «В объятиях страсти», «Огненные объятия», «Всепожирающее пламя страсти»... «Удар кинжала», «Отравленный кинжал», «Отравленная шляпка», «Отравленная одежда», «Кинжалом и ядом», «Ядовитые гри-

бы средней полосы России», «Златокудрые отравительницы», «Смерть приходит в полночь», «Смерть приходит на рассвете», «Кровавый рассвет»...

«Дети Арбата», «Дети Ванюшина», «Дети подземелья», «Дети Советской Страны», «Детки в клетке», «Детям о Христе»;

Маринина, «Маринады и соленья», «Художники-маринисты», «Маринетти — идеолог фашизма», «Инструментальный падеж в марийском языке»;

Клим Ворошилов, «Клим Самгин», Иван Клима, «Климакс. Что я должна знать?», К.Ли. «Максимальная нагрузка в бетоностроении: расчеты и таблицы. На правах диссертации»;

Чехов, Чапчатов, «Чахохбили по-карски», «Чух-чух. Самым маленьким»;

Анаис Нин, Нина Садур, «Ниневия. Археологический сборник». «Ниндзя в кровавом плаще», «Папанин. Делать жизнь с кого»;

«Евгения Гранде», «Евгений Онегин», Евгений Примаков, Евген Гуцало, «Евгеника — орудие расистов»;

«Гамлет — Принц Датский», «Ташкент — город хлебный», «Хлеб — имя существительное», «Уренгой — земля юности», «Козодой — птица вешняя», «Уругвай — древняя страна», «Кустанай — край степной», «Чесотка — болезнь грязных рук»;

«Пигиена ног в походе», «Ногин. Пламенные революционеры», «Ноготки. Новые сорта», «Гуталинование», «Подрастай, дружок. Что надо знать юноше о

поллюциях», «Руку, товарищ!», «Пошив брюк», «Старина четвероног», «Шире шаг!», «Как сороконожка кашку варила», «Квашение овощей в домашних условиях», Фолкнер, «Федорино горе», «Фиджи: классовая борьба», «Шах-намэ», Шекспир, Шукшин;

«Муму», «Нана», «Шу-Шу. Рассказы о Ленине», «Гагарин. Мы помним Юру», «Татарский женский костюм», «Бубулина — народная героиня Греции», Боборыкин, Бабаевский, Чичибабин, «Бибигон», Гоголь, «Дадаисты. Каталог выставки», «Мимикрия у рыб», «Вивисекция», Тютюнник, Чавчавадзе, «Озеро Титикака».

Боясь догадаться, дрожащими руками перебирал Бенедикт сокровища; про восьмой номер он уж и не думал, нет восьмого номера, — переживем, но — книга за книгой, книга за книгой, журнал за журналом — все это уже было, было, было, читал, читал, читал... Так что же: все прочитал? А теперь что читать? А завтра? А через год?

Во рту пересохло, ноги ослабли. Высоко поднял в руке свечу, синеватый свет ее раздвигал тьму, плясал по полкам, по книжным корешкам... может, наверху...

Платон, Плотин, Платонов, «Плетення жинкових жакетов», Плисецкий Герман, Плисецкая Майя, «Плиссировка и гоффрэ», «Плевна. Путеводитель», «Пляски смерти», «Плачи и запевки южных славян», «Плейбой». «Плитка керамическая. Руководство по укладке». «Планетарное мышление». «Плавание в

арктических водах». «План народного развития на пятую пятилетку». «Плебеи Древнего Рима». «Плоскостопие у детей раннего возраста». «Плевриты». «Плюшка, Хряпа и их веселые друзья». Все читал.

Все. «Все кончено, — пробормотал Владимир». Ничто не предвещало. Вот — предвестило... Бенедикт постоял, капая свечным салом на пол, осмысливая случившийся ужас. Так вот пирует себе человек в богатом пиру, в венке из роз, смеясь беспечно, и вся жизнь у него впереди; бездумно ему и светло; откусил, играючи, кусок ватрушки, протянул руку за другим — и вдруг раз! — и видит, что и стол-то пуст, чист, ни объедка, и горница как мертвая: ни друзей, ни красавиц, ни цветов, ни свечей, ни цимбалов, ни танцоров, ни ржави, а может, и самого-то стола нет, только сено сухое... с потолка помаленьку сыплется... шуршит и сыплется...

Медленно, медленно вернулся в столовую горницу, сел; что-то говорили ему, ворча, наложили еды... Каклеты... На тарелке — каклета. Лежит. Каклета... У Бенедикта на тарелке лежит каклета. Смотрел... смотрел... Каклета лежит. Не понял... что думать-то надо?... про каклету?

— Ешь! Ешь, пока не остыло! Соусом полить?..

Говорит слова; кто это говорит? Присмотрелся — видит: бабель такой объемный, женского полу. Большая голова, малый нос посреди. По бокам носа — щеки, красные, свеклецом натертые. Темных два глаза тревожных, ровно как осенней водой налитых;

вот как в лесу в мох-то ступишь, след оставишь — немедля каряя вода в тот след стремится, заполняет. Над глазами брови черные дугою, посередь бровей камушек подвешен, прозрачный, от свечи синеватый. По бокам от бровей — виски, на висках кольца височные, плетеные, цветные, а поверх бровей лба нетути, а только волос золотой, винтом крученный, а над волосом — кика, и в кикю каменья малые звездой вделаны, да ленты метелью, да нити бисерные дождем — висят, колышутся, помавают, до подбородка доходят; а под подбородком, под ямочкой его, — вот сразу тулово, широкое, как сани, а по тулову — сиськи в три яруса. И-и-и-и-и! Красота несказанная, страшная; да нешто ж это Оленька? — сама царица шемаханская!

— Оленька!.. — обомлел Бенедикт. — Ты ли это? Как ты похорошела-то! Когда же это?.. Розан лесной!.. Сирена!

— Контролируй себя... — колыхнулась Оленька. А глаз не отвела.

Контролировать Бенедикт не стал, да и Оленька это больше по привычке, али сказать, для проформы молвила, так что дня три, а то, может, и четыре, а то и пять, а считай все шесть, да чего там — цельную неделю Бенедикт с Оленькой куролесил по-всякому, как бы в чаду каком, — чего вытворяли, и не упомнишь. Теща, видя дело такое, выкатила из закровов бочку кваса яичного, крепкого, хватанешь — дыха-

ние спирает, слезы из глаз; хороший квас. Буйствовали знатно, катались-валялись, в чехарду играли. На четвереньках бегали, Оленька — так, в чем родилась, а Бенедикту охота пришла на голову кикую Оленькину напялить, бисером шуршать, а к тому месту, где раньше хвост был, — колобашки прикрутить, чтоб грохоту больше было; а веревку привяжешь, колобашки нанижешь, гром стоит, — милаи вы мои, прямо гроза в начале мая; и чтоб козляком бляеть.

Потом, как бы сказать, — затишье. Суровость вступила.

ЩА

«Жил в городе Дели богатый водонос, и звали его Кандарпакету...» Читал.

Что ж теперь делать-то. И чем жить. Опять — словно тревога; словно бы себя потерял, а где, когда — не заметил. И как-то страшно. Недавно думал: богач, а спохватился — все богатства-то позади, утекли водою. Впереди — великая сушь, пустыня. Жил в городе Дели богатый водонос...

Огляделся. Тишина. Мышь не шуршит. Тихо. Потом звуки проступают: в дому — ножика мерный стук, мясо на пельмешу рубят, а вон то — звук гладкий, утробный, — тесто, знать, катают. За окном природа шумит, сама себе жалуется: зудит, скрипит; то вдруг восплачет ветром, метелью, бросит снега в

окно и снова зудит, зудит, зудит в вершинах деревьев, гнезда качает, кронами помавает. Снега глухие, снега большие; окружили терем, метут через три забора; хлев, амбары — все замечает, все укрыто бегучим, ночным, рвущимся снегом. А сердца в нем нет, в снегу-то, а ежели и есть — злое оно, слепое. Машет снег, машет, словно бы рукавами, взмечается до крыши, перекидывается через заборы, понесся по слободе, по улочкам, через плетеные тыны, худые крыши, за окраину, через поля, в непролазные леса, там деревья-то попадали — мертвые, белые, как человечесья кость; там северный кустарник можжевель иглы свои расставил: пешего ли проколоть, санного ли; там и тропки-то петлями свернулись: за ноги схватить, спеленать; там и сучья приготовлены — шапку сбить; и колючка свесилась: ворот рвануть. Ударит снегом в спину, опутает, повалит, вздернет на сук: задергаешься, забьешься, а она уж почуяла, кысь-то, — она почуяла...

...Передернулся весь, замотал головой, чтоб не думать, глаза зажмурил, уши пальцами заткнул, язык высунул да прикусил; гнать ее из мыслей, гнать ее, гнать ее!.. Тело-то у ней длинное, гибкое, головка плоская, уши прижаты... Гнать ее!.. Сама она бледная, плотная такая, без цвету, — вот как сумерки, али как рыба, али как у кота на животе кожа, меж ног... Нет, нет!.. Нет!!!

...Под когтями-то у ней чешется, все чешется... А видеть ее нельзя, нельзя видеть-то ее...

Стал стучать головой об стену, чтоб звезда в глазах просверкнула, чтоб какой-никакой свет во тьме взблеснул, а ведь глаза, они такие: зажмуривай не зажмуривай, а под веками, в красноватом мраке, все что-то копошится, перебегает: слева направо то волосы какие торопливые промелькнут, то рябь загляшет, и не прогнать ее, то предмет какой выбежит непрошенный и будто ухмыляется, а потом сам раз! — и растает.

Отожмурил глаза; пошли колеса красные да желтые вертеться, голова закружилась, а она уж тут, ее и с раскрытыми глазами видишь! Причмокивает немножко, и лицо скривила...

Ногами стал тупать: туп! туп! туп! туп! Руками махать, потом в волосья руки запустил и дернул! Еще! Э-э-э-э-э-э-э-э-э!!! — закричал. — Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э!!! Жил в городе Дели богатый водонос, и звали его Кандарпакету!!! Жил богатый водонос, жил богатый водонос! Жил — жил, жил — жил, жил богатый водонос! Да разлюлюшечки мои! Да тритатушечки мои! Да богатый водонос, да разбогатый водонос!

Сейчас наподдать бы кому, страх и злобу сорвать; то ли Оленьку отлупить — вот тебе колобашки! — а не то разбежаться да теще поджопник вдарить: пусть потом два часа колышется!..

Побежал по лестнице вниз, не разбирая дороги, горшок с цветком своротил, с тестем столкнулся, крикнул:

— Книги кончились!!! Тудыты!..

— Тудыты!!! — отозвался тесть как эхо, засверкал

глазами, топнул, торкнул Бенедикту в руки — откуда ни возьмись — крюк двуострый, рванул дверь чулана — швырнул Бенедикту балахон; оболочко Бенедикта, ослепило на мгновение, но прорези сами пали на глаза, все видать как через щель, все дела людские, мелкие, трусливые, копошливые; им бы супу да на лежанку, а ветер воет, вьюга свищет, и кысь — в полете; летит, торжествуя, над городом; «Искусство гибнет!» — вскрикнул тесть; сани разворачивало на поворотах с визгом; красным огнем полыхают наши балахоны в метельном вое, — поберегись! — красная конница бурей летит через город, и два столба света, светлая сила, исходят из тестевых глаз, освещая путь; надежда, защита, напор — отступает кысь, не дадимся, нас много! — вперед, санитары, искусство гибнет! — в распахнутой двери избы белые оладьи перепуганных лиц, — а, обоссались со страху?! — книгу! Книгу! — голубчик визжит, заслоняется локтем, выставил ногу, мечутся тени, держи его!!! в печь сует!!! — а-а, искусство жечь?! — крюком, крюком; «Поворачивай!» — дикий крик тестя, али другого кого, не видать под балахоном; «Поворачивай крюк-то, тудыть!» — повернул, дернул, лопнуло, потекло, закричали, вырвал книгу, к сердцу прижал, трепеща, — живу!!! — оттолкнул ногой, прыжком вылетел в метель!

...Бенедикт плакал, лежа в постели, жидкие слезы текли неостановимо, теща меняла подушки,

тесть велел бабам ходить на цыпочках, говорить вполшепота и не беспокоить больного тревожными расспросами. Сам сидел у Бенедикта на постели, с краешку, поил тепленьким, нависал, качал головой, сокрушался.

— Ну как же ты, а? ну что ж ты какой неловкий... говорил тебе: крюк осторожно поворачивай, лёгонько так... От плеча, от плеча... А ты вон как: хрясь! — да и все тут.

Бенедикт давился слезами, тихо, тоненько выл, ослабевшие пальцы дрожали, чувствуя холод и увертливость крюка, хотя никакого крюка уж в пальцах и не было, а только кружка с канпотом.

Не было — а вроде как и был, рука до локтя чувствовала хруст, вот как жука давишь: вместо того чтоб захватить книгу, да дернуть, да вырвать — попал голубчику прямо по шее, по шейной жиле, а как крюк-то повернул неловкими пальцами, — жила и выдержись, и потекло, черное такое, и голова на сторону, и в глазыньках-то потухло, и изо рта его тоже как бы срыгнулось.

Никогда Бенедикт не убивал людей, али сказать голубчиков, и не думал даже; побить-поколотить — это дело другое, домашнее, каждодневное; ты его, да и он тебя, вот и квиты, ну синяк там, вывих — все как водится. Да и прежде чем бить голубчика, надо на него распалиться, тяжесть на сердце накопить, угрюмство, чтобы синяк али вывих это угрюмство уравновесили, вот как на весах взвешивают: сюда

товар, сюда гирыки, — вот тогда дашь кулаком наотмашь — и справедливо.

А этого голубчика, что он задавил-то, он и не знал прежде, и в глаза не видывал, не распаялся на него, ничего не имел против, — живет и пушай себе живет, репу садит, с бабой своей беседует, детушек малых на коленке качает.

А просто книгу хотел отнять, потому что отсталость в обществе большая, народ темный, суевренный, книги под лежанкой держит, а то в ямку сырую закапывает, а книга от того гибнет, гниет, рассыпается, зеленью подергивается, дырками, червоточинной; книгу спасать надо, в месте сухом и светлом содержать, холить и лелеять, беречь и целовать, — другой не будет, другой взять неоткуда, древние люди, что книгу эту написавши, сошли на нет, вымерли, и тени не осталось, и не вернутся, и не придут! Нету их!

А они, голубчики наши темные, — вона! — ни себе, ни людям, попрятали книги и гноят, и нипочем не признаются, что, мол, книга у него запрятана, а отсталость большая и Болезни боятся, а Болезнь тут ни при чем, Бенедикт тыщу книг прочитал — и здоров.

А на голубчика он не распаялся, это все водонос из Дели, а звали его Кандарпакету, это все тесть — подбил под руку, подсунул крюк не вовремя, когда сердце ослепло, когда снег бесновался да дальнийшой разума лишил!.. А вот, а вот что она делает с

людьми: лишает разума, летит в метели, голодная, бледная, и себя не слышишь, и в глазах звездные колеса, и рука не туда поворачивает: хрус! — и потекло.

...А книгу уберег. Книга! сокровище мое несказанное! жизнь, дорога, просторы морские, ветром овеянные, золотое облако, синяя волна! Расступается мрак, далеко видать, раскрылась ширь, а в ширитой — леса светлые, солнцем пронизанные, поляны, тюльпаном усыпанные, ветер весенний зефир ветку качает, белым кружевом помавает, а то кружево повернется, веером раскроется, а в нем, как в чаше какой узорной, Княжья Птица белая, рот красный, невинный: не ест, не пьет Птица Паулин, только воздухом живет да поцелуями, ни вреда от нее никакого, ни беды не бывает. А улыбнется Княжья Птица тюльпановым ртом, возведет светлые очи горе — все о себе пресветлой думает; опустит очи долу — все собой любит. А увидит Бенедикта и скажет: поди сюды, Бенедикт у меня всегда весна, у меня всегда любовь...

— Золотой ты мой человек... сердце твое золотое... — сокрушался тесть, — ведь учил тебя, учил... Экой ты... Поворачивай, говорил, крюк-то, поворачивай... Говорил я тебе? Говорил! А ты?.. Что надедал-то...

Тесть качал головой, сидел пригорюнившись, подпершись рукою, глядел с укоризной.

— Поспешил, да? Вот и поспешил... человека не

уберег.. Теперь уж его и не вылечишь! Разве теперь вылечишь?.. А?.. — Тесть низко склонялся, светил Бенедикту в глаза, дышал нехорошим запахом изо рта.

— Нечаянно я! — тоненько визжалось Бенедикту сквозь слезы. Слова сами писком выходили. — Напугала она меня!

— Кто напугал?

— Да кысь-то!.. Напугала! Я и промахнулся!

— Идите себе, бабы, — гнал тесть. — Зять расстроен, вишь, незадача у него какая вышла. Переживает. Не путайтесь под ногами. Канпоту еще давайте. Каклет несите белых, мягких.

— Не хочу-у-у!

— Надо. Надо покушать-то. Бульончику тоже. Вон как сердцу у тебя... бьется как... — Тесть рукой трогал сердце Бенедикту, общупывал твердыми пальцами.

— Не трожьте! Оставьте меня!

— Что значит оставьте. Я ж медицинский работник. Состояние мне твое знать надобно? — надобно. А то смотри: дрожишь весь. Ну-ка, давай. Ну-ка, вот так. Ам! Ну-ка еще.

— Книгу...

— Эту, что изъяли-то?.. Не волнуйся. У меня книга.

— Дайте...

— Нельзя тебе, нельзя! Что ты? — лежи. Волнение очень большое. Разве можно самому? Я тебе вслух

почитаю. Книга хорошая... Книга, мил человек, самый наипервейший сорт...

И Бенедикт лежал укутанный, давился бульоном и слезами, а тесть, осветив страницы глазами, водя пальцем по строчкам, важным, толстым голосом читал:

Ко-мар пи-щит,
Под ним дуб тре-щит,
Виндадоры, виндадоры,
Виндадорушки мои!

Поросеночек яичко снес,
Куропаточка бычка родила,
Виндадоры, виндадоры,
Виндадорушки мои!

Села баба на баран,
Поехала по горам,
Виндадоры, виндадоры,
Виндадорушки мои!..

ЦИ

У Феофилакта брали, у Бориса брали, у Евлалии — две. Клементий, Лаврентий, Осип, Зюзя, Револют — к этим зря ездили, ничего не нашли, одни обрывки. У Малюты в сараюшке три книги закопа-

ны, все черными пятнами пошѣдцы, ни слова не разберешь. Вандализм... Клоп Ефимыч, — кто бы мог подумать? — сундук цельный держал, и на виду, две дюжины сухих и чистых. А только ни слова по-нашему, а значки неведомые: крюки да гвозди гнутые. У Ульяны — только с картинками. Мафусаил и Чурило, близнецы, за рекой жили, мышей в рост давали, — одна, маленькая, рваная. Ахметка спалить успел: спугнули... Зоя Гурьевна спалила. Авенир, Маккавей, Ненила-заика, Язва, Рюрик, Иван Елдырин, Сысой — у этих ничего. У Януария, знать, было когда-то, да делось невесть куда, а только в чулане все стены картинками увешаны, а на картинках бабы срамные.

Мрак.

— Сколько ж гадости в народе, — говорил тесть, — ты подумай. Ведь когда еще было сказано: книг дома не держать! Сказано? — сказано. А нет, держат. Все по-своему хотят. Пноят, пачкают, в палисаде за-капывают. Чуешь?

— Да, да.

— Дырки проковыривают, страницы рвут, на цигарки сворачивают...

— Ужасно, не говорите!..

— Вместо крышек на суповые горшки кладут...

— Не травите душу! Слышать не могу!..

— То слуховое окно книжкой заткнут, а дождь пойдет, листы-то и расползутся ровно каша... А то в печную трубу сунут — сажа, копоть страшенная, а

потом пых! — и сгорела... А есть которые дрова жалеют, книжками печи топят...

— Молчите, молчите, не надо!..

— А есть такие, — слышь, зять? — есть которые листов нарвут да в нужный чулан снесут, а там на гвоздок-то для надобностей своих навесят... А надобности их известные...

Бенедикт не выдерживал, вскакивал с тубарета; запустив руки в волосы, бегал по горнице: в сердце узел тесный, в душе сумятица и кривизна, будто наклон какой, будто пол под ногами накренился, как во сне, и вот сейчас, сейчас все с него покатится в бездонную яму, в колодец, не знай куда. Мы тут сидим себе али на лежанке лежим в теплом тереме, все у нас чисто и культурно, с кухни блинами пахнет, бабы у нас степенные, белые, румяные, в бане распарены; сами расфуфырены: бусы, да кокошники, да сарафаны с лентами, да юбки, да вторые, да третьи, да еще что придумали: шали надели с шорохом, белые, из пера кружевного, чистого, узорчатого; — а там, в городке-то, голубчики в неметеных избах, в копоти да срани своей неизбывной, с побитыми рылами, со взорами мутными хватают книгу, пальцев не обтеревши; рвут с треском, вырывают листы — поперек, пополам; отрывают ноги коням, головы красавицам; скомкав, швыряют морские ладьи в прожорливый огонь; свертывают, давя, белые дороги в сигарку: завивается путь сизым дымком, трещат, погибают цветущие кусты; под корень срублен-

ное, со стоном валится дерево Сирень, валится бере-
за золотая, вытоптан тульпан, загажена тайная по-
ляна; с диким криком, с разорванным ртом валится
с ветвей Княжья Птица Паулин — ноги кверху да го-
ловой об камень!

Сожжешь — не вернешь, убьешь — не воротишь;
что бы вынес ты из горящего дома?.. Я-то? Ай не
знаете? А еще Истопник! А то спрашивал загадку,
али, говорит, дилемму: кабы выбирать, что б ты вы-
тащил: кошку али картину? Голубчика али книгу?
Вопросы! Еще вроде как мучился, сумлевался, голо-
вой качал, бородой крутил!.. «Не могу решить, трис-
та лет думаю...» Кошку, прям! Кошке, али, по-науч-
ному, коту, — ему наподдать надо, чтоб как плевок
летел, чтоб под ногами не путался, чтоб работу свою
знал: мышей ловить! а не картину!.. Голубчики?! Го-
лубчики — прах, труха, кало, дым печной, глина, в
глину же и возвернутся. Грязь от них, сало свечное,
очески...

Ты, Книга, чистое мое, светлое мое, золото певу-
чее, обещание, мечта, зов дальний, —

О, призрак нежный и случайный,
Опять я слышу давний зов,
Опять красой необычайной
Ты манишь с дальних берегов!..

Ты, Книга! Ты одна не обманешь, не ударишь, не
обидишь, не покинешь! Тихая — а смеешься, кри-

чишь, поешь; покорная — изумляешь, дразнишь, заманиваешь; малая — а в тебе народы без числа; пригоршня буковок, только-то, а захочешь — вскружишь голову, запутаешь, завертишь, затуманишь, слезы вспузырятся, дыхание захолонет, вся-то душа, как полотно на ветру, взволнуется, волнами восстанет, крылами взмахнет! А то чувство какое бессловесное в груди ворочается, стучит кулаками в двери, в стены: задыхаюся! выпусти! — а как его, голое-то, шершавое, выпустишь? какими словами оденешь? Нет у нас слов, не знаем! Как все равно у зверя дикого, али у слеповрана, али русалки — нет слов, мык один! А книгу раскроешь — и там они, слова, дивные, летучие:

О, город! О, ветер! О, снежные бури!
О, бездна разорванной в клочья лазури!
Я здесь! Я невинен! Я с вами! Я с вами!..

...али желчь, и грусть, и горесть, и пустота глаза осушат, и тоже слов ищешь, а вот они:

Но разве мир не одинаков
В веках, и ныне, и всегда,
От каббалы халдейских знаков
До неба, где горит звезда?

Все та же мудрость, мудрость праха,
И в ней — все тот же наш двойник:

Тоски, бессилия и страха
Через века глядящий лик!

Бенедикт выбегал на галерею, смотрел с верхотуры на слободу, на городок, на горки его и низины, на тропы, протоптанные между заборами, на занесенные снегом улицы; дуло и шуршало снегом, с шорохом сыпалось с крыши за ворот. Стоял вытянув шею, вертел головой туда-сюда, всматривался, смаргивал иней: у кого спрятано? У кого — в тряпице на печи, в ящичке под лежанкой, в ямке земляной, в берестяном коробе, — у кого? Знать бы!.. Ведь есть же, есть, есть!.. Знаю, что есть, вот чую, нюхом чую: есть! — только у кого? Щурясь, всматривался в слепой полумрак: сумерки, зажигаются огоньки в избах; поспевают-семят там внизу людишки, бегут-торопятся в печное тепло, на лавку да за суп за свой, жидкую мышиную похлебочку... Как и едят-то дрянь такую, как и не противно-то?.. Чуть темная водица — вот как ноги помоешь, такого цвета... Малые тушки на дно осевши, червярями для солёности приправлено... Народный анчоус... Никита Иваныч так червяря звал... Жив ли старик-то? А проведать его... Может, книга у него есть? Может, почитать даст? — и лечить его не надо, сам даст...

А была б моя воля — весь город перетряхнул бы: сдавай книги, тудыты! А тесть не дает, сдерживает: умерься, зять, всех лечить заберем — кто работать будет? Дороги чистить, репу садить, туеса плести?

Подход у тебя негосударственный: все норовом! Все рывком! да сразу! да сейчас! — так только народ перепугаешь, разбегутся! Ты мышей ловил? Науку знаешь? — то-то!..

Верно, ловил в свое время. Прикармливал. Да. Разбогател даже на час. А потом? — сошло все, как и не бывало! От всего богатства — одни ватрушки, и те подгоремши!

А ноги бы надо размять. В зверинец зашел. Бескультурье... Запах такой звериный, тяжелый. Козляки блеют. Тетеря с приятелями, как всегда, в карты режутся:

— А мы вам вальта!

— А мы его червонцем!

— Спятил, что ли?

— А козырная!

— Что ж, что козырная? Червонец прошел! Скинули червонец-то! Жулит он, ребята!

Как всегда — ни навоз не убрали, ничего.

— Тетеря! Поди сюда. Запрягайся.

— Погоди, доиграем.

— Что значит погоди? У тебя отдых был — предостаточно.

— Тэк-с... Бабец и еще бабец! Вот вам!

— Тетеря!

— У меня пересменка... Берешь? — и вальта тебе в придачу.

— Тетеря!!! — затопал ногами Бенедикт.

головы гадить! Ведь до чего птица мусорная! И мясо у нее мусорное, жилистое, это уж только перерожденцев кормить, а люди не едят. И в лесу она жить не хочет, а только в городе, блядуница эта.

В дальней клетке, где дерево голое, сук голый тож, — никого не видать. Кто в ней жилец — незнамо. А он в дупле. А может, и нету никого: клетка чистая, ни помета, ни перьев. А может, съели его.

...Эвон, деревяницу-то съели! А он и не заметил, читамши. Так он и не разглядел ее толком. Теперь когда еще другую поймают. Она в руки не дается, деревяница.

— Поехали, — поторопил Тетеря. — Мерзну.

— Будешь, тварь, еще мне указывать! Надо — так и померзнешь!

Ногой пнул гадину в бок, в сани сел, медвежьей шкурой укрылся.

— Пшо-о-ол! Галопом — и с песнями!

ЧЕРВЬ

...Никита Иваныч и с ним другой Прержний, Лев Львович, из диссидентов, сидели за столом и пили ржавь. Видать, давно пили и набрались хорошо: личики красные, бормочут чепуху.

Бенедикт снял шапку.

— Доброго здоровьичка.

— Бенья?! Бенья! Да ты ли это?! — Обрадовался, за-

суетился. — Сколько лет, сколько зим! Нет, правда? Год, два?.. С ума сойти... Знакомы? Бенедикт Карпов, наш скульптор, народный Опекушин.

Лев Львович посмотрел с сомнением, будто и не узнал, будто сам когда-то пушкина нести не помогал; личико покривил:

— Кудеяровых зять?

— Ага.

— Слышал, слышал про ваш мезальянс.

— Спасибо, — поблагодарил Бенедикт. Даже расстрогался. Слышали, значит.

Сел, Прежние подвинулись. Теснота, конечно. Вроде избушка с прошлого раза меньше стала. Свечка чадит, натекает, тени пляшут. Стены закопченные. На столе тоже нищета: жбан, да кружки, да горошку тарелка. Налили Бенедикту.

— Ну, что же ты?.. Как?.. Ну ты подумай... А мы сидим вот, выпиваем... О жизни беседуем... О прошлом... То есть, конечно, и о будущем тоже... Вот о Пушкине нашем... Как мы его ваяли, а? Как воздвигали! Какое событие! Эпохальное! Восстановление святынь! Историческая вежа! Теперь он снова с нами. А ведь Пушкин, Бенья, Пушкин — это наше все! Все! Вот ты об этом подумай, запомни и усвой... Но — представляешь, жалость какая. Он уже требует реставрации...

— Чего он требует?!.. — привстал Бенедикт.

— Чинить, чинить его надо! Дожди, снег, птицы... Вот если б он был каменный! О бронзе я уж молчу, до

бронзы еще дожить надо... И потом, народ — народ совершенно дичайший: привязали веревку, вешают на певца свободы белье! Исподнее, наволочки, — дикость!

— Да вы ж сами хотели, чтоб народная тропа не зарастала, Никита Иваныч! А теперь жалуетесь.

— Ах, Боже мой, Бенья... Ну это же в переносном смысле.

— Пожалуйста, перенесем куда скажете. Холопов пригоню. На санях тоже можно.

— О Боже мой, Господи, царица небесная...

— Нужен ксерокс. — Это Лев Львович, мрачный.

— Не далее как сто лет назад вы говорили, что нужен факс. Что Запад нам поможет. — Это Никита Иваныч.

— Правильно, но ирония в том...

— Ирония в том, что Запада нету.

— Что значит нету! — рассердился Лев Львович. — Запад всегда есть.

— Но мы про это знать не можем.

— Нет уж, позвольте! Мы-то знаем. Это они про нас ничего не знают.

— Для вас это новость?

Лев Львович еще больше помрачнел и ковырял стол.

— Сейчас главное — ксерокс.

— Да почему же, почему?!

— Потому что сказано: плодитесь и размножайтесь! — Лев Львович поднял длинный палец. — Размножайтесь!

— Ну как вы мыслите, — Никита Иванович спрашивает, — ну будь у вас и факс и ксерокс. В теперешних условиях. Предположим. Хотя и невероятно. Что бы вы с ними делали. Как вы собираетесь бороться за свободу факсом? Ну?

— Помилуйте. Да очень просто. Беру альбом Дюрера. Это к примеру. Черно-белый, но это не важно. Беру ксерокс, делаю копию. Размножаю. Беру факс, посылаю копию на Запад. Там смотрят: что такое! Их национальное сокровище. Они мне факс: верните национальное сокровище сию минуту! А я им: придите и возьмите. Володейте. Вот вам и международные контакты, и дипломатические переговоры, да все что угодно! Кофе, мощные дороги. Помните, Никита Иванович... Рубашки с запонками. Конференции...

— Конфронтации...

— Гуманитарный рис шлифованный...

— Порновидео...

— Джинсы...

— Террористы...

— Обязательно. Жалобы в ООН. Политические голодовки. Международный суд в Гааге.

— Гааги нету.

Лев Львович сильно помотал головой, даже свечное пламя заметалось:

— Не расстраивайте меня, Никита Иванович. Не говорите таких ужасных вещей. Это Домострой.

— Нет Гааги, голубчик. И не было.

Лев Львович заплакал пьяными слезами, стукнул кулаком по столу — горошек подскочил на тарелке:

— Неправда! Не верю! Запад нам поможет!

— Сами должны, собственными силами!

— Не первый раз замечаю за вами националистические настроения! Вы славянофил!

— Я, знаете...

— Славянофил, славянофил! Не спорьте!

— Чаю духовного возрождения!

— Самиздат нужен.

— Но Лев Львович! Но самиздат у нас и так цветет пышным цветом. Вы же сами в свое время настаивали, не правда ли, что это основное. И вот, пожалуйста, — духовной жизни никакой. Значит, не в том дело.

— У меня жизнь духовная, — кашлянув, вмешался Бенедикт.

— В каком смысле?

— Мышей не ем.

— Ну и?..

— В рот не беру. Только птицу. Мясо. Пирожок иногда. Блины. Грибыши, конечно. Соловей «маршаль» в кляре, хвоци по-савойски. Форшмак из снегирей. Парфэ из огнецов а ля лионнэз. Опосля — сыр и фрукты. Все.

Прежние молчали и смотрели на него в четыре глаза.

— А сигару? — осклабился наконец Лев Львович.

— Цыгару курить в другую палату переходим. К

печке. Теща моя, Феврония, за столом не велит.

— Помню Хавронью, — заметил Лев Львович. — Папашу ее помню. Дебил. Дедушку. Тоже был дебил. Прадедушка — тоже.

— Совершенно верно, — подтвердил Бенедикт. — Стариннейшего рода, из французов.

— Плодились и размножались, — захихикал пьяненький Никита Иваныч. — Вот вам! А? Лев Львович!

— А вот вам ваш духовный ренессанс, Никита Иваныч!

Налили ржави.

— Ну ладно... За возврат к истокам, Лев Львович!

— За вашу и нашу свободу!

Выпили. Бенедикт тоже выпил.

— Отчего бы это, — сказал Никита Иваныч, — отчего это у нас все мутирует, ну все! Ладно люди, но язык, понятия, смысл! А? Россия! Все вывернуто!

— Не все, — поспорил Бенедикт. — Вот разве если сыру съешь, то да, внутрих мутирует и выворачивает. А если пирожок — то ничего... Никита Иваныч!.. А я к вам с подарком.

Бенедикт пошарил за пазухой и вынул, в чистую тряпицу завернутые, «Виндадоры» — жалко было, по-честному, до слез, но — нельзя же без приношения.

— Вот. Это вам. Книга.

Никита Иваныч изумился, Лев Львович всполошился:

— Это провокация!.. Никита Иваныч!..

— Это стих, — пояснил Бенедикт. — Здесь все про нашу жизнь в стихах. Вы вот спорите, сейчас подеретесь, — а вы читайте. Я наизусть выучил. — Бенедикт завел глаза в темный потолок — а так всегда вспоминать легче, ничего не отвлекает: «Поросеночек яичко снес! Куропаточка бычка родила! Виндадоры, виндадоры...»

— Не надо, — попросил Лев Львович.

— Сами любите? Я тоже больше сам, глазами... чтоб никто не мешал... Канпоту себе нацедишь — и читать!

— Где взял? — поинтересовался Никита Иваныч.

Бенедикт выразил неопределенность: челюсть выдвинул вперед, рот завинтил, будто для поцелуя, брови поднял повыше, сколько кожа позволила, и глаза скосил на плечо; руками тоже пошевелил туда-сюда в разных направлениях.

— Взял... и взял. У нас вообще библиотека большая.

Налили еще ржави; Прежние на Бенедикта не смотрели, да и друг на друга не смотрели, а в стол.

— Спецхран, — сказал Лев Львович.

— Духовная сокровищница, — поправил Никита Иваныч.

— Но я уже все прочел, — сказал Бенедикт. — Я, это... с просьбой. Может, у вас что почитать найдется, а? Я аккуратно... ни пятен, ничего. Я книгу уважаю.

— У меня книг нет, — отрекся Никита Иваныч. Правда нет, ай врет?..

— Я могу свои дать, на время... Вроде как в обмен... Если вы осторожно... Оберните там чем-нибудь... тряпицей, ветошью... У меня книги хорошие, ни Болезни от них, ничего...

— Межбиб с Левиафаном, — сказал Лев Львович. — Я бы не связывался.

— У вас фаза конспирации... Где же ваш демократизм?

— Не надо кооперироваться с тоталитарным режимом...

Бенедикт переждал, пока Прежние закончат свою тарабарщину.

— Дык как, Никита Иваныч?

Никита Иваныч руками сделал вид, что не слышал. Еще браги налил. Хорошо пошла...

— У меня интересные, — соблазнял Бенедикт. — Про баб, про природу... наука тоже... всякое сообщают... А вот вы про свободы говорите — так и про свободы пишут, про что хочешь пишут. Учат, как свободу делать. Принести? Но только чтоб аккуратно.

— Но?.. — заинтересовался Лев Львович. — Чья книга?

— Моя.

— Автор, автор кто?

Бенедикт подумал.

— Сразу не вспомню... На «Пле» как-то...

— Плеханов?

— Не...

— Неужто Плевев?

— Не, не... Не сбивайте... А! — «Плетення». Да! «Плетення жинкових жакетов». «При вывязывании проймочки делаем две петли с накидом, для свободы движения. Сбрасываем на правую спицу не провязывая».

— Вязать-то у нас всегда умели... — осклабился Лев Львович.

— Так я привезу? Одобряете?.. — привстал Бенедикт.

— Не стоит, юноша.

Бенедикт слукавил: он и сам не очень любил читать «Плетення» — скучноватый эссе; но думал, может, Прержним подойдет, кто их знает. Сам он больше любил «В объятиях». Накурили, однако, — невпродых. Бенедикт, раз уж встал, толкнул дверь — впустить выюжного воздуху. А заодно и за Тетерей присмотреть: не допустил ли своеволия, не забрался ли в сани — там же шкура медвежья, а скотина другой раз что делает: заберется под шкуру греться, а после проветривай ее! Дух от перерожденца тяжкий: навоз, сено, ноги немытые. Нет, не забрался, но что делает: встал на ноги, валенок с руки снял и на столбе, где «Никитские ворота» написано, выцарапывает матерное.

— Тетеря!!! — гаркнул. — Ах ты погань волосатая!.. Все вижу!

Сию же минуту юркнул назад, на четвереньки, как будто ничего такого и не делал, и ногу задрал на столб: дескать, а что? просто облегчаюсь, как водится. Пысаю.

— С-с-скотина...

Никита Иваныч выглянул из-за Бенедиктова плеча.

— Бенья! Но что же вы не приглашаете своего товарища в дом? Боже мой, и в такой мороз!..

— Товарища?!.. Никита Иваныч! Это ж перерожденец! Вы что, перерожденца не видели?!

Лев Львович — а не полюбил он Бенедикта: взгляды бросал как бы презрительные и рот держал скривимши на сторону — тоже поднялся из-за стола, толпился за спиной Истопника, заглядывал. Бормотал: «чудовищно, эксплуатация»...

— Зовите, зовите в дом! Это бесчеловечно!

— Дак он и не человек! У человека валенок на руках нету!

— Шире надо смотреть! И без него народ неполный! — назидал Лев Львович.

— Не будем спорить о дефинициях... — Старик заматывал горло шарфом. — Мы-то с вами кто... Двухное без перьев, речь членораздельная... Пустите меня, я пойду приглашу... Как его зовут?

— На Тетерю откликается.

— Ну, я не могу так взрослого... По отчеству как?

— Петрович... Да не сходите с ума, побойтесь Бога-то, Никита Иваныч!!! Перерожденца — в избу! Опоганит! Стойте!..

— Терентий Петрович! — склонился в сугроб Истопник, — сделайте милость! В избу пожалуйте! К столу, погреться!

Ополоумевшие Преподобные выпрягали перерожденца, снимали оглоблю, заводили в избу; Бенедикт плюнул.

— Вожжи ваши позвольте, я помогу... На гвоздь вешайте...

— Шкуру попрут! Шкура без присмотра! — кинулся к саям Бенедикт, и вовремя: двое голубчиков уже сворачивали медвежью шкуру в ковер, взваливали на плечо, а и всякий бы так сделал, — что же: посередине улицы такое добро без хозяина распластамши! Завидев Бенедикта, бросились с ковром в переулок. Догнал, побил, отбил добро, запыхался. У-у, ворье!

— ...я домой пришел, все культурно, полы польским лаком покрыты! — разорялся пьяный Тетеря. — Разулся, сразу в тапки, по ящичку фигурное катание Ирина Роднина! Двойной тулуп... Майя Кристалинская поет. Тебе мешала, да?

— Я... — возражал Лев Львович.

— Я, я! Все «я»! «Я» — последняя буква алфавита! Распустились при Кузьмиче, слава ему! Всех распустил, карла грёбаный! Книжки читают, умные все стали! Небось при Сергеиче бы не почитали!..

— Но помилуйте!.. позвольте! — рвались наперебой Лев Львович с Никитой Иванычем, — при Сергей Сергеиче был полный произвол!.. — потоптал права личности!.. — аресты среди бела дня!.. — вы забыли, что больше трех запрещали собираться?.. — ни пить, ни курить на улицах!.. комендантский час!.. — а что было, если опоздаешь на пересчет?!.. — а форма одежды?..

— При Сергеиче порядок был! Терема отстроили! Заборы! Никогда выдачу со Склада не задерживали! Пайки на праздники, у меня паек пятой категории был, и открытка от месткома!..

— Вы путаете, вы путаете, открытки — это было до Взрыва!.. Но, — вспомните, — еще каких-нибудь сорок лет назад запрещали частный излов мышей!

— ... кооператив в Скообл... в Свиблове, — заплелся языком Тетеря, — от метро пять минут. Район зеленый, понял? Мы не рабиновичи, чтоб в центре жить!.. И правильно вас всех сажали!

— Позвольте... мы же говорим о Сергей Сергеиче!..

— ...очки напялят и рассуждать! Не позволю... крапивное семя! Вдарить монтировкой... Не тряси борода-о-ой! Абрам! Ты абрам! Тебе от государства процент положен, и соблюдай!.. е-мое... а не с иностранцами хвостом вертеть...

— Но...

— Расплодились, бля! Два процента вам быть велено!.. чтоб у трудового народа на шее не засижи-

вался!.. Кто все мясо съел? Эпштейн! А?! Сахар скупили, а мы белое из томат-пасты гони, да? Так?.. Питлер ты! Жириновского на тебя нет!

— Но...

— ...сыну костюмчик васильковый чистсшщч... чистошерстяной!.. А ты сговорился Курилы Рейгану продаты!.. Ни пяди!..

— Терентий Петрович!

— Сказал: ни пяди!.. Курилы не отдадим... А столбы свои в задницу себе засуны! Развели музей в государстве, паразиты! Бензином вас всех... и спичку!.. и пппппарламент ваш, и книжки, и академика Ссссссахарова! И...

— А вот тебе, скотина! — вдруг ударил наотмашь багровый Лев Львович. — Не трогай Андрей Дмитрича!!!

Никакого Андрей Дмитрича в избе не было; а это бывает, когда лишку выпьешь: в глазах все как бы двоится, и из углов фигуры неведомые али лица смотрят; смигнешь — и нету их.

— Мерзавец! — кричал и Главный Истопник. — Вон отсюда!

— Не тро-ожь! — бушевал Тетеря, отбиваясь мохнатыми локтями. — Русских бью-у-ут!

— Урка!.. Беспредел!.. Вяжи его!

Повалили стол, покатился жбан; Бенедикт тоже накинудся, помогал вязать вожжами пьяную скотину; скрутили, выбросили наружу, наподдали пинка напоследок.

— ...в Свиблове смеситель хромированный стоял! — неслось из метели. — А у вас ничего на хер не стоит, у пидарасов!..

Если этот смиренный, каков же Потап?

ША

Вздываются светлые мысли
В растерзанном сердце моем,
И падают светлые мысли,
Сожженные темным огнем...

— При Сергей Сергеиче порядок был, — сказал Бенедикт.

— А то! — отозвался тесть.

— Больше трех не собирались.

— Ни в коем случае.

— А сейчас все умные стали, книги читают, распустились. Федор Кузьмич всех распустил, слава ему.

— Золотые слова! — обрадовался тесть.

— Сергей Сергеич заборы отстроил, а сейчас что?

— Верно!

— Всюду дыря, плетень повален, народная тропа укропом поросла!

— И не говори!

— Самая пустая трава, ни вкусу от нее, ни запаху!

— Ни самомалейшего.

— На пушкина исподнее вешают, наволочки, а пушкин — наше все!

— Все до нитки.

— Это ж он стихи написал, а вовсе не Федор Кузьмич!

— Ни в коем разе.

— Он выше александрийского столпа!

— И-и, мил человек, куда до него столпу!

— А Федор Кузьмич, слава ему, мне по колено ростом будет! А туда же — Набольший Мурза, долгих лет ему жизни! Оленьке на коленки садится, как у себя дома!

— Ну, ну!..

— А что «ну»?..

— Думай дальше!

— Чего думать?

— Что тебе сердце подсказывает?..

Ничего сердце Бенедикту не подсказывало, темно было в сердце, как в избе зимой, когда свечи все вышли, на ощупь живешь; была где-то свечка запасная, да поди найди ее в кромешном мраке!

Шаришь, шаришь руками, а руки-то — они слепые, пугливые: найдешь невесть чего, обтрогаешь не видючи, душа-то и обомрет: что это?! А?! Отроду такого в избе не водилося! Что это?!

Со страху все внутри вдруг как оборвется! Отбросишь это, чего общупывал-то... Стоишь замерев, вздохнуть боишься... Боишься шагнуть... Думаешь: сейчас ступлю, да и попаду ногой на ЭТО...

Осторожно... бо-о-оком... по кра-а-аешку... по стеночке... туп, туп — и выберешься к двери. Рванешь дверь — и бежать без оглядки!

...Рухнешь под деревом али у забора; все внутри колотится. Теперь надо побираться, огня искать, свечку, может, у кого выпрашивать. Вот если дадут свечку-то — уже легче, не так страшно; вернешься в избу, смотришь, чего это было такое, — а ничего вроде и нет.

Нету ничего.

А это, бывает, соседи шутят, забавники: пока тебя нет, подложат тебе незнаком чего, чтоб ты со страху разумом повредился; а пока ты туда-сюда бегаешь, огня добываешь, они это-то, чего подсунули, и заберут, вот и нету ничего, и не узнаешь, что это было-то.

Сердце ничего не подсказывало, а голова — да, голова подсказывала, на то в ней и разум, в голове, — а подсказывала она, что давно еще, еще до свадьбы, — йэх! когда это было-то! — когда был еще Бенедикт юношей диким, некультурным, необразованным был молокососом, с хвостом и без понятий, — видел он у Варвары Лукинишны книгу. Теперь уж и не вспомнить, какая то была книга, большая или малая, и как называлась: от страху, с непривычки ничего он тогда не понял, а только и понял, что страшно.

Теперь-то, конечно, как человек образованный, тонкий, можно сказать искушенный, он бы оценил

сокровище: общупал бы, обвертел, посчитал, сколько страниц и каковы букочки: мелкие али крупные; и надолго ли хватит читать; и, прочитавши, на которую полку, целую, ее ставить.

Теперь-то, трепетный, умудренный, он уж знал, что книга — нежная подруга, белая птица, маков цвет — боится воды.

Милая! Воды боится, огня боится, от ветра трепещет; корявые, грубые пальцы человеческие оставляют на ней синяки, и не пройдут они! Так и останутся!

А есть которые рук не помывши!..

А есть которые чернилом подчеркивают!..

А есть которые страницы вырывают!..

И сам он прежде был так дик и нелеп, такой кроманьон, что слюнявым пальцем протер дырку! — ...«и свеча, при которой она читала полную тревог и обмана жизнь...» — протер, болван, дырку, Господи! прости! — как если бы, чудом каким разыскав в лесу тайную поляну — всю в алых тульпанах, золотых деревах, — обнял наконец сладчайшую Птицу Паулин и, обнимая, тыкнул бы ей грязным пальцем в светлый, в самую себя влюбленный глаз!..

Барвара Лукинишна говорила, что книгу дал ей Никита Иваныч, — а вот и попался, старик, на вранье! Есть, есть у тебя книги, у старого пьяницы, где-то ты их прячешь, хоронишь, людям добрым не даешь... В избе их нету, Бенедикт ту избу знал, сиживал... В сарае нету, в сарае мы пушкина резали... В чулане — одна ржавь... В баньке?..

Бенедикт подумал про баньку и осерчал, сам почувствовал, как личико вздулось от гневливости: в баньке сыро, любая книга отсыреет. Вот ведь: приходил, просил, меняться предлагал, подарок ценнейший принес, не пожалел; сидел с ними, с Преподобными, полдня, чепуху их слушал — так нет, ввали, притворялись, за нас водили, рыло от него воротили, руками отрицание делали: нету, мол, у нас книг! нету!.. не взыщи!..

А вонючую скотину, перерожденца, за стол усадили: «да Терентий Петрович, да как вы считаете, да не угодно ли ржави...» Напоили-накормили, потом чтой-то осерчали, выкинули его на снег, как мешок... поделом, конечно, вору и мука.

Да ведь и с Бенедиктом они так же: посмеялись да и выставили несолоно хлебавши...

А еще старик-то говорил: на небе и в грудях, говорит, одно и то же, и ты это запомни. А на небе-то что? — на небе мрак, да метель, да вихри мятежные; а в летнее время — звезды: Корыто, да Миска, да Хвощи, да Ноготки, да Пупок, да сколько их еще! А все они, говорил, в книгу записаны, а книга та за семью воротами, а в той книге сказано, как жить, а только страницы все перепутаны... И буквы не наши... А ищи, говорит, — пушкин искал, и ты ищи...

Да уж я ищу, уж сколько народу перетряхнули: Феофилакт, Малюта, Зюзя, Ненила-заика, Мафусаил с Чурилой — близнецы-братья; Осип, Револьт, Евлалия... Авенир, Маккавей, Зоя Гурьевна... Януа-

рий, Язва, Сысой, Иван Елдырин... Всех крючком зацепили, по полу протащили, все за столы, за тубареты цеплялись, все истошно вопили, когда на лечение-то их забирали... Не-е-ет! — дескать, — не на-а-ада-а-а!..

А как же не надо-то — ведь сказано: книг дома не держать, а кто держит — не прятать, а кто прячет — лечить.

Потому что распустились при Федоре Кузьмиче, слава ему. А кто ж главную книгу зажал и держит, — главную-то, где сказано, как жить?.. Вот у Клоп Ефимыча были же книги с ненашими буквами — на виду, две дюжины сухих и чистых, не там ли алмазная запись?.. Да нет, говорит: за семью воротами, в долине туманной... Значит, думай, Бенедикт..

Пойти Тетерю запрячь. А чтоб не разорялся попусту, лишних слов не говорил, помалкивал в тряпочку, изготовил ему Бенедикт и тряпочку, а иначе сказать, кляп; а ветошь свернешь руликом, веревочку проденешь, да рот-то болтуну и заткнешь: меж зубов тряпочка, завязки за уши продеть. И — с Богом, га-лопом, но без песен!

— Ты куды это, Бенедикт, на ночь глядя?

— Да тут... надо мне... об искусстве поговорить...

Пускай глядит с порога
Красотка, увядая, —
Та добрая, та — злая,
Та злая, та — святая;

Что — прелесть ее ручек!
Что — жар ее перин! —
Давай, брат, отрешимся,
Давай, брат, воспарим!

А погоды нехорошие: муть в воздухе и тревога, и метели гнилые, будто с водою, а снег уж не искрится, как бывало, а как бы липнет. А на углах, на перекрестках, на площадях народ кучками — больше трех зараз — собирается, то в небо смотрит, то переговаривается, то просто стоит тревожно.

Отчего беспокой в народе?.. Вот прошли мимо двое — на личиках забота, взгляд бегаёт. Вот другие пробежали, руками машут. А вон те — каким-то разговором обменялись, да в дом, да ворота запирают. Бенедикт привстал в санях, высматривал знакомых: промелькнул, как колесо, Полтораки, да и нет его: он на трех ногах, его разве догонишь.

Вон бабу под локти ведут: сама идти не может, рукой себя в грудь бьет, вскрикивает: «Ахти мне! Да ахти мне!..» — да все оседает. Что такое...

— Константин Леонтьич!!! — крикнул Бенедикт. — Стой, Константин Леонтьич!.. О чем волнение?

Константин Леонтьич, расстроенный, без шапки, зипун не на ту пуговицу застегнут, не своим голосом:

- Только что объявили: год високосный!
- Как, опять?..

— Да-да! Мы все так расстроены... Нас пораньше отпустили.

— Отчего же это? — взволновался и Бенедикт. — Причина какая, не сказали?

— Ничего пока не знаем... Спешу, голубчик, простите великодушно... Жена еще ничего не подозревает. У нас скотина не убрана, слуховое окно забить надо, что говорить...

Торопливо пожал Бенедикту руку холодными двумя. Побежал дальше.

Вон оно что... Високосный год: жди несчастий! Волосатые звезды, недород, худой скот... Злаки в полях вырастут тощие — это если засуха; а коли, наоборот, наводнения, бури — попрут хвощи в рост, словно бы их водой раздует, вырастут выше деревьев, корнями взроют глины, на которых городок наш стоит: пойдут оползни, новые овраги... Леса обсыплет ложными огнецами; только зазеваешься — ан и чеченец нападет, а то и мамай какой! А если лето выпадет холодное, бурное, с ветрами, так, чего доброго, и гарпии проснутся! Не приведи Господь!

А отчего одни года случаются високосные, а другие — простые, обычные? Неведомо! А что делать? Ничего не поделаешь, терпеть!

А только в народе всегда волнение поднимается, злоба, неудовольствие, а почему? а потому что нет чтобы год-то этот плохой как-нибудь покороче сделать, так наоборот: нарочно издеваются, делают его длиннее. Вставляют лишний день: вот, дескать, вам!

на-ко! А ведь лишний день — это и работа лишняя, и налоги лишние, и всякая людская тягота, хоть плачь! А вставляют его, день-то этот, в феврале, и стих есть такой:

Февралы! Достать чернил и плакаты!

— ну, это про писцов, но и другие работники плачут — повара, древорубы, а уж кто на дорожные работы призван, о тех и говорить не приходится!

Но есть и такие, которые говорят: оно, конечно, так, работа лишняя, это да, но ведь и жизни прибавляется, верно? Лишний день на белом свете поживешь, лишний блин съешь, али там пирожок! Разве плохо? Так бы, глядишь, помирать надо — ан нет, еще восход встретишь, солнышко, а вечером сплясать да выпить! Только вот лучше прибавляли бы этот день не зимой, когда жить тошнехонько, а летом, в хорошую погоду.

Сейчас, прям! Жди! В хорошую! Кабы они хотели облегчение народу сделать, они бы день-то этот прибавляли не в высокосный год, а в простые, да не день, а два, ну три, а то и неделю, да объявляли бы выходной!

...Меж тем доехали до избы, где Варвара Лукинишна жила.

— Стой тут.

Тетеря помычал под кляпом, глазами поворочал.

— Я сказал: стой и молчи.

Нет, опять мычит, валенком показывает.

— Ну что тебе? Что?

Валенок снял, руку выпростал, кляп отвязал, цыкнул плевком:

— ...говорю: знаю это место.

— Ну и что? Я тоже знаю.

— Ты знаешь, как груши околачивать, а я знаю, что тут бензоколонка была.

— Мало ли где чего было.

— А где бензоколонка, там горючее. Под землей. Спичку бросить, бздык! — и летим.

Бенедикт подумал.

— Зачем?

— Не зачем, а куда. К такой-то матери.

Бенедикт открыл рот, чтобы напомнить: «закрой пасть, твое место в узде», но знал ответ и не стал нарываться на обидные грубости; у него уже и мозоль на ноге выросла от пинков, а скотине хоть бы что, пинай его не пинай, он привыкши; так что говорить он не стал, подержал рот открытым и снова закрыл, как было.

— Бензин, говорю. Тут его хоть жопой ешь... Бензин, бензин, ферштейн? — вода такая, но — горит. — Тетеря засмеялся. — Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Птички летят, колокольчики звенят... Цыгарку то оставь мне, пока ты там того-этого.

— Еще чего!

— Ну и хрен с тобой. Фашист.

Хуже собаки эти перерожденцы, собаку обмате-

ришь — ей и ответить нечего. Гав, гав — и весь ее ответ; стерпеть можно. Эти же говорят без умолку, пристают к людям. Сядешь в сани — сразу начинается: и дорога ему не такая, и переулочек паршивый, и перекресток перегорожен, и государство неправильно управляется, и мурзы не с теми рылами, и что бы он с кем сделал вот уж погода дай ему волю, и кто виноват, и как он в древности с братаном пил, и что пили, и сколько могли выжрать, и что купил, и где отдыхал, и как рыбу удил у матери в деревне, и какой у ней двор был крепкий: свое молочко, свои яички, что еще надо; и какого кота задавил, и что всех их давить надо, чтоб знали, и с какими бабами шуточки шутил, и как одна Генеральша без него жить не могла, а он ей: все, прошла любовь, не жди, не надейся, а она: нет, мое сердце разобьется, проси что хочешь; и что почем когда стоило, а послушать — так ничего не стоило, хватай да уноси; а еще замечания прохожим, а еще бабам и девушкам срамные выкрики, а опосля всего и выходит, что нет чтоб прямо ехать, а норовит кружным путем.

Теперь говорит: вода пинзин, — сама вода, а сама горит. Где же видано, чтоб вода горела? — никогда этого не бывало, и помыслить нельзя! Не сходитя вода с огнем, нельзя им; вот разве когда люди стоят да на пожар смотрят, а в глазах у них, будто в воде, огонь плещет, отражается; а сами-то стоят столбом, замеревши как околдованные, — вот тогда да; ну дак это же морок, наваждение одно! Нету в природе ука-

зания такого, чтоб вода горела. Разве что пришли Последние Дни?.. — не может того быть, и думать не хочу... А другое, что год объявлен високосный. А, должно быть, так: знаменья нехорошие, и метель что-то липкая, и в воздухе как бы гудит.

Отворил забухшую дверь; чмокнула, как поцелуй; за ней вторая: меж дверями сенцы у ней. Маленько постоял, склонив ухо; прислушивался. Балахон надевать не стал, хоть и положено: маленькое своеволие допустил; что ж... служба, конечно, государственная, но на всякой службе своему человеку, близкому али родственнику, послабление допускается.

Поколебался: крюк в сенцах оставить али сразу с собой взять? Тут ведь как: ежели крюк с собой внести, больной голубчик догадается и сразу в крик; а где крик, там и суета: кто об стол головой бьется, кто об тубарет али печку; помещение тесное, особо не развернешься, стало быть, в руке того размаху, свободы той нету. Это хорошо на воздухе науку отрабатывать, али сказать тренироваться; ведь как санитаров учат? — кукол больших нашьют-навертят, идолов из ветоши; вот на траве-мураве и отрабатываешь приемы-то: рывок от плеча, захват с поворотом, подтягивание али другое что. На воздухе оно легко идет, а в избе, али сказать в конкретных условиях, оно уж не так. Нет.

Перво-наперво, кукла: она ж по избе не бегает,

верно? истошным голосом не вопит? за стол, за тубарет не цепляется? — брык, и лежит безмолвствуя, не внемля ничему, все как по-писаному, али сказать по инструкции. А голубчик — он живой, он суетится.

Это одна трудность. А другая — это вот, конечно, что помещение тесное. Это, прямо сказать, недо-смотр. Недоработка.

Так что не всегда есть возможность соблюдать все государственные правила; отсюда и послабления; конечно, можно спорить, но — «суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет».

Бенедикт поразмыслил и оставил крюк в сенцах. Приотворил вторую дверь-то, всунул голову:

— Ку-ку-у! А кто к нам пришел!..

Ни звука.

— Варвара!..

— Кто там? — шепот тихий.

— Большой и нехороший! — пошутил Бенедикт.

Никакого отзыва, шорох один. Бенедикт вдвинулся в горницу, огляделся: чего она делает-то? Лежит на лежанке, в тряпье, а это только называется, что Варвара Лукинишна: один глаз из тряпья виден, а остальное — все гребешки, гребешки, гребешки, гребешки, гребешки, гребешки, — видать, за то время, что Бенедикт ее не видел, ее всю гребешками обсыпало.

— Ах, это вы? Навестить? — говорит. — А я вот приболела... На работу не хожу...

— Но?! — озаботился Бенедикт. — А что такое?

— Не знаю, голубчик. Слабость что-то... В глазах темно... Еле хожу... Да вы присаживайтесь! Я так рада! Только угостить нечем.

У Бенедикта тоже ничего с собой не было. Без приношения нельзя, это правда, но он не придумал, что бы такое подарить-то. Книгу — ни за что, с книгами расставаться — уж лучше смерть. Вот подарил сдуру «Виндадоры» Истопнику, потом так жалел, так жалел! Все представлял, какая книга-то была хорошая, да как ей на полке славно было стоять — чисто и тепло, да как она, бедная, в неприбранной избе, унылой и прокуренной, у Истопника валяется; может, на пол свалилась, а старик сослепу и не заметил; может, нечем суп прикрыть было, — он и ...; а то Лев Львович, срамник, выпросил ее, забрал к себе, от людей заперся, свечку затушил и ксерокс ей делает: желаю, говорит, размножаться! есть же такие неумные ходоки, что бабы им мало! и с козляком шутки шутят, и с собакой, прости, Господи, и с валенком! Так жалел — и головой об стенку бился, и руки заламывал, и ногти грыз; нет, никогда больше ни одной книги никому.

Цветки — а это бывает, идут к бабам в гости с цветками: нарвут в огороде чего поярче али чтоб дух от них хороший, побольше вместе сложат — и выйдет букет; вот этот букет бабе и сунут: дескать, и вы так же прекрасны, и дух от вас тоже ничего. Держите крепше и будем шутки шутить. Но зимой какие ж цветки?

Оттого-то, чтоб голову не ломать, принято, когда в гости идешь, нести ржавь, а лучше брагу, из ржави сваренную. Потому что сам же тоже пить будешь.

Польза тут двойная: брагу сразу же пить можно, а не дожидаться, пока там еще ее сварят! да процедят! да через угольки перегонят! да упарят! да уварят! да остудят! да опять процедят! — а тут готовое, пей сразу.

Авторское, это если ты в гости пришел, а гости, бывает, не задались — ну, повздоришь с хозяином, что пригласимши, али подерешься, оплюешь кого, али тебя оплюют, али еще что, — так хоть, думаешь, успел выпить, не все же пропало.

Но хозяйства своего Бенедикт давно не вел, своей браги у него не было, а вся кудеяровская, начнешь нацеживать... нет, лишние вопросы ни к чему. Вот и пришел с пустыми руками. И крюк в сенцах оставил. Взял тубарет, подсел к лежанке, на лицо сочувствие напустил: брови вверх, рот вниз. Без улыбки.

— Как живете? — Варвара слабым голосом. — Я слышала, вы женаты. Поздравляю. Замечательное событие.

— Мезальянс, — похвастался Бенедикт.

— Как это должно быть прекрасно... Я всегда мечтала... Скажите мне... скажите что-нибудь волнуящее.

— Хм. А, вот: год объявили, что високосный.

Варвара Лукинишна заплакала. Да уж, веселого мало.

Бенедикт поерзал, не знал, что еще говорить. Где она книгу-то прячет. Под кроватью? Бенедикт выставил ногу, как бы невзначай, просунул под лежанку и обтрогал ногой, чего там спрятано. Вроде короба.

— Вот, знаете, читаешь в книгах: флердоранж, фата... букетик фиалок, приколотый к поясу... фи-миам...

— Да, эти все на букву «ферт», — сказал Бенедикт. — На этот ферт, я заметил, ни одногошенька слова не понять. — Через валенок плохо было слышно, что за короб и где у него крышка. Вот ведь: без крюка — как без рук.

Варвара Лукинишна плакала единственным глазом.

— ...алтарь... певчие... «голубица, гряди»... паникадило...

— Да-да. Ни слова не разберешь!

Бенедикт просунул вторую ногу под кровать, наступил валенку на пятку и потянул ногу из обуви. Портянку заело — видать, слабо намотано; нет, лучше оба валенка сбросить. Ведь до чего неудобно без рук! Ну? Ведь чтоб первый валенок снять, надо вторым пятку прижать, а чтоб второй снять, надо первым отдавливаться; ну а если первый снял, так он будет снятый? Чем же давить-то? Вот это вопрос научный, а ведь ни в одной книге ответа на него еще не сыскалось. А если из природы наблюдение взять, то надо ногами, как муха, — быстро-быстро друг об дружку перебирать; тогда ноги вроде как запугают-

ся: которая первая, которая вторая; ан, глядь, обувь и слетит.

— ...ведь и юность пролетела без любви! — плакала Варвара Лукинишна.

— Да-да! — согласился Бенедикт. Теперь надо портянку отмотать: путается и мешает.

— Возьмите меня за руку, друг мой!

Бенедикт примерно решил, где у Варвары Лукинишны рука, взял это и подержал. Теперь руки заняты, ноге уж точно помочь нечем. Значит надо крутить ступней, чтоб портянка отматывалась, а что отмоталось — второй-то ногой придерживать да отодвигать. Вспотеешь, умаямшись.

— Не трепещите так, друг мой! Поздно! Судьбе не угодно было скрестить наши пути!..

— Да-да, верно. Я тоже заметил.

Босая-то нога насколько же ловчей обутой! Она ж все равно как зрячая! Вот стенка короба, шершавая, но без заноз: от бересты заноз не бывает, это ж не древесина, а луб! А не всякий луб на короба идет: который тонкий, так его больше на письмо берут, а который потолще — это уж на корзины; столярное дело понимаем; а тута крышка, так крышку-то пальцем приподдеть...

— Вы тоже волнуетесь? Друг мой! Неужели?..

Бенедикт крепче ухватил руку или что там у Варвары Лукинишны, для опоры; растопырил пальцы на ноге, оттянул большой палец, поддел крышку. А-а-а! Тудыты!..

...В глазах померкло, взвился весь и упал, хватаясь за что-то: судорога, проклятая! Забыл, что ноги — не руки, тудыть!!!

... Отошло. Фу-х.

...Варвара Лукинишна лежала не шевелясь, с открытым глазом, смотрела в потолок. Бенедикт удивился и присмотрелся. Чего это? Вроде заехал ей локтем куда-то... не разбери поймешь. Зашиб, что ли?..

Посидел, подождал.

— Э-э, — позвал.

Молчит. Никак померла?.. а знать, померла. Эвон!.. Отчего это?.. Неприятно-то как... Помирать — не в помирушки играть.

Посидел на тубарете, опустив голову. Нехорошо... Вместе работали. Шапку снял. Женщина ведь не старая, еще жить бы да жить. Книги переписывать. Репу садить.

...Родственников вроде не было — кто же хоронить будет? По какому обычаю? По-нашему али как у Прежних принято?..

Матушку — по Прежнему обычаю хоронили. Навытяжку. Если по-нашему — надо потрошить, колени подгибать, руки с ногами связывать, фигурки глиняные лепить, в могилу класть. Никогда Бенедикт сам этих дел не делал, всегда любители набегали, он только в стороне к стенке жался.

— Тетеря! — крикнул в дверь. — Поди сюда.

Перерожденец охотно забежал в избу: тепло в избе.

— Тетеря... Вот баба помре. Сослуживица... Со-

служивицу пришел навестить... Вот прямо сейчас и помре. Что делать-то надо?.. А?..

— Так, — засуетился Тетеря, — руки ей на груди сложи крестом... вот эдак... да не так!.. где у ней грудь-то?.. хрен ее знает... должна быть пониже головы... руки — крестом, в руки, конечно, икону; глаза закрыть... где у ней глаза-то?.. а, один есть! Спартак — ЦСКА, один — ноль; челюсть подвязать; где у ней челюсть-то?! где че... — неважно; вот так пуцай лежит, а ты, значит, народ созывай, пирогов, блинов, всего напеки, и главное, чтоб выпивки до хуища.

— Хорошо, иди, дальше я знаю.

— Винегрету главное, винегрету побольше! Красного, знаешь, с лучком! Эх!

— Вон отсюда!!! — заорал Бенедикт.

...Сложил руки крестом, если это у ней руки, глаз закрыл... надо бы камушком? — откуда зимой камушек! — теперь икону? Это что они на бересте рисуют? идола-то?

Мышиная синеватая свечка трепетала на столе; это еще Варвара зажигала свечку; отворил печную заслонку, там полешки: огонек перескакивает, пляшет; это Варвара совала полешки в печку; разожгла огонь — и горит он в пустоте, а ее и нету. Подбросил еще щепочек, чтоб огонь гудел, чтоб свету в избе больше было.

На столе — берестяные листы стопочкой, письменная палочка, чернильница: сама ржавь на чернила варила, свои палочки ладила, любила, чтоб все

аккуратно... Домашнее, говорила, оно лучше казенного. Приходите, говорит, ко мне на суп, разве казенный суп с домашним сравнишь?.. Не зашел, грешков ее побоялся...

Ах, этот миг, ах, горькое борение...
Пусть пиво бродит в бочке вместе с солодом;
Ведь жизнь могла быть — чистое парение, —
Но небо пролилось дождем и холодом...

Бенедикт заплакал. Слезы защипали глаза, быстро-быстро набрались, перелились через край, потекли, налили в бороду. Утерся рукавом. Добрая была. Чернила всегда свои давала, если у тебя вышли. Слова объясняла. Конь, говорит, это не мышь, — золотые слова. Идола ей в руки...

Хлюпая носом, Бенедикт сел за стол, взял бересту, повертел. Идола надо... Размял письменную палочку — а давно в руках не держал, — обмакнул в чернила. Идола. Как его рисовать-то...

...Головку вывел ссутуленную. Вокруг головки — кудерьки: ляп, ляп, ляп. Вроде буквы «С», а по-научному: «слово». Так... Нос долгий. Прямой. Личико. С боков — бакенбарды. Позакалякать, чтобы потолще. Точка, точка — глазыньки. Сюда локоть. Шесть пальчиков. Вокруг: фур, фур, фур — это будто кафтан.

Похож.

Вторнул ей идола в руки.

Постоял, посмотрел.

Вдруг будто что вступило в грудь, ворвалось, лопнуло, как бочка с квасом: зарыдал, затрясся, зашелся, завыл — матушку вспомнил? жизнь свою? вёсны былые? Острова в море? непройденные дороги? птицу белую? ночные сны? — спроси, не ответит никто!.. — высморкался, надел шапку.

...Да! Да. Так чего я приходил-то?.. А, книга!.. Где же книга у нее? Бенедикт стал на коленки и заглянул под лежанку, светя свечкой. Вот короб-то этот. Выволок, порылся — бабья дрянь, ничего ценного. Нет книги. Еще посветил — пусто, мусор обычный. Руку глубоко запустил, все обшарил — ничего.

На печи. Нету.

За печью. Нету.

Под печью. Нету.

В чулане — посветил — одна ржавь; ловкой рукой подхватил крюк, — насколько ж крюком сподручнее! — протыкал все насквозь — нету.

Стол — может, ящик какой, — нету; тубарет — двойное дно? — нету; постоял, обводя избу глазами; сарай! — выбежал со свечой в сарай; то же. Бани у нее нет, некому было баню сложить. Вернулся в избу.

Матрас!!! Запустил руки под Варвару; мешала; прощупал весь матрас; мешала; стащил ее на пол, чтоб не мешала; прощупал матрас, подушку, протыкал крюком; перебрал торопливыми пальцами одеяльце, перинку вороньего пера — ничего.

Чердак!!! Где лаз-то? Вон там; полез на тубарет, второпях немножко толкнул Варвару-то, идол вы-

пал из рук; нагнулся, вторгнул идола в Варварину середину.

На чердаке — ничего. Только лунный свет лежит рваной полосой, просунулся через слуховое оконце.

Надо бы забить: год високосный, мало ли...

Луна светит, ветер дует, облака идут, деревья качаются. В воздухе водой пахнет. Опять весна, что ли? И пустота, и бессмысленность, и шорох какой-то — сенная труха с потолка сыплется, крыша высыхает. Нет, еще что-то.

А! — мыши шуршат. Шуршат мыши. Мыши у ней в избе. Жизни мышья беготня.

Что — прелесть ее ручек!..

Что — жар ее перин!.. —

Давай, брат, отрешимся,

Давай, брат, воспарим!

...Бенедикт вернулся к саням; перерожденец посмотрел с вопросом. Бенедикт размахнулся ногой и бил, бил, бил Терентия Петровича, пока не онемела нога.

ЕР

Есть хорошее правило: скотину в дом не пускать, не приучать. Собаке во дворе конуру ладят, пуцая там и сидит, хозяйство сторожит.

А если какой голубчик ее пожалеет — дескать, мерзнет псина али что, — пустит ее в дом на зиму, — нипочем собака в конуру не вернется, ей уж в избе понравилось. Чуть отвернешься, а она опять норovit в дверь протиснуться.

Правило научное, для всякой твари верно; то же и с перерожденцами. Перерожденцу место где? — в хлеву. Потому как есть он скотина, а скотина должна водиться на скотном дворе, само название подсказывает за это.

Вот и Тетеря: побывал пару разочков у людей в дому, — сначала Никита Иваныч хулиганил, сажал тварь за стол, мнениями его интересовался; потом Бенедикту пришлось кликнуть его — давеча, у Варвары-то, а это он, знать, из-за душевного расстройства подзабылся, — побывал перерожденец в дому и теперь норовил чуть что — в дом.

Сначала предлоги выискивал: помочь поднести, дверь открыть, канплимент теще, Оленьке канплимент, потом с советами на кухню, дескать, знаю наипервейший рецепт, как грибыши сушить, — эвон! Да мы грибыши со времен царя Гороха сушили, сушим и до Последних Дней сушить будем! На нитку повесь да и суши! Наука тут нового слова не скажет!

Потом будто ему от тестя охота указание выслушать: как ловчей на себя бубенцы приладить, чтобы звону от них больше, когда едешь; какие песни желательно петь в дороге: заунывные али бойкие; потом,

глядишь, а он уж старший по хлеву, сам покрикивает, чтобы, эй! — навоз почистили; не успели оглянуться, а он уж свой в доме. Только и слышишь: «Терентий Петрович это, Терентий Петрович то».

Бенедикт ногами топал, ярился, взывал, стыдил, убеждал, грозился, тащил за рукав — нет, Бенья, оставь, как же без Терентия Петровича? И достанет, и принесет, и посмешит, и форшмак состряпает, и румяна похвалит, и белила.

Увидит Оленьку в колобашках, в сметане и будто в сторону, будто сам себе, не сдержамшись: «Ну до чего ж баба красивая, е-мое!»

В саях катает с посвистом, с песнями; узду заплел косичками, шлею разукрасил берестяными картинками: посередке идола прибил рисованного — усищи в обе стороны; с одного края баба голая с сиськами, с другого надпись: ВАС ОБСЛУЖИВАЕТ Головатых Терентий Петрович. Пригласил Оленьку полюбоваться, Оленька сразу: «все, Бенедикт, это сани мои! Бери себе другие!» — плюнул, но отдал ей сани-то, и с Тетерей вместе, — уж больно зол на него был, противно было даже и бить его.

А достался ему перерожденец Иоаким, старец одышливый и с харкотой: все у него в грудях клекочет и блекочет, сипит и хрипит; еле ноги тащит, пройдет два забора, да и остановится:

— Ох, Господи, царица небесная... Грехи наши тяжки... Ох, прибрал бы Господь...

И — кашлять, да с сипом, да с мокротой; да хар-

кать, да сплевывать; пока свое не отплюет, с места его кнутом не стронешь.

— Матушка небесная... и сорок святых мучеников... забыли меня... Забыл Никола-то угодник... грехи мои тяжки...

— Давай, дед, давай, трогай! Дома поплюешь!

— О-ох, смерть нейдет... прогневил Господа...

— Песню давай! Удалую!!

— Христо-о-о-ос воскре-е-е-есе из мееееееееееертвых...

Стыдно было: вдруг кто из знакомых увидит? Зубоскалить начнет? Дескать, гляньте, гляньте на Бенедикта! Что за кляча-то у него? да где таких берут? а то еще и прозвище дадут!

И ведь как боялся, так и случилось: тащился на Иоакиме мимо пушкина — охота поглядеть было, как он там стоит-то, — а тут как раз Никита Иваныч: залез на наше все и отвязывает ему от шеи бельевую веревку — ну как всегда. Увидел Бенедиктов позор и — так и есть! — закричал:

— Да как тебе не стыдно, Бенедикт!!! На старом-то человеке ездить!!! Ты вспомни, чей ты сын!!! Полины Михайловны!!! Где же это видано?!?! Быстреей пешком дойдешь!!!

Позор несусветный; Бенедикт отвернулся, сделал вид, что не видит, не слышит, дома наплакался тесно: эвон, на меня даже Прежние пальцами кажут, тычут, что резвее надо, мать позорю! Давайте Тетерю назад, хрен с ним! — а уж все, уж Тетеря на дру-

гих работах занят: возвысился до кухонного мужика, чистит репу, птицу потрошит, винегреты накручивает.

И дали перерожденца самого простого и среднего: особенностей никаких и звать Николай.

Подушки Оленька набила белым пухом; лежать стало куды мягче. Работы никакой делать не надо, ни рубить, ни тесать; пешком ходить тоже не надо — в санях доеду; кушать — беспрерывно пожалуйте, — так что Бенедикт раздобрел, али сказать, оплыл. Отяжелел. А не столько даже от еды отяжелел, сколько от дум тяжелых. Словно натолкали в душу ветоши, тряпья старого, валяных ошметок: и душно, и чешется, и гнетет. Лежи не лежи, а все нет покою.

Должны где-то книги быть. Где-то должны.

Выходил на двор, на мураву — только-только изпод снега проклюнулась — руку размять. Случись изъятие делать, так чтобы в руке легкость была, приемистость, али поворотистость, чтобы крюк не тыркался, а летал, чтобы он как бы с рукой сросся, так, чтобы уж разницы никакой не чувствовалось: где рука, а где крюк.

А то тесть ему все попреки делал, что Бенедикт неловкий, что голубчика загубил. Встретит в коридоре и головой качает с упреком, сокрушенно: ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай...

— Ведь крюк, он на что? Он на то и крюк, что он

не тыка! У него, мил-человек, и линия такая, — видишь? — загибается! А почему? а потому что гуманность в нашем деле допрежь всего. Раньше, конечно, — раньше режим строгий был: чуть что, разговор короткий, сразу пырь! — и дух вон. Вот тогда, понятно, тыка сподручнее. А теперь нам другая линия дадена: с кривизной, али с загибом, потому как не убивать, а лечить надо. Отсталость в обчестве агромадная — ведь объяснял я тебе, — а искусство гибнет. Ежели не ты да я, кто за искусство постоит? — то-то.

— Но, папенька, ведь искусство требует жертв, — Оленька за Бенедикта вступается.

— Первый блин комом, — это теща утешает.

— Опять ты про блин! Да что же это у тебя один разговор: блины да блины!.. — Бенедикт не слушал, уходил, ворочал тяжкую думу; свистнув Николаю, валился кулем в сани: «На торжище!» — не сняв балахона, лишь колпак откинув на спину, — красный, грузный, мрачный брел вдоль прилавков, где малые мурзы раскинули берестяные книжицы, корявые свои самоделки. Народ замолкал, пужался, когда напролом, с думой на челе, с темными от бессонных ночей подглазьями, с наеденными брылами, наеденной широкой шеей — ворот душит — ступал Бенедикт тяжкой поступью; сам знал, что страшен, — а пусть. Брал книжицу, брезгливо листал — мурза пикнул было, что сначала платить... — так посмотрел, что больше уж мурза не плакал.

Эту читал. И эту читал. Это что? — читал, да всю целиком, а не отрывки, как тута.

— Где полный текст? Полный текст должен быть, воры! — хрипел на присевшего, съезжившегося в воробышку мурзу, тыкал толстым пальцем в бересту; ведь и тут украли, ведь что за народ! Там главу пропустят, там оборвут на полслове, там строчки переставят!

— Бересты в государстве не хватает, — лепетал перепуганный мурза, — работать некому...

— Ма-алча-аты!!!

Иной раз попадалось и нечитаное: ржавые кривули, загибающиеся строки, описки на каждой странице. Такое читать — что землю есть с камнями. Брал. Тошнило, себя презирал, но брал.

Вечером, склонившись низко, водя пальцем по ухабам и рытвинам бересты, шевеля губами, разбирал прочитанное; глаз отвык от скорописи, спотыкался; глаз хотел ровного, летучего, старопечатного, черным по белому, ясным по чистому; и писец, видать, нерадивый перебелил — кляксы да помарки, а дознаться бы кто — да головой в бочку!

К трибунам прикипели наши взгляды,
И ловит слух в державной тишине
Итоговую взвешенность доклада,
Где все разделы — с веком наравне!
(Клякса) (клякса) (клякса)
(клякса) ...чувств своих не прячем на засов,

И нам дают сердца и партбилеты
Решающую силу голосов! (клякса)

Ну? Поэзии — от силы на полторы мыши, а берут двенадцать. И здесь воровство. Бенедикт, правда, вообще не платил: так давали.

Пробовал прежние книги перечитывать, да это же совсем не то. Никакого волнения, ни трепета али предвкушения нету. Всегда знаешь, что дальше-то случилось; ежели книга новая, нечитаная, так семь потов спустишь, волнуешься: догонит али не догонит?! Что она ему ответит?! Найдет он клад-то? Али вороги перехватят?! А тут глазами по строчкам вяло так водишь и знаешь: найдет; али там догонит; поженятся; задушит; али еще что.

Ночью, ворочаясь без сна в мягком пуху, думал. Представлял городок, улочки, избы, голубчиков, перебирал мысленно знакомые лица. Иван Гвядич, — есть у него книга? Вроде он грамоте не учен. Что ж из того: читать не умеет, а книгу зажал. Бывает? Бывает. Вместо суповой крышки... Грибыши в кадке пригнетать... Наливался нехорошей кровью, плохо думал про Иван Гвядича. Попробовать изъятие?.. У Иван Гвядича ног нет, из подмышек сразу ступни. Крюк тут нужен короткий, с толстой ручкой. Но руки у него мощные. Значит, короткий нельзя...

Ярослав: проверить Ярослава? Вместе грамоте учились, счету... Он уж такой: коли что спрятал — не признается. Думал о Ярославе. Вот тот в избу вхо-

дит, дверь на засов. Огляделся. К окну идет на цыпочках, пузырь отогнул: не глядит ли кто? Теперь к печи... Свечкой туда тычет: запалить... Теперь к лежанке... Опять обернулся, будто что почувствовал. Постоял... Нагибается короб из-под лежанки вытянуть... Шарит в коробе, шарит... вот переложил из руки в руку... Бенедикт напрягся, видел: словно живой, только неплотный, нетелесный — свеча сквозь него мерцает и трещит, — словно бы в сумеречном воздухе висит Ярослав сонной тенью, шарит и шарит: нетелесную спину его видать в домотканой рубахе, нетелесные лопатки ходуном ходят: роется; позвонки теньвыми пупырями вдоль спины...

Широко раскрытыми глазами вглядывался Бенедикт во тьму; ведь она же тьма, ничего в ней нет, верно? — ан нет, там Ярослав, и вот так привяжется, что и не отвяжется! Вертишься в подушках, али встанешь покурить, али в нужный чулан, али еще куда, — все Ярослав, Ярослав... Скажешь себе: не думать про Ярослава! Знать не знаю! — ан нет, как же не знаю: а вон же спина его, вон же он роется... Ночь проведешь без сна, встанешь туча-тучей, за столом все невкусно кажется, все не то что-то, откусишь кусок, да и бросишь: не то, не то... Буркнешь тестю: может, Ярослава проверим?.. — а тесть недоволен, пол скребет, глазами укоряет: вот вечно ты, зять, по мелочам, вечно от главного уклоняешься...

К лету крюк летал как птица; Ярослав проверен — ничего не нашлось, Рудольф, Мырра, Цецилия Аль-

бертовна, Трофим, Шалва — ничего; Иаков, Упырь, Михаил, другой Михаил, Ляля-хромоножка, Евстахий — ничего. Купил на торжище «Таблицы Брандиса» — одни цыфры. Изловить этого Брандиса да головой в бочку.

Никого вокруг. Ничего. Только високосная метель в сердце: скользит и липнет, липнет и скользит, и гул в метели, будто голоса далекие, несчастливые, — подвывают тихохонько, жалуются, а слов-то не знают. Али будто в степи, — слышь, — вытянув руки, бредут на все стороны, разбредаются испорченные; вот они бредут на все стороны, а сторон-то для них и нет; заблудилися, а сказать-то некому, а и сказали бы, встретили бы живого — так не пожалеет он их, не нужны они ему. Да и не узнают они его, им и себя-то не узнать.

— Николай!.. К пушкину!

Сырая метель набросала пушкину вороха снега на сутулую голову, на согнутую руку, будто лазал он по чужим избам, по чуланам подворовывать, набрал добра, сколько нашлося — а и бедное то добро, непрочное, ветошь одна, — да и вылазит с-под клетки: тряпье к грудям притиснул, с головы сено трухлявое сыплется, все оно сыплется!..

Что, брат пушкин? И ты небось так же? Тоже маялся, томился ночами, тяжело ступал тяжелыми ногами по наскребанным половицам, тоже дума давила?

Тоже запрягал в сани кого порезвей, ездил в тоске, без цели по заснеженным полям, слушал пере-

стук унылых колокольцев, протяжное пение возницы?

Гадал о прошлом, страшился будущего?

Возносился выше столпа? — а пока возносился, пока мнил себя и слабым, и грозным, и жалким, и торжествующим, пока искал, чего мы все ищем: белую птицу, главную книгу, морскую дорогу, — не заглядывал ли к жене-то твоей навозный Терентий Петрович, втируша, зубоскал, вертун полезный? Говорок его срамной, пустой по горницам не журчал ли? Не соблазнял ли интересными чудесами? «Я, Ольга Кудяровна, одно место знаю... Подземная вода пинзин... Спичку бросить, хуяк! — и летим... Желается?»... Давай, брат, воспарим!

Ты, пушкин, скажи! Как жить? Я же тебя сам из глухой колоды выдолбил, голову склонил, руку согнул: грудь скрести, сердце слушать: что минуло? что грядет? Был бы ты без меня безглазым обрубком, пустым бревном, безымянным деревом в лесу; шумел бы на ветру по весне, осенью желуди ронял, зимой поскрипывал: никто и не знал бы про тебя! Не будь меня — и тебя бы не было! Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал? — Я воззвал! Я!

Это верно, кривоватый ты у меня, и затылок у тебя плоский, и с пальчиками непорядок, и ног нету — сам вижу, столярное дело понимаю.

Но уж какой есть, терпи, дитяtko, — какие мы, таков и ты, а не иначе!

Ты — наше все, а мы — твое, и других нетути! Нетути других-то! Так помогай!

ЕРЫ

— Дайте книгу-то, — канючил Бенедикт. — Не жидитесь, книгу дайте!

Никита Иваныч посмотрел на Лев Львовича, из диссидентов, а Лев Львович, из диссидентов, смотрел в окно. Лето, вечер, пузырь с окна сняли — далеко в окно видать.

— Рано еще!

— Чего рано? Уж солнце садится.

— Тебе рано. Ты еще азбуку не освоил. Дикий человек.

— Степь да степь кругом, — ни к селу ни к городу сказал Лев Львович сквозь зубы.

— Я не освоил?! — поразился Бенедикт. — Я?! Да я!.. Да иты!.. Да я знаете сколько книг перечитамши? Сколько переписамши?!

— Да хоть тыщу...

— Больше!

— ...хоть тыщу, все равно. Читать ты, по сути дела, не умеешь, книга тебе не впрок, пустой шелест, набор букв. Жизненную, жизненную азбуку не освоил!

Бенедикт обомлел. Не знал, что сказать. Такое вранье откровенное, прямо вот так тебе и говорят:

ты — не ты, и не Бенедикт, и на белом свете не живешь, и... прямо не знаю что.

— Вот уж сказали... То есть как же? Азбуку-то... Вот есть «аз»... «слово», «мыслете»... «ферт» тоже...

— Есть и «ферт», а есть и «фита», «ять», «ижица», есть понятия тебе недоступные: чуткость, сострадание, великодушие...

— Права личности, — подъелдыкнул Лев Львович, из диссидентов.

— Честность, справедливость, душевная зоркость...

— Свобода слова, свобода печати, свобода собраний, — Лев Львович.

— Взаимопомощь, уважение к другому человеку... Самопожертвование...

— А вот это уже душок! — закричал Лев Львович, грозя пальцем. — Душок! Не в первый раз замечаю, куда вы со своей охраной памятников клоните! От этого уже пахнет!

В избе, точно, пахло. Это он правильно подметил.

— Нет «фиты», — отказался Бенедикт: мысленно он перебрал всю азбуку, напугавшись, что, может, упустил что, — ан нет, не упустил, азбуку он знал твердо, наизусть, и на память никогда не жаловался. — Нет никакой «фиты», а за «фертом» идет сразу «хер», и на том стоим. Нету.

— И не жди, не будет, — опять ввинтился Лев Львович, — и совершенно напрасно вы, Никита

Иванович, сеете мракобесие и поповщину. Сейчас, как, впрочем, и всегда, актуален социальный протест, а не толстовство. Не в первый раз за вами замечаю. Вы толстовец.

— Я...

— Толстовец, толстовец! Не спорьте!

— Но...

— Тут мы с вами, батенька, по разные стороны баррикад. Тянете общество назад. «В келью под елью». Социально вы вредны. Душок! А сейчас главное — протестовать, главное, сказать: нет! Вы помните, — когда же это было? — помните, меня призывали на дорожные работы?

— Ну?

— Я сказал: нет! Вы должны помнить, это при вас было.

— И не пошли?

— Нет, почему, я пошел. Меня вынудили. Но я сказал: нет!

— Кому вы сказали?

— Вам, вам сказал. Вы должны помнить. Я считаю, что это очень важно: в нужный момент сказать: нет! Протестую!

— Вы протестуете, но ведь пошли?

— А вы видели такого, чтобы не пошел?

— Помилуйте, но какой же смысл... если никто не слышит...

— А какой смысл в вашей, с позволения сказать, деятельности? В столбах?

— То есть как? — памяти!

— О чем? Чья? пустой звон! сотрясение воздуха! Вот тут сидит молодой человек, — покривился на Бенедикта Лев Львович. — Вот пусть молодой человек, блестяще знающий грамоте, ответит нам: что и зачем написано на столбе, воздвигнутом у вашей избышки, среди лопухов и крапивы?

— Это дергун-трава, — поправил Бенедикт.

— Неважно, я привык называть ее крапивой.

— Да хоть горшком назови. Это ж дергун!

— Какая разница?

— Сунь руку — узнаешь.

— Лев Львович, — заметил Никита Иванович, — возможно, молодой человек прав. Нынешние различают крапиву от дергуна, мы с вами нет, но они различают.

— Нет, извините, — уперся Лев Львович, — я еще не слепой, и давайте без мистики: я вижу крапиву и буду утверждать, что это крапива.

— Дык, Лев Львович, крапива — она ж крапива! А дергун — это дергун, дернет вас — и узнаете, какой он дергун. Из крапивы щи варить можно, дрянь суп, слов нет, но варить можно. А из дергуна попробуй сварика! Нипочем из дергуна супа не сварить! Не-ет, — засмеялся Бенедикт, — никогда из дергуна супа не будет. Эвон, крапива! Никакая это не крапива. Ни боже мой. Дергун это. Он и есть. Самый что ни на есть дергун.

— Хорошо, хорошо, — остановил Лев Львович, — так что написано на столбе?

Бенедикт высунул голову в окно, прищурился, прочел Прежним все, что на столбе: «Никитские ворота», матерных семь слов, картинку матерную, Глеб плюс Клава, еще пять матерных, «Тута был Витя», «Нет в жизни щастья», матерных три, «Захар — пес» и еще одна картинка матерная. Все им прочел.

— Вот вам вся надпись, али сказать текст, доподлинно. И никакой «фиты» там нет. «Хер» — сколько хотите, раз, два... восемь. Нет, девять, в «Захаре» девятый. А «фиты» нет.

— Нет там вашей «фиты», — поддержал и Лев Львович.

— А вот и есть! — закричал ополоумевший Истопник, — «Никитские ворота» — это моя вам фита, всему народу фита! Чтобы память была о славном прошлом! С надеждой на будущее! Все, все восстановим, а начнем с малого! Это же целый пласт нашей истории! Тут Пушкин был! Он тут венчался!

— Был пушкин, — подтвердил Бенедикт. — Тут, в сараюшке, он у нас и завелся. Головку ему выдолбили, ручку, все чин чинарем. Вы же сами волочь подмогали, Лев Львович, ай забыли? Память у вас плохая! Тут и Витя был.

— Какой Витя?

— А не знаю какой, может, Витька припадошный с Верхнего Омута, может, Чучиных Витек — бойкий такой парень, помоложе меня будет; а то, может, Витя колченогий. Хотя нет, вряд ли, этому сюда не дойд-

ти. Нет, не дойдет. У него нога-то эдак на сторону свернута, вроде как ступней вовнутрь...

— О чем ты говоришь, какой Витя, при чем тут Витя...

— Да вон на столбе, на столбе-то! «Тут был Витя!» Ну и ну, я же только что прочел!

— Но это же совершенно неважно, был и был, мало ли... Я же говорю про память...

— Вот он память и оставил! Затем и резал! Чтоб знали — кто пройдет, — помнили накрепко: был он тут!

— Когда же ты научишься различать!!! — закричал Никита Иванович, вздулся докрасна и замахал кулаками. — Это вежа, историческая вежа! Тут стояли Никитские ворота, понимаешь ты это?! Неандертал!!! Тут шумел великий город! Тут был Пушкин!

— Тут был Витя!!! — закричал и Бенедикт, распляясь. — Тут был Плеб и Клава! Клава — не знаю, Клава, может, дома сидела, а Плеб тут был! Резал памяти! И все тут!.. А! Понял! Знаю я Витю-то! Это ж Виктор Иванович, который старуху вашу хоронил. Распорядитель. Точно он, больше некому. Виктор Иванович это.

— Никогда Виктор Иванович не станет на столбе глупости резать, — запротестовали Прежние, — совершенно немыслимо... даже вообразить трудно...

— Отчего ж не станет? Вы почему знаете? Что он, глупей вас, что ли? Вы режете, а он не режь, да? Про

ворота — можно, давай вырезай, а про человека — ни в коем разе, так?

Все трое молчали и дышали через нос.

— Так, — сказал Никита Иваныч, выставляя вперед обе ладоши. — Спокойно. Сейчас, — погоди! — сейчас я сосредоточусь и объясню. Хорошо. Ты в чем-то прав. Человек — это важно. Но! В чем тут суть? — Никита Иваныч собрал пальчики в щепотку. — Суть в том, что эта память — следи внимательно, Бенедикт! — может существовать на разных уровнях...

Бенедикт плюнул.

— За дурака держите! Как с малым ребятенком!.. Ежели он дылда стоеросовая, так у него и уровень другой! Он на самой маковке вырежет! Ежели коротышка — не дотянется, внизу сообщит! А тут посередке, в аккурат в рост Виктора Иваныча. Он это, и сумнений никаких быть не должно.

— Степь да степь кру-го-о-ом... — ни с того ни с сего запел Лев Львович.

— Путь далек лежи-и-и-и-и-т! — обрадовался Бенедикт, песню эту он жаловал, всегда в дороге пел и перерожденцам указывал петь. — В то-ой степи глухо-о-о-о-ой...

— У-умира-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-ал ямщик!

Запели втроем, Бенедикт басом, Никита Иваныч больше хрипом, а Лев Львович — высоким таким голосом, душевным, распрекрасным, со слезой. Даже Николай во дворе удивился, бросил щипать травку и усталился на поющих.

Ты, товарищ мо-о-ой,
Не попо-о-о-омни злааааааааааааа,
В той степи глухо-о-о-о-оой
Схо-о-рони меняаааааааа!

Так пелось, такая томность, легкость такая вступила, такое согласие, крылья такие, будто и прокуренная избушка — не избушка, а поляна, будто вся природа голову подняла, обернулась, удивилась, рот разинула и слушает, а слезы у ей так и текут, так и текут! Будто сама Княжья Птица от себя, любимой, отвлеклась, глазами пресветлыми уставилась на нас и дивится! Будто не лаялись только что промеж себя, сердце не распалили, злобным взором не поглядывали, презрение взаимное на рыло не напускали, будто руки не чесались взять да и кулачищем в морду-то захватить товарищу, чтобы не кривил на меня личико, пасть на сторону не оттягивал, сквозь зубы не цедил, через губу не высокомерничал! А не очень-то и позлишься, спевая: рот-то разинут ровненько, покривишься — песню испортишь: пискнешь не тем звуком, собьешься, будто уронишь что, прольешь! А испортишь песню — сам же и будешь дурак, виноватого тут, кроме тебя, нету! Другие-то вон дальше идут, песню несут ровненько, не шелохнувши, а ты будто оступился спьяну да и мордой в грязь, позорище!

А еще скажи-и-и-и-и-и-и,
Что в степи-и-и-и-и заме-е-е-е-е-ерз!..

Лев Львович оборвал песню, ударился головой об стол и заплакал, как залаял. Бенедикт испугался, бросил петь, уставился на Прежнего, забыл и рот закрыть, так он у него на букве «он» и остался открымши.

— Лев Львович! Левушка! — засуетился Никита Иваныч, забегал со всех сторон, дергал плачущего за рукавчик, хватал кружку, бросал кружку, хватал полотенчику, бросал полотенчику. — Ну что уж теперь! Левушка! Ну ладно вам! Ну живем же как-то! Ведь живем?

Лев Львович мотал головой, катал голову по столу, вроде как отрицание делал, не хотел перестать.

— Бенья! Водички давайте!.. Ему нельзя нервничать, у него сердце больное!

Отпоили Прежнего, обсушили полотенчиком, в лицо руками помахали.

— Поете хорошо! — утешал Никита Иваныч. — Учились или так? Наследственность?

— Наверно... Папа у меня зубной врач, — вскрипнул напоследок Лев Львович. — А по мамочке я с Кубани.

ЕРЬ

Бабского тулова, говорят, много не бывает; верно говорят. Расперло Оленьку вширь и поперек — краше некуда. Где был подбородок с ямочкой, там их во-

семь. Сиськи на шестой ряд пошли. Сама сидит на пяти тубаретах, трех ей мало. Анадьсь дверной проем расширяли, да, видно, поскупились: опять расширять надо. Другой бы супруг гордился. А Бенедикт смотрел на всю эту пышность безо всякого волнения. Не тянуло ни козу ей делать, ни щекотить, ни хватать.

— Ты, Бенедикт, ничего в женской красоте не смыслишь; вот Терентий Петрович, он ценит.. Иди в другую горницу спать.

Ну и хрен с ней. Еще задавит ночью, приспит. Бенедикт справил себе лежбище в библиотеке. Оттуда храпа ее почти не слышать. И сигнал скорее придет.

Спал не раздевшись, мыться бросил: скушно. За ушами пыли набралось, сору, твари какие-то поселились: неспешные, многоногие, по ночам с места на место переходят, беспокоятся, может, гнезда свои перетаскивают, а кто — не видать: они ж за ушами. Ноги тоже пропотели и склеились. А без разницы. Лежишь как теплый труп; вот уши — они не слышат, вот глаза — они не глядят. Руки, правда, мыл; а это по работе требование.

...А где этот ясный огонь, почему не горит?..

Встанешь, на кухню сходишь, каклету из миски двумя пальцами выудишь, третьим стюдень с нее обобьешь. Съешь. Безо всякого волнения. Съел — и съел. Ну и что? В пляс теперь пускаться?

месяц, может, полгода, и вдруг: чу! будто повеяло чем. А это сигнал.

Встрепенешься сразу, наостришься. Пришло али показалось? Вроде показалось... Нет! вот опять! явственно! На локте приподымеешься, ухо набок све-сишь, будто слушаешь.

Вот будто свет слабенький в голове — как свеча за приотворенной дверью... Не спугнуть его...

Вот он чуть окреп, свет-то этот, видать вроде как горницу. Посередь горницы — ничего, а на ничеве — книга. Вот страницы перелистываются... Вот будто к глазам приблизилась, уже различить можно, что написано...

Тут все во рту пересохнет, сердце стучит, глаза совсем ослепнут: только книгу и видишь, как она перелистывается, все перелистывается! А что вокруг тебя делается, того не видишь, а ежели и видишь, то смысла-то в этом никакого и нету! Смысл — он вон где, в книге этой; она одна и есть настоящая, живая, а лежанка твоя, али тубарет, али горница, али тещь с тещей, али жена, али полюбовник ее, — они неживые, нарисованные они! тени бегучие! вот как от облака по земле тень пробежит — и нету!

А что за книга, где лежит, почему перелистывается — листает ли ее кто? сама ли колышется? — неве-домо.

Вот как-то дернуло — кинулся и проверил Константин Леонтьича. Ехал мимо, так и дернуло: а ес-

ли у него?.. Ничего не было, одни червяки на бечевке. Вот это был сигнал ложный.

А бывает истинный сигнал, и бывает ложный: коли сигнал истинный, то видение это, что в голове-то видишь, — оно как бы крепнет, али сказать плотней становится; книга, что привиделась, все тяжелеет, тяжелеет: поначалу она прозрачная, водянистая, а потом сгущается, бумага у ей такая белая али желтоватая, шероховатая, каждую веснушку, али пятнушко, али царапинку видать, словно близко на кожу смотришь. Смотришь и смеешься от радости, словно вот сейчас любовничать собрался.

Буковки тоже: поначалу скользят, прыгают, как мураши, а опосля ровными такими рядками ложатся, черненькие, шепчут. Которые открытые, али сказать распахнутые, будто бы приглашают: заходи!

Вот буква «он», окошко круглое, словно бы смотришь через него с чердака на гулкий весенний лес, я — далеко видать, ручьи видишь и поляны, а повезет если, глаз если настроишь, то и Птицу Белую, малую, далекую, как белая соринка. Вот «покой» — так это ж дверь, проем дверной! А что там за ним? — незнамо, может, жизнь новая, неслыханная! Какой еще не бывало!

А вот «хер» али «живете» — те, наоборот, загораживают путь, не пускают, крест-накрест проход заколачивают: сюды не пушу. Неча!

«Ци» и «ща» — с хвостами, как Бенедикт до свадьбы.

«Червь» — как стуло перевернутое.

«Глаголь» — вроде крюка.

Вот если сигнал истинный, то все это вместе: и бумага, и буквы, и картины, что через буквы видать, и шепоты перебегающие, и гул какой-то, и ветер, что от листаемых страниц подымается — пыльноватый, тепловатый, — все это вместе сгустится, предстанет, нахлынет, воздушной какой-то волной обольет, и тогда знаешь: да! Оно! Иду!

И мигом отпала, отвалилась, покинула, на лежанке осталась вся тяжесть, вялая смута, густое, телесное, мясное колыхание с боку на бок; ни мути, ни лени, ни болота душевного, вязкого, хлюпкого; всташь весь сразу, единым порывом, как натянувшаяся нить, легкий и звонкий; цель в голове: знаешь, что делать, собран и весел!

Отпала, говорю, вся вязкая тяжесть — только порыв! только душа!

Сам собою, точно главная, волшебная кожа, лег на плечи балахон, надежной защитой вспорхнул на лицо колпак; видеть меня нельзя, я сам всех вижу, насквозь! Оружие, крепкое, верткое, само приросло к руке — верный крюк, загнутый, как буква «глаголь»! Глаголем жечь сердца людей! Птичьим, переливчатым кликом, взмахом руки призываю товарищей; всегда готовы!

Чудо-товарищи, летучий отряд! Кликнешь со двора али с галереи — тут они! словно не спят, не едят, каждая дюжина — как один человек! Готовы, вперед!

Суровое, светлое воинство, поднялись и летим, в зной ли, в лютую вьюгу, — нет нам преград, расступаются народы!..

Врываемся и берем; спасаем. Если сигнал истинный был — берем и спасаем, потому что она там и вправду есть, Книга. Позвала, поманила, голос пода-ла, привиделась.

А если сигнал ложный — ну, значит, нет ничего. Вот как у Константин-то Леонтьича. Ничего, кроме мусора.

А с Константин Леонтьичем глупо вышло, а почему — да потому что ехал себе Бенедикт в санях, туча-тучей, весь набряк и оплыл от дум, а думы темные и слезливые, как осенние тучи, — что на небе тучи, что в грудях, правильно философия учит, — без разницы! Сам, и не видя себя, знал, что глаза кровью налиты, под глазами провалилось, притемнилось личико, кудри притемнились, слиплися, нечесаны, немыты, — голова стала плоская, как ложка; от курева в глотке липкость, как глины поел. За угол заворачивали, и вдруг дернуло что-то: вон там. В той избе.

И вот ведь допустил своеволие, али сказать нарушение техники: не подумавши, с ходу пошел один, без товарищей. Стой! — Николаю; натянул вожжи, остановил: жди тут; набросил колпак, калитку торкнул ногою.

Учат: одному на изъятие ходить — своеволие, а и правильно учат: за огнецами ведь один не пойдешь?

Догадается огнец, что это человек, заголосит, и потухнет, и других предупредит? А то и ложный окажется? А и в нашем деле все точно так же: наука, она едина.

Голосил Константин Леонтьич, и противился, и по руке Бенедикта ударял ужас как больно. По-научному — затруднял изъятие.

Соседей звал истошно — не пришли, затаились; колпак сорвал и узнал Бенедикта, и визжал, и бил в личико, узнавши.

Царапал сильно и мятежно; даже и повалил.

А вот за крюк напрасно руками хватался: крюк обоюдоострый, хвататься за него руками не надо.

Он не для того.

Крюк для того, чтобы книгу ухватить, подцепить, подтащить, к себе поддернуть; он не тыка; он для чего отточен? — для того чтоб неповадно было голубчику книгу удерживать, когда ее изымают, а то ведь они все в книгу вцепляются; вот он и отточен. Шалишь, не удержишь, сей же миг руки обрежешь, и пальцы долой все до единого!

И снаружи, и внутри он отточен со страшной силой, оттого-то и нужна сноровка хватать им да вертеть; оттого-то на каждой изъятной книге от крюка надрез бывает, словно ранка. Неловкий санитар невзначай и зарубить книгу может, а этого допускать ни в коем разе нельзя, нельзя искусство губить. Если работа хорошая, чистая — книгу одним махом поддернуть можно, разве что малый шрамик останется.

Вот и работают группой, али бригадой: один товарищ книгу изымает, другие голубчиков, кто в избе случится, своими крюками за одежду, за шиворот прихватывают, наматывают.

А еще чем крюк сподручен: ежели голубчик буен, то крюком хорошо ему ноги-то подсесть, чтобы сразу грохнулся, а для такого случая есть еще и рогатина на подхвате: тоже научный инструмент, но попроще, а с виду как буква «ук», али ухват. А кто упал, тому сразу рогатиной шею к полу прижать, чтобы пресесть вставание.

Раньше-то санитарам еще тыка была дадена, пырь! — и дух вон; а теперь нет, теперь гуманность.

А еще санитар себя блюсти должен, руки у него всегда должны быть чистыми. На крюке непременно грязь от голубчика бывает: сукровица али блевота, мало ли; а руки должны быть чистыми. Потому Бенедикт руки всегда мыл.

Потому как книгу после изъятия в руках держать будешь. В санях-то когда назад едешь.

Вот, в обчем и целом, такая технология, али приемы, али научная организация труда; кажется — просто; ан нет, не просто. Тесно в избе и темно, друг на друга натыкаешься, — многие жалуются.

Так что своеволие тут неуместно, а Бенедикт, как всегда, допустил — вот и получил от Константин Лонтъича увечья: на руках, и на личике, на грудях тож; и ногу подвернул. И, главное, зря: сигнал ложный был, книги не было.

Как раз Октябрьский Выходной был, Константин Леонтьич на ежегодный пересчет собирался, ве-тошь в лохани стирал — порты, рубаху. Ну что ж, недосчитаются Константин Леонтьича мурзы, одним голубчиком меньше будет. Пометят в казенных списках: взят на лечение.

Не все ж тебе, мурза, людей считать.

В декабре месяце, в самое темное время года, око-тилась Оленька тройней. Теща зашла, позвала Бенедикта посмотреть на помет, проздрала. Он лежал, пустой и грузный, ждал сигнала; сигнала не было. Ладно, пошел глянуть.

Деток трое: одна вроде самочка, махонькая, пи-щит. Другой вроде как мальчик, но так сразу не ска-жешь. Третье — не разбери поймешь что, а с виду как шар — мохнатое, страховидное. Круглое такое. Но с глазками. Взяли его на руки покачать, запели: «а-тутусеньки, тутусеньки тату! а-кукусеньки, куку-сеньки куку!», — а оно толк! — оттолкнулось да на пол и соскочило, по полу клубком покатилося и в щель ушло. Бросились ловить, руки растопыривать, тубареты, лавки двигать — куды там.

Бенедикт постоял, посмотрел, как сквозь туман, проздрал Оленьку с благополучным окотом. По-шел к себе. Теща побежала Терентия Петровича звать смотреть, внучатами хвастать.

Залег на охнувшую, застонавшую лежанку, — знатную пролежал себе яму за пустые годы, за бес-

счетные безрадостные ночи, — хмурился, думал: ушло под пол, это бы ладно; а вот кабы не вылезло, книг грызть не начало; может, законопатить щелито? Половицы совсем прохудились. Семья-то наскребет за день копны, другой раз идешь, смотришь — словно цельная голова волос на пол упамши! Не ровен час, выйдет это-то, что под пол ушло, да и шась в книжную горницу. Переплет поест, корешок... Там же клей. Кожа иногда.

Вот не было заботы, так подай... Ведь поест, непременно поест! Ему ж есть надо? Отовсюду искусству угрозы: то от людей, то от грызунов, то от сырости! И ведь как раньше глуп был, слеп Бенедикт, как все равно слепцы на торжище: поют-заливаются, а сами во тьме живут, им и в полдень темно! Как понятия-то у него не было, будто у червыря! Вопросы задавал глупые, лоб морщил, рот открывал пошире, чтоб думать сподручнее, а все не понимал.

Отчего, дескать, у нас мышей нету? Отчего нам мышей не надобно? Да потому и не надобно, что жизнь духовная: книги, искусство у нас сбережены, а мышь выйдет да и поест нашу сокровищницу! Зубками своими малыми, острыми зыг-зыг-зыг, да и погрызет, потравит!

А у голубчиков жизнь другая, им на мышь опираться надо. Без мыши им никуда. Суп, конечно, жаркое, зипун если сшить, мену какую на торжище сделать, налог платить, али, лучше сказать, ясак — домовой, подушный, печной, — на все мышь нужна.

Стало быть, книгу им держать в доме нипочем нельзя! Тут уж или одно, или другое.

А почему еще жизнь духовную называют возвышенной? — да потому что книгу куда повыше ставят, на верхний ярус, на полку, чтобы если случись такое несчастье, что пробралась тварь в дом, так чтобы понадежнее убереечь сокровище. Вот почему!

А зачем у тестя, у тещи, у Оленьки на ногах когти? — да все затем же! Чтоб духовность сторожить! Чтобы на страже от мышей быть! Мимо не прощмыгнешь! Для того и три забора вокруг терема наворочены! Для того и охрана строгая! Для того и обыскивают при входе! Потому что будь ты хоть кто, хоть самый что ни на есть жених али другой особый посетитель, а мышь с собой пронести можешь и сам не заметишь.

В волосах если колтун — она там гнездо свить может.

В карманах, бывает.

В валенке.

Уж до того это ясно, что яснее и не бывает, а вот не понимал. И Болезнь не понимал, думал невесть что; а Болезнь — в головах, Болезнь — невежество людское, дурь, своеволие, темнота, когда думают, что, мол, ничего, пушай в одной избе и книга, и мышь побудут. Эвон! Книгу-то в одну избу с мышью! Страшно и представить!

И вот ведь упрямство какое у гадин: ведь можно подумать, что им читать не дают, стихи отымают

али эссе какой! Для чего ж государство и писцов завело, для чего Рабочие Избы понаставило, грамоте учит, письменные палочки выдает, бересту обдирает, книжицы берестяные шьет? Ему ж, государству, от этого только забота лишняя, напруг, беспокойство! А все для народа, все для него! Налови ты себе мышей, ради Бога, да и сменяй на книжицу, да и читай, тудыты!..

От гнева сжимал кулаки, метался на лежанке, а в голове все ясней да ясней становилось, вроде как просторы раздвигались! Господи! Да ведь так же всегда и было: и в древности то же самое! «Но разве мир не одинаков в веках, и ныне, и всегда?..» Одинаков! Одинаков!

Здесь на земле, в долинах низких,
Под сенью темных смрадных крыш
Связала паутина близких,
И вьет гнездо земнаямышь.

Толпятся близкие в долине,
Шумят, — но каждый одинок
И прячет у себя в пустыне
Застывший, ледяной комок.

Вот! И древний человек туда же: хулиганил, своевольничал, книгу прятал: на морозе где-то, в сырости, оледеневшую, комком! Понятно теперь!

...Вот в щели каменные плит
Мышиные просунулися лица,
Похожие на треугольники из мела,
С глазами траурными по бокам...

Да, мышшь-то не удержишь! В любую щель пройдет!

...Жизни мышья беготня,
Что тревожишь ты меня?

А-а, брат пушкин! Ага! Тоже свое сочинение от грызунов берег! Он напишет — а они съедят, он напишет, а они съедят! То-то он тревожился! То-то туда-сюда по снегу разъезжал, по ледяной пустыне! Колокольчик динь-динь-дины! Запряжет перерожденца да и в степь! Свое припрятывал, искал, где уберечь!

Ни огня, ни темной хаты,
Глушь и снег, навстречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне!

Местечко искал, где зарыть... Все так прояснилось, что Бенедикт сел, спустил ноги с лежанки. Как же он раньше-то... Как же указание-то пропустил... А давеча! Что пели-то с Лев Львовичем!

Степь да степь кругом,
Путь далек лежит!
В той степи глухой
Умирал ямщик!

Ну? Чего его в степь понесло, если не книгу прятать? — «... у себя в пустыне застывший, ледяной комок».

А жене скажи,
Что в степи замерз,
А любовь ее
Я с собой унес!

Какую «любовь»? Да книгу же! Что ж и любить, как не книгу?! А?!..

«С собой унес». Жене просит сообщить, чтоб не искала... А то хватится... Вот тебе и стихи! Не стихи это, а притча! Руководящее указание в облегченной для народа форме!

Вот он отчего плакал-то, Лев Львович-то! Небось тоже зарыл, теперь не найдет! Тут заплачешь! Запел да и вспомнил!

А как они Бенедикту намек делали? Бенедикт им: нет ли, де, книжечки почитать? А они ему: ты грамоте не учен. А он им: как же не учен, я учен! А они ему: степь да степь кругом. Намек такой. Притча. Там, мол, книги зарыты. Дома не держим.

Так. Степь у нас — где? Степь на юге... А что же он

все приговаривает: запад нам поможет?.. А Никита Иваныч ему: нипочем, дескать, не поможет, должны сами. Так как же? Где?

Теща в дверь стукнула:

— Детей купаты!.. Смотреть будете?

— Не мешать!!! — крикнул Бенедикт истошно, рукой рубанул наотмашь. — Дверь закрыть!!!

— Дак купать-то?..

— Дверь!!!

С мысли сбила, тудыть!.. Бенедикт торопливо облачился: зипун, балахон, колпак, — ссыпался по лестнице, свистнул вялому Николаю запрягаться.

Погонял нетерпеливо, притоптывал в санях валенком. Горизонт обсмотреть. Непременно надо горизонт обсмотреть. Пока еще свет зимний, малый не погас — обсмотреть горизонт на четыре стороны.

К дозорной башне ехал Бенедикт, вот куда. Никогда еще он на дозорную башню не лазал, да и кто ж голубчика на нее допустит? Запретная дылда, государственная, — только стражи да мурзы на башню допускаются, а почему? — потому что видать с нее далеко, а это дело государственное, не для всякого! Незачем простому голубчику вдаль смотреть: не по чину! Может, там, вдали, войско какое идет! Может, лютый враг на нашу светлую родину покусился, палок наострил да и в поход выступил! Это ж дело государственное! Нельзя! Да только Бенедикта никто нипочем не остановит, как есть он санитар.

Не остановили. Естественно.

Дозорная башня вышиной выше самого высокого терема, выше дерева, выше александрийского столпа. Наверху — горница. В горнице, в стенах ее, — четыре окна, четыре прорези на четыре стороны света. Поверху крыша о четырех скатах, шапкой. Вот как мурзы носят. Снизу смотришь — высоко-высоко вверху, под облаками, государевы работники, стражи копошатся, будто мураши маленькие, — переползают с места на место, чего-то там шуруют. Внизу охрана с бердышами. Бенедикт тяжело, по частям восстал с саней, глянул страшными глазами сквозь багряные прорези, поднял крюк — охрана пала ниц, в твердый морозный наст. Вступил в башню. Пахнуло псиной от нечистых зипунов, тяжким духом дешевой ржави: курили сырую, неочищенную, с остьями и соломой. Деревянные ступени гремели под ногами. Винтовая лестница с желтой наледью — тут справляли нужду, затапывали окурки; на стенах, посверкивающих изморозью, выцарапывали матерное, приличное. Бездуховность... Восходил долго, опираясь на крюк, на площадках отдыхал. Из рта выходил пар, да так и оставался висеть клубком в стылом, сраном воздухе.

На верхней площадке испуганно дернулись, обернулись на красный балахон государевы работники.

— Вон! — приказал Бенедикт.

Работники дрызнули прочь, бросились вниз, толкаясь, грохоча восемью ногами.

С башни видно далеко. Далеко!.. — да и слова такого нет в языке, чтоб сказать, докуда видно с башни! А кабы и было такое слово, так вымолвить его страшно! У-у-у, докуда! — до дальней дали, до крайнего края, до предельного предела, до смерти! Весь блин земной, вся небесная крыша, весь холодный декабрь, весь город со всеми своими слободами, с темными кривыми избушками — пустыми и распахнутыми, прочесанными частыми гребнями санитарных крюков и еще заселенными, еще копошащимися бессмысленной, пугливой, упрямой жизнью!..

О мир, свернись одним кварталом,
Одной разбитой мостовой,
Одним проплеванным амбаром,
Одной мышиною норой!..

Закат желтый, страшный, узкий стоял в западной бойнице, и вечерняя звезда Алатырь сверкала в закате. Маленькой черной палочкой в путанице улочек стоял пушкин, тоненькой ниточкой выделась с вышины веревка с бельем, петелькой охватившая шею поэта.

Восход лежал густо-синим пологом в другом окне, укрывая леса, и реки, и опять леса, и тайные поляны, где под снегом спят красные тюльпаны, где зимует, вся в морозных кружевах, в ледяном узорчатом

яйце, с улыбкой на пресветлом лице вечная моя невеста, неразысканная моя любовь, Княжья Птица Паулин, и снятся ей поцелуи, снятся шелковая мурава, золотые мухи, зеркальные воды, где отражается ее несказанная красота, — отражается, переливается, зыблется, множится, — и вздыхает во сне Княжья Птица счастливым вздохом, и мечтает о себе, ненаглядной.

А на юге, страшно подсвеченном двойным светом — желтым с запада и синим с восхода, — на юге, заслоняя непроходимые снежные степи с свистящими смерчами, с метельными столбами, на юге, бегущем, все бегущем, все убегающем к синему, ветреному Море-окияну, на юге, за оврагом, за тройным рвом, во всю ширину окна распластался красный, узорный, расписной, резной, многокупольный, многоярусный терем Федора Кузьмича, слава ему, Набольшего Мурзы, долгих лет ему жизни.

— Га-а! — засмеялся Бенедикт.

Радость брызнула квасом, пенистым, искристым.

Радость, дочь иного края,
Дщерь, послушная богам!!!

Все вдруг стало ясно, прозрачно, как в весеннем ручье. Все открылось, как в полдень. Вот же! Вот!.. Вот, прямо перед ним, нетронутый, нетраченный, полный до краешка ларец, волшебный сад в цветах

и плодах — в бело-розовом кипенье, истекающий сладчайшим соком, как миллиард спелых огнецов! Вот, набитый от гулких подвалов до душистых чердаков, дворец наслаждений! Пещера Али-Бабы! Тадж-Махал, бля!

Ну да! На юге, верно! Вот запад-то и помог! Свет-то с запада, звезда-то путеводная! Все и осветила! Догадался, вычислил, понял намеки, притчу понял — все и сошлось!

Он зажмурился от счастья, крепко стиснул веки, помотал головой; вытянув шею, высунулся в прорезь бойницы, чтобы лучше чувствовать; он вдыхал аромат мороза и дерева, сладких дымков, кудрявившихся из печных труб Красного Терема; с сомкнутыми веками он словно бы видел лучше, слышал острее, чуял явственней; там, там, совсем рядом, совсем близко, за оврагом, за рвом, за тройной стеной, за высоким частоколом, — но ведь через стену можно перепрыгнуть, под частокол проскользнуть. Вот сейчас бы мягко, мягко, неслышно и невидимо соскочить с башни, перенестись в вихре метели, легкой пылью через овраг, снежным смерчем в слуховое окно! Ползком и скачком, гибко и длинно, но только не упустить, не потерять следа; ближе, все ближе к терему, ни следа не оставить на снегу, ни подворотного пса не спугнуть, ни домашней твари не потревожить!

И упиться, упиться, упиться буквами, словами, страницами, их сладким, пыльным, острым, непо-

вторимым запахом!.. О маков цвет! О золото мое не-
тленное, невечернее!

— Ы-ы-ы-ы-ы-ы!!!.. — крикнул в блаженстве
Бенедикт.

— Что, зятек, созрел? — тихо засмеялись сзади,
над ухом. Бенедикт вздрогнул и открыл глаза.

— Ну вас совсем, папа! Напугали!

Тесть подкрался бесшумно, даже половицы не
дрогнули. Видно, когти втянул. На нем тоже был
красный балахон, на голове — колпак, только по го-
лосу да по вони слышно было, что — да, тесть, Куде-
яр Кудеярыч.

— Дак как? — шепнул тесть. — Ковырь?

— Не понял...

— Сковырнуть тянет? Федора Кузьмича, слава
ему, скovyрнуть готов? Злодея-мучителя? Карлу
проклятого?

— Готов, — твердо шепнул и Бенедикт. — Папа! Я
бы его своими руками!..

— Сердечко твое золотое!.. — радовался тесть. —
Ну?! Наконец-то!.. Наконец-то!.. Дай обниму!

Бенедикт с Кудеяр Кудеярычем стояли обняв-
шись, смотрели на город с высоты. В избах затепли-
лись синие огоньки, закат погас, проступили зве-
зды.

— Давай друг другу клятву дадим, — сказал Куде-
яр Кудеярыч.

— Клятву?

— Ну да. Чтоб дружба навек.

— А... Давайте.

— Я тебе — все. Я тебе дочь отдал, а хочешь — жену уступлю?

— Н-н-необязательно. Нам нужен кант в груди и мирное небо над головой. Закон такой, — вспомнил Бенедикт.

— Верно. И чтоб вместе — против тиранов. Согласен?

— А то.

— Разорим гнездо угнетателя, лады?

— Ох, папа, там книг, как снега!

— И-и, милый, больше. А он картинки из них дерет.

— Молчите, молчите, — заскрежетал зубами Бенедикт.

— Не могу молчать! Искусство гибнет! — строго высказал тесть. — Нет худшего врага, чем равнодушные! С молчаливого согласия равнодушных как раз и творятся все злодеяния. Ты ведь «Муму» читал? Понял притчу? Как он все молчал-молчал, а собака-то погибла.

— Папа, но как...

— Ништяк, все продумано. Революцию сделаем. Только тебя и жду. Ночью полезем, он ночью-то не спит, а стража будет умаявши. Лады?

— Но как же ночью, ночью темно!

— А я на что? Али я не светоч?

Тесть пустил глазами луч и засмеялся довольно.

Чисто и ясно, льдисто было на душе. Без неврозов.

ЯТЬ

В Красном Тереме запах такой с плеснецей — знакомый, волнующий... Ни с чем не спутаешь. Старая бумага, древние переплеты, кожа их, следы золотой пыльцы, сладкого клея. У Бенедикта немножко подкашивались и ослабевали ноги, будто шел он на первое свидание с бабой. С бабой!.. — на что ему теперь какая-то баба, Марфушка ли, Оленька ли, когда все мыслимые бабы тысячелетий: Изольды, Розамунды, Джульетты с их шелками и гребнями, капризами и кинжалами — вот сейчас, сейчас будут его, отныне и присно, и во веки веков... Когда он сейчас, вот сейчас станет обладателем неслыханного, невообразимого... Шахиншах, эмир, султан, Король-Солнце, начальник ЖЭКа, Председатель Земного Шара, мозольный оператор, писмоводитель, архимандрит, папа римский, думный дьяк, коллежский асессор, царь Соломон, — все это будет он, он...

Тесть освещал дорогу глазами. Два сильных, лунно-белых луча обшаривали коридоры, — пыль то загоралась и плавала в столбах света, то погасала на миг, когда тесть смаргивал, — голова у Бенедикта кружилась от частых вспышек, от запаха близких книжных переплетов и сладковатой вони, шедшей

из тестевой пасти, — тот все подергивал головой, словно его душил ворот. Тени, как гигантские буквицы, плясали по стенам, — «глаголь» крюка, «люди» острого колпака Бенедикта, «живете» растопыренных, осторожных пальцев, ощупывающих стены, шарящих в поисках потайных дверей. Тесть велел ступать тихо, ногами не шуркать.

— Слушай революцию, тудыть!..

Революционеры крались по коридорам, заворачивали за углы, останавливались, озирались, прислушивались. Где-то там, у входа, валялась жалкая, теперь уже бездыханная, охрана: что может бердыш или алебарда против обоюдоострого, быстрого, как птица, крюка!

Прошли два яруса, поднимались по лестницам, на цыпочках пробегали всяческие галереи, где сквозь оконные пузыри сильно и страшно светила луна; черными валенками бесшумно пробежали по лунным половицам; раскрылись внутренние, высокие и узорные, сени, где похрапывала — ноги взразвалку, шапки на грудях — пьяная внутренняя охрана. Тесть тихо заругался: ни порядку в государстве, ничего. Все Федор Кузьмич развалил, слава ему! Быстро, сильно тыкая, обезвредили охрану.

После сеней опять пошли коридоры, и сладкий запах приблизился, и, глянув вверх, Бенедикт всплеснул руками: книги! На полках-то — книги! Господи! Боже святой! Подогнулись колени, задрожал, тихо заскулил: жизни человеческой не хватит

все перечитать-то! Лес с листьями, метель бесконечная, без разбору, без числа! А!.. А!!!.. А!!!!!!! А может.. а!.. может, тут где... может, и заветная книжица!.. где сказано, как жить-то!.. Куда идтить-то!.. Куда сердце повернуть!.. Может, ту книжицу Федор Кузьмич, слава ему, уже нашел, разыскал да читает: на лежанку прыг, да все читает, все читает! Вот он ее нашел, ирод, да и читает!!! Тиран, бля!

— Не отвлекайся! — дохнул в лицо тесть.

Коридоры ветвились, загибались, раздваивались, уходили в неведомые глубины терема. Тесть крутил глазами — только книжные корешки мелькали.

— Должон простой ход быть, — бормотал тесть. — Где-то тут простой ход быть должон. Быть того не может.. Где-то мы тут сбились...

— «Северный вестниииииик»!!! Восьмой номеееееееер!!! — завопил Бенедикт. Рванулся, толкнув Кудеяр Кудеярыча; тот споткнулся, ударился о стену; падая, уперся рукой; стена подалась и оборотилась полкой, полка рухнула и посыпалась, и се — раскрылась взгляду палата большая-пребольшая, по стенам все шкафы да полки, а в палате столы без счету, книгами завалены, а у главного стола, в полукольце тысячи свечей, тубарет высокий, а на тубарете сам Федор Кузьмич, слава ему, с письменной палочкой в деснице; личико к нам оборотил и ротик разинул: удивился.

— Почему без доклада? — нахмурился.

— Слезай, скидавайся, проклятый тиран-крова-
пийца, — красиво закричал тесть. — Ссадить тебя
пришли!

— Кто пришел? Зачем пропустили? — забеспоко-
ился Федор Кузьмич, слава ему.

— «Кто пришел», «кто пришел»! Кто надо, тот и
пришел!

— Тираны мира, трепещите, а вы мужайтесь и
внемлите! — крикнул и Бенедикт из-за тестева
плеча.

— Чего «трепещите»-то? — Федор Кузьмич понял,
скривил личико и заплакал. — Вы чего делать-то хо-
тите?

— Кончилась твоя несправедная власть! Помучил
народ — и будя! Сейчас мы тебя крюком!

— Не надо, не надо меня крюко-ом! Крюком боль-
на-а!

— Ишь ты! Он еще будет жалкие слова гово-
рить! — закричал тесть. — Бей его! — И сам ударил
наотмашь. Но Федор Кузьмич, слава ему, горошком
скатился с тубарета и отбежал, так что попал тесть
по книге, и книга та лопнула.

— Зачем, зачем вы меня ссаживаете-е-е-е?

— Плохо государством управляешь! — закричал
тесть страшным голосом. Бросился с крюком к На-
большему Мурзе, долгих лет ему жизни, но Федор
Кузьмич, слава ему, опять нырнул под тубарет, от-
туда под стол и перебежал на другую сторону гор-
ницы.

— Как умею, так и управляю! — заплакал с той стороны Федор Кузьмич.

— Развалил все государство к чертовой бабушке! Страницы из книжек выдираешь! Лови его, Бенедикт!

— У пушкина стихи украл! — крикнул тоже и Бенедикт, распалая сердце. — Пушкин — наше все! А он украл!

— Я колесо изобрел!

— Это пушкин колесо изобрел!

— Я коромысло!..

— Это пушкин коромысло!

— Я лучину!..

— Она! Еще упорствует..

Бенедикт бросился ловить Федора Кузьмича с одной стороны стола, тесть кинулся в обход с другой стороны, а Набольший Мурза, долгих лет ему жизни, опять нырнул под стол и перебежал назад.

— Не трогайте меня, я добрый и хороший!

— Юркий, гнида! — закричал тесть. Рукой о стол оперся и прыгнул, прямо одним прыжком столешницу перемахнул. Федор Кузьмич, слава ему, визгнул, порскнул под шкаф и забился там в глубину куда-то.

— Лови его! — хрипел тесть, шаря и тыкая крюком под полками. — Уйдет! Уйдет! У него тут ходы всюду прорыты!

Бенедикт подбежал на подмогу. Вместе, мешая друг другу, тыкали крюками, шарили, запыхались.

— Чего-то держу, вроде попался... Ну-к, ты помоложе, нагнись погляди... Не подцепить никак... Он, нет?..

Бенедикт встал на четвереньки, завернул голову под шкаф — темно, ключья какие-то.

— Не видать ничего... Кудеяр Кудеярыч, вы бы осветили!

— Выпустить боюсь... Ну-ка, крюк перехвати у меня... Ч-черт, не пойму...

Бенедикт перехватил крюк; тесть встал на карачки, пустил под шкаф свет, кряхтел.

— Пылишша... Не видать ничего... Пылишшу развел...

Под крюком дернулось, вроде как одежда треснула, Бенедикт тыкнул с поворотом, но поздно: туку-туку-туку — мелкие шажочки перебежали вдоль стены за полками куда-то в глубь палаты.

— Упустил, чорт! — крикнул тесть с досадой. — Учил ведь тебя, учил!

— А чего всегда я!.. Вы сами за одежду зацепили!

— Придавить надо было! Где он теперь... А ну, выходи, Федор Кузьмич! Выходи по-хорошему!

— Нечестно, нечестно! — крикнул Федор Кузьмич, слава ему, из-под полок.

— Там он! Давай!

Но Федор Кузьмич опять перебежал.

— Не надо меня ловить, маленького такого!..

— Тыкай!.. Тыкай сюда, тудыгы!..

— Почему настаиваете?.. Уходите отсюда! — пискнул Федор Кузьмич из третьего места.

— ...Плохие люди! — крикнул из четвертого.

Тесть озирался, Бенедикт озирался, вытянув шею, склонив голову, — вот шуркнуло под дальним шкафом; повернул голову к дальнему шкафу; вот прошелестело под полками; мягким длинным прыжком Бенедикт прыгнул к полкам; если закрыть глаза, звуки лучше слышно; закрыл глаза, поводит головой из стороны в сторону; еще бы уши прижать — совсем хорошо бы; ноздри раздулись — можно и по запаху... где он пробегает, там его запах... Вот он!

— Вот он! — крикнул Бенедикт, прыгая, наваливаясь и крутя крюком; под крюком пронзительно, тонко завизжало. — Держу-у-у-у!

Лопнуло что-то; звук такой тихий, но отчетливый; на крюке напряглось и обмякло. Бенедикт крутанул и выволок из-под полки Набольшего Мурзу, долгих лет ему жизни. Тельце чахленькое, а сколько возни было. Бенедикт сдвинул колпак, обтер рукавом нос. Смотрел. Видать, хребтина переломилась: головка набок свернута, и глазки закатимши.

Тесть подошел, тоже посмотрел. Головой покачал.

— Крюк-то запачкамши. Прокипятить придется.

— Ну а теперь чего?

— А счисть его вон хоть в коробку.

— Руками?!

— Зачем руками? Боже упаси. Вон бумажкой давай. Бумажки-то тут полно.

— Э, э, книги не рвите! Мне читать еще!..

— Тут без букв. Картинка одна.

Тесть вырвал портрет из книжки, свернул кульком, руку просунул и счистил Федора Кузьмича, слава ему, с крюка. И крюк обтер.

— Так вот, — бормотал тесть. — Никому тиранить не дозволено! Ишь моду взяли: тиранить!

Бенедикт что-то вдруг устал. В висках заломило. А потому что нагибался с непривычки. Сел на тубарет отдышаться. На столе книг куча понаразложена. Ну, всё. Все теперь его. Осторожно открыл одну.

Весь трепет жизни, всех веков и рас,
Живет в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас.

Стихи. Захлопнул, другую листанул.

Кому назначен темный жребий,
Над тем не властен хоровод.
Он, как звезда, утонет в небе,
И новая звезда взойдет.

Тоже стихи. Господи! Боже святой. Сколько еще всего не читано! Третью открыл:

Каким ты хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?

Четвертую:

Все ли спокойно в народе?

— Нет. Император убит.

Кто-то о новой свободе

На площадях говорит.

Чего-то все про одно. Видно, тиран себе подборочку готовил. Открыл пятую, из которой портрет-то попортимши об Федора Кузьмича, слава ему:

На всех стихиях человек —

Тиран, предатель или узник.

Тесть вырвал книгу у Бенедикта, бросил.

— Занимаешься чепухой! Сейчас о государстве думать нужно!

— А, о государстве?.. А чего?

— Чего! Мы с тобой государственный переворот сделали, а он: чего. Порядок наводить нужно.

Бенедикт оглянул палату: верно, все перевернуто, тубареты кверху днищем, столы сдвинуты, книжки валяются как ни попадя, с полок попадамши, пока они за Набольшим Мурзой, долгих лет ему жизни, бегали. Пыль оседает.

— Дак чего? Холопов прислать — и приберут.

— Вот то-то ты и есть шеболда! Духовный, духовный порядок нужен! А ты о земном печешься! Указ надо писать. Когда государственный переворот делают, всегда указ пишут. Ну-к, бересту чистенькую мне подыщи. Тута должна быть.

Бенедикт порыскал по столу, подвигал книжки. Вот свиток почти чистенький. Видать, Федор Кузьмич, слава ему, только писать начал.

Указ

Вот как я есть Федор Кузьмич Каблук-ков, слава мне, Набольший Мурза, долгих лет мне жизни, Секлетарь и Академик и Герой и Мореплаватель и Плотник, и как я есть в непрестанной об людях заботе, приказываю.

× Тута у меня минутка свободная выдалась, а то цельный день без продыху.

× Вот чего еще придумал для народно-го бла...

А дальше только черта да клякса: тут мы его, знать, и спугнули.

— Так. Ну-ка, давай, чего тут?.. Это все позачеркни. Пиши, у тебя почерк лучше: Указ Первый.

Указ Первый

1. Начальник теперь буду я.

2. Титло мое будет Генеральный Сани-тар.

3. Жить буду в Красном Тереме с удво-енной охраной.

4. На сто аршин не подходи, кто подойдет — сразу крюком без разговоров.

Кудеяров

Подскриптум:

Город будет впредь и во веки веков зваться Кудеяр-Кудеярычск. Выучить накрепко.

Кудеяров

Бенедикт записал.

— Так. Покажи, что вышло. «Кудеяров» надо крупнее и с завитком. Зачеркни. Перепиши давай, чтоб фамилия большими буквами, эдак с ноготь. После «в» давай крути так кругаями вправо-влево, вроде как петлей. Во. Ага.

Тесть подышал на бересту, чтоб подсохло; полюбовался.

— Так. Чего бы нам еще?.. Пиши: Указ Второй.

— Кудеяр Кудеярыч! Вы укажите, чтоб праздников больше.

— Эка! Подход у тебя какой негосударственный! — осерчал тесть. — Указ подписан? Подписан! Вступил в силу? Вступил! Вот и зови меня: Генеральный Санитар. Обращайся как положено. А то позволяешь себе.

— А добавка? Заклинание-то?

— А, добавка... Добавка... А давай так: «жизнь, здоровье, сила». Генеральный Санитар, жизнь, здо-

ровье, сила. Впиши там. Так... Тебе тоже надо... Хочешь быть Зам-по-обороне?

— Я хочу Генеральный Зам-по-обороне.

— Это что, уже подсиживать?! — закричал тесть.
— Подсиживать, да?!

— Да при чем тут? Вот вечно вы, прям как я не знаю кто! Ничего не подсиживать, а просто красиво: Генеральный!

— А еще б не красиво! А только двум сразу нельзя! Генеральный всегда только один! А ты, хочешь — будь Зам-по-обороне и морским делам.

— По морским и окиянским.

— Да хоть каким. Давай дальше. Указ Второй.

— Праздников, праздников побольше.

— Вот опять негосударственный подход! Перво-наперво гражданские свободы, а не праздники.

— Почему? Какая разница?

— Потому! Потому что так всегда революцию делают: спервоначала тирана свергнут, потом обозначают, кто теперь всему начальник, а потом гражданские свободы.

Сели писать, шурша берестой. За окном начало светать. За дверями слышался шорох, переговоры шепотом, возня. Постучали.

— Ну, кто лезет? Чего надо?!

Ввалился холоп с поклоном.

— Там это... делегация представителей, спрашивают: ну как?

— Каких представителей?

— Каких представителей? — крикнул холоп, оборотясь в сени.

— Народных! — крикнули глухо из сеней. Вроде Лев Львович крикнул. Вот не успели тирана ссадить, как уже ходоки досаждают. Прослышали, стало быть. Ну, люди! Ну ни минуты покоя!

— Народных каких-то.

— Скажи: революция состоялась благополучно, тиран низложен, работаем над указом о гражданских свободах, не мешать, разойтись по домам.

— Про ксероксы не забудьте! — крикнули из сеней.

— Он мне еще указывать будет! Кто освободитель? Я! Гнать его в шею, — рассердился тесть. — Дверь закрой и не пускай никого. Мы тут, понимаешь, судьбоносные бумаги составляем, а он под руку суется. Давай, Зам. Пиши: Указ Второй.

— Написал.

— Так... Свободы... Тут у меня записано... памятка... не разберу. У тебя глаза помоложе, прочти-ка.

— Э-э-э... Почерк какой корявый... Кто писал-то?

— Кто-кто, я и писал. Из книги списывал. Консультировался, все чтоб по науке. Читай давай.

— Э-э-э... свобода слева... или снова... не разберу...

— Пропусти, дальше давай.

— Свобода... вроде собраний?

— Покажи-ка. Вроде так... Ну да. Значит, чтоб когда соберутся, чтоб свободно было. А то набьется

дюжина в одну горницу, накурят, потом голова болит, и работники с них плохие. Пиши: больше троих не собираться.

— А ежели праздник?

— Все равно.

— А ежели в семье шесть человек? Семь?

Тесть плюнул.

— Что ты мне диалектику тут разводишь? Пущай тогда бумагу подают, пеню уплатят, получают разрешение. Пиши!

Бенедикт записал: «больше троих ни Боже мой не собираться».

— Дальше: свобода печати.

— Это к чему бы?

— А должно, чтоб старопечатные книги читали.

Тесть подумал.

— Можно. Хрен с ними. Теперича без разницы. Пущай читают.

Бенедикт записал: «старопечатные книги читать дозволяется». Подумал и приписал: «но в меру». Так и Федор Кузьмич, слава ему, всегда указывал. Еще подумал. Нет, все-таки как же получается: это каждый бери да читай? Свободно доставай из заглашника, раскладывай на столе, а там, может, пролито чего али напачкано? Когда книгу читать запрещено, так каждый свою бережет, чистой тряпицей оборачивает, дыхнуть боится. А когда дозволено читать, так небось и корешок перегибать будут, а то листы вырывать! Кидаться книгами вздумают. Нет! Нельзя

людям доверять. Да чего там: отобрать их, и все дела. Прочесать городок, слобода за слободой, дом за домом, перетряхнуть все, книжки изъять, на семь засовов запереть. Неча!

Вдруг почувствовал: понимаю государственный подход!!! Сам, без указа, — понимаю!!! Ура! Вот что значит в Красном Тереме сидеть! Бенедикт расправил плечи, засмеялся, высунул кончик языка и аккуратненько перед «дозволяется» приписал «не».

— Так... Свобода вероиспо ... испо... исповедания. Тесть зевнул.

— Да чего-то надоело. Хватит свобод.

— Тут еще немного.

— Хватит. Хорошенького понемножку. К обороне переходим. Пиши: Указ Третий.

Провозились с обороной до полудня. От тещи присылали спросить, когда они домой-то пожалуют: обед простыл. Велено было блинов да пирожков подать в Красный Терем, квасу бочку, свечей. Бенедикт, как Зам-по-обороне и морским и окиянским делам, увлекся: интересно. Порешили обнести городок забором в три ряда, чтобы от чеченцев сподручнее было обороняться. Поверху забора на двадцати четырех углах возвести будки, и в те будки дозор поставить, чтоб днем и ночью в обе стороны зорко наблюдали. На четырех сторонах ворота поставить тесовые. Ежели кому в поля пройтись надо — репу сажать али снопы вязать, — получить в конторе

пропуск. С утра по пропуску выйдешь, вечером — назад. Холопы в пропуске дырку провертят, али, как тесть выразил, проконпастируют, и имечко впишут: пропущен, дескать, такой-то, десятину сдал. А еще, мелькнуло у Бенедикта, этот забор — против кыси оборона. А построить его высоким-превысоким, и не пройдет она. А внутри забора ходи куда хочешь и свободой наслаждайся. Покой и воля. И пушкин тоже так сочинил.

Да! Потом еще оборонить пушкина от народа, чтоб белье на него не вешали. Каменные цепи выдолбить, и с четырех сторон вокруг него на столбах расположить. Сверху, над головкой, — козырек, чтоб птицы-блядуницы не гадили. И холопов по углам расставить, дозор ночной и дозор дневной, особо. В список дорожных повинностей добавить: прополка народной тропы. Зимой чтоб тропку расчищали, летом можно цветками колокольчиками обсадить. Укроп запретить в государстве, чтоб духу его не было.

Еще посидел, еще подумал, рассердился: пушкин — это ж наше все! А Бенедикт, тем более, Зам по морским и окиянским. Вот что надо сделать: выдолбить ладью большую, да с палками, да с перекрестьями, вроде корабля. У речки поставить. И пушкина наверх вторнуть, на самую на верхотуру. С книгой в руке. Чтобы выше александрийского столпа, и с запасом.

Пущай стоит там крепко и надежно, ногами в це-

пях, головой в облаках, личиком к югу, к бескрайним степям, к дальним синим морям.

— Пушкина моего я люблю просто до невозможностей, — вздохнул Бенедикт.

— Больше меня? — нахмурился тесть. — Смотри у меня! Пиши: Указ Двадцать Восьмой. «О мерах противопожарной безопасности».

ФИТА

— Папа жалуются, что ты от него отсаживаешься, за столом-то. Обижаешь папу-то...

— Пахнет от него, вот и отсаживаюсь.

— Пахнет! Ишь! Чем же это тебе пахнет!

— Покойником пахнет.

— Но дак а чем же. Не тюльпаном же ему пахнуть?

— А мне противно.

— Но дак и что? Это по работе!

— А я не хочу. Пусть не пахнет.

— Скажите какой нежный.

Бенедикт отвечал рассеянно, привычно, не подымая глаз, — он сидел за просторным столом в светлой палате Красного Терема. На потолке — помнил и не глядя — роспись кудрявая, цветы да листья. Которые ржавью наведены — те вроде коричневые, которые тертыми ракушками — зелененькие, ну а синим камнем если — так те аж синие. Лепота! Свет широ-

ко входит в зарешеченные окна, на дворе лето, травы да цветы, и на потолке всегда лето. Бенедикт ел сладкие жамки и читал журнал «Коневодство». Спокойно читал, с удовольствием: журналов этих цельный коридор, на весь век хватит. Вот почитает из журнала, а потом «Одиссею» немножко, потом Ямамото какое, или «Переписку из двух углов», или стихи, или «Уход за кожаной обувью», а то Сартра — чего захочет, то и почитает, все тут, все при нем. На веки веков, аминь.

Делами государственными заниматься совершенно не хотелось: скукотища. Дали голубчикам свободы, дали им Указы — чего еще народу нужно? Даже Инструкции дали, уж чего больше? Работай не хочу.

Оборону укрепить — укрепили: заборы, частоколы, тыны — все как могли подправили, залатали, дырья позатыкали тряпками, ветошью, у кого что. Враг не пройдет, разве что через Екиманское болото, дак на то оно и болото, чтоб не пройти. Кто ж в своем уме через болото сунется?

Кохинорскую слободу сначала думали от города особым забором отгородить, чтоб они к нам не совались, но потом еще раз подумали и постановили: неа, ни пяди земли не отдадим.

Неделю заседали, решали вопрос: ежели вступим в вооруженный конфликт с иноземным государством да и победим, — а есть ли оно где, про то неведомо, — какой ясак брать с побежденных голубчиков:

каждодневный, али понедельный, али, может, ежеквартальный?

Високосный год, ясное дело, отменили на веки вечные.

Особо указали, чтобы чародеям, ворожеям, зелейникам, обаянникам, кудесникам, сновидцам, звездочетам, ведунам, лихим бабам и тем, кто чакры открывает-закрывает, — ни-ни, ни Боженька мой, ни в коем разе не заниматься волхованием в частном порядке. Всем колдунам, а особо облакопрогонникам, считаться государевыми людьми и всегда спать в одежде в ожидании срочного вызова.

Титло тестю длинное, парадное разработали: в казенных бумагах велено стало называть его: Кудеяр-паша, Генеральный Санитар и Народный Любимец, жизнь, здоровье, сила, Теофраст Бомбаст Парцельс-и-Мария-и-Санчес-и-Хименес Вольфганг Амадей Авиценна Хеопс фон Гутенгейм.

Тетеря захотел называться Петрович-сан, Министр Транспорта и Нефтедобывающей и Нефтеперерабатывающей Промышленности. А что это значит, а это значит, что он воду пинзин с-под земли велел ведрами да ушатами всю повычерпать да в подвал перетаскать. А вода красивая, ничего не скажешь, поверху словно радугой отливает. Но на вкус поганая, да и запах не очень. И над всей тягловой силой, над всеми перерожденцами он Главный.

А Оленька с Февронией никак называться не захотели, а только нарядов себе навертели, чтобы

каждый раз в новом платье на публичные казни ездить: на колесование, али усекновение языка, али еще что.

Скушно.

— ...Дак папа обижаются, говорят, ты морду воротишь. Бенедикт! Ты морду-то не вороти!

— Пошла вон. Я читаю.

Бенедикт подождал, пока вся Оленька, целиком, без остатка, выйдет в широкие двери. Сбила с мысли, сволочь.

— Я смотрю, ты от меня морду воротишь, — сказал тесть.

— Глупости.

— А ведь мы друзья навек. Клятва дадена.

— М-м.

— Куда ты, туда и я. От книги-то оторвись!

— Ну что, что?

Семья сидела за столом, ела канареек-гриль и смотрела на Бенедикта с неудовольствием — все, даже Петрович-сан. Дети, Пузырь и Конкордия, ползали под столом, скребли пол когтями.

— Перестановки я задумал во властных структурах, мил-человек.

— Да на здоровычко.

— Двигатель внутреннего сгорания мы тут с Петровичем задумали спроворить. Пинзин есть, искру я глазами буду, остальное — в рабочем порядке.

— Бог в помощь. Я тут при чем?

— Консолидация нужна небольшая, — ввинтился Петрович-сан.

— У меня нету.

— Эты!.. Подмога, подмога нужна!

— Главного Истопника извести желаю, — сказал тесь.

Бенедикт подумал, что ослышался, заложил книгу пальцем, вытянул шею.

— Куда извести?

— Куда, куда — казнить! Уши-то протри! — вспыллил тесь. — Совсем зачитался, в бумажках зарылся, государство забросил, а еще Зам! Казнить его желаю, как вредный пожароопасный элемент! В согласии с Государственным Указом, вступившим в силу еще эвон когда! И экономике от него урон: народ распустился, печи даром зажигают, никто огневой налог не платит!

— Нам теперь с бензином открытого огня держать никак нельзя, — подтвердил Тетеря, — это я как Министр Нефтедобывающей и Нефтеперерабатывающей заявляю. Мы ж теперь страна ОПЕК. Нам про экспорт думать надо, а не хухры-мухры.

— Да еще он раскопки вредные делает, под государство подкапывается. Утром встанем, а страна и провалимши.

— И столбы ставит, мешая свободному проезду, это уж я как Министр Транспорта.

— Революция продолжается, тут и рассуждать нечего, — сердито сказал тесь. — За чистоту рядов

надо постоять? — надо. Я ж медицинский работник, не забывай. Мы, медицинские работники, знаешь, какую клятву даем? Не вреди. А он вредит. Ну?! Так что давай по-быстрому съезди, свяжи его веревкой. К столбу там или куда примотай, только покрепше. Я бы людей послал, да он же хыхнет — и отобьется. А на тебя не хыхнет.

— Не позволю казнить Никиту Иваныча, что такое?!?! — закричал Бенедикт. — Старый друг.. ватрушки пек, пушкина вместе долбили и... это... вообще!!!

Про хвост афишировать не стал.

— Позволю — не позволю, твое разрешение никто не спрашивает! — закричал и тесть. — Ты Зам по морской и окянской обороне, а эти дела сухопутные! Двигатель построим, по дорогам ездить будем! Твое дело его доставить, чтоб не убежал!

— А хрен вам в жопу заместо укропу!

— Ах так?! Космополит! — крикнул Тетеря, толкая стол.

— От косматого слышу! Чучело четвероногое!

— Ты как с Министром разговариваешь?! — Тесть перегнулся и вырвал из Бенедиктовых рук книгу, шваркнул об пол, листы рассыпались.

— Блин!.. а вы, папа, вообще вонючка!

— Ах так?! А ну! — Тесть рывком бросился через стол, роняя посуду, хватая Бенедикта цепкими, холодными руками за горло. — А ну, повтори! Повтори, говорю!!! Щас я тебя огнем-то...

И, натужив глаза, начал жечь Бенедикта желтым, холодноватым, царапающим пламенем.

— Кончайте безобразия! При детях! — прикрикнула теща.

— Контролируйте себя, папенька!

— Чего вы вообще?.. Вы вообще... вы... вы... вы — кысь, вот вы кто!!! — крикнул Бенедикт, сам пугаясь: вылетит слово и не поймает; испугался, но крикнул. — Кысь! Кысь!

— Я-то?.. Я?.. — засмеялся тесть и вдруг разжал пальцы и отступил. — Обозначка вышла... Кысь-то — ты.

— Я-а?!?!?!

— А кто же? Пушкин, что ли? Ты! Ты и есть... — Тесть смеялся, качал головой, разминал затекшие пальцы, погасил в глазах свет — только красноватые огни перебегали в круглых глазницах. — А ты в воду-то посмотришь... В воду-то... Хе-хе-хе... Самая ты кысь-то и есть... Бояться-то не надо... Не надо бояться... Свои все, свои...

Теща тоже засмеялась, Оленька захихикала, Терентий Петрович-сан ослабился. И детки бросили скрести пол, подняли плоские головки и взвизгнули.

— В воду посмотришь...

Он бросился вон из горницы; семья смеялась ему вслед.

Что говорят-то! Что сказали-то!.. Вот амбар, вот бочка с водой — заслоняюсь руками от света, всмат-

ривался в темную, пахнущую тиной воду. Нет, вранье! Ложь!!! Видать плохо, но видно же: голова же круглая, хоть волосья и поредевши; уши же на месте, борода, нос там, глаза. Нет, я человек! Человек я!.. Да! Хрен вам!..

Ополоснул морду водой: кожа горела, саднила там, где тесть жег ее лучами, и на ощупь стало шероховато, вроде как мелкие волдыри али сыпь. Вдруг подступила тошнота, как если б сыру поел. Отбежал к двери, вырвало на косяк. Желтым чемто. Это от канареек, должно. Переел канареек. Фу-у, слабость.

...Пройтись надо, а? Продышаться. Сто лет пешком не ходил. Из городских ворот. Цыкнуть на стражу. Под горку. К реке. Через мосток — в лес и дальше, дальше, по колено, по пояс, по плечи в траве, туда, где цветы и мухи, и потаенная поляна, и медовый ветер, и белая Птица... Ага, жди...

...Брел, волочил лапти на отвыкших, квелых ногах и знал ясным, вдруг налетевшим знанием: зря. Нет ни поляны, ни Птицы. Вытоптана поляна, скошены тюльпаны, а Паулин — что ж, Паулин давно поймана силками, давно провернута на каклеты. Сам и ел. Сам и спал на подушках снежного, кружевного пера.

Знал — а все же брел, брел, почти равнодушно, как перед смертью или сразу после смерти, когда все уже совершилось и ничего не поправишь, — брел

мимо полей, засаженных синеватой репою, по оврагам с отвалами красной глины, через канавки и бочажки с червырями, тяжело всходил на холмы, оскальзываясь на разросшихся грибышах, — далеко было видно с холмов: поля, и снова поля с прополотой и непрополотой репой, и новые овраги, и темные перелески, где таится слеповран, и неправдоподобно далекие дубравы с огнецами, и еще поля, куда хватало глаза. Тут и тепло дуло ветром родины, серенькие облака мутили небосвод, а на горизонте синей стеной стояли облака темные, готовые расплакаться летними ливнями.

В зарослях ломких августовских хвощей нашел зеркальце темной воды, еще раз как следует обсмотрел свое отражение. Пощупал уши. Обычные. Дупости семья говорит. Дупости. Обхлопал щеки — на ладонях сукровица от полопавшихся волдырей. Ладони тоже обычные, шершавые; через всю ладонь с переходом на пальцы — широкая мозоль от крюка. Снял лапоть, проверил ногу: и нога обычная, сверху белая, понизу темноватая от грязи, так на то она и нога. Живот. Зад. Ни тебе хвоста, ни...

...Так. Минуточку. Хвост. Был же хвост. Был, блин, хвост. А у людей вроде не должно... Так что же?..

Опять стошнило, опять канарейками. Нет, я не кысь. Нет!!!

...Нет, ты кысь.

Нет!

...Вспомни-ка.

Нет! Не хочу! Так не бывает! Я сейчас пойду, я побегу домой, в кроватку, в налёжанное тепло, к книжечкам моим ненаглядным, к книжечкам, где дороги, кони, острова, разговоры, дети с санками, веранды с цветными стеклами, красавицы с чистыми волосами, птицы с чистыми глазами!..

...Ах, зачем, Бенедикт, ты с мово белого тела каклеты ел?

Я не хотел, нет, нет, нет, не хотел, меня окормили, я хотел только пищу духовную, — окормили, поймали, запутали, смотрели в спину! Это все она — нет ей покою... Подкралась сзади — и уши прижаты, и плачет, и морщит бледное лицо, и облизывает шею холодными губами, и шарит когтем, жилочку зацепить... Да, это она! Испортила меня, аа-а-а, испортила! Может, мне все только кажется, может, я лежу у себя в избе с лихорадкой, в матушкиной избе; может, матушка надо мной склонилась, трясет за плечо: проснись, проснись, ты кричал во сне, Боже, да ты весь мокрый, проснись, сынок!

Я только книгу хотел — ничего больше, — только книгу, только слово, всегда только слово, — дайте мне его, нет его у меня! Вот, смотри, нет его у меня!.. Вот, смотри, голый, разутый стою перед тобой — ни в портянке не заваялось, ни под рубахой не таю! Не спрятал под мышкой! Не запуталось в бороде! Внутри — смотри, — и внутри нет его, — уж всего вывернуло наизнанку, нет там ничего! Кишки одни! Ёлод-но мне! Мука мне!..

...Как же нет? А чем же говоришь, чем плачешь, какими словами боишься, какими кричишь во сне? Разве не бродят в тебе ночные крики, глуховатое вечернее бормоталово, свежий утренний взвизг? Вот же оно, слово, — не узнал? — вот же оно корячится в тебе, рвется вон! Это оно! Это твое! Так из дерева, из камня, из коряги силится, тщится наружу глухой, желудочный, нутряной мык и нык, — извивается обрубок языка, раздуты в муке вырванные ноздри. Так гуняво гундосят заколдованные, побитые, скрюченные, с белыми вареными глазами, запертые в чуланах, с вырванной жилой, с перекушенной хребтиной; так, верно, и пушкин твой корячился али кукушкин, — что в имени тебе моем? — пушкин-кукушкин, черным кудлатым идиолом взметнувшийся на пригорке, навечно сплюснутый заборами, по уши заросший укропом, пушкин-обрубок, безногий, шестипалый, прикусивший язык, носом уткнувшийся в грудь, — и головы не приподнять! — пушкин, рвущий с себя отравленную рубаху, веревки, цепи, кафтан, удавку, древесную тяжесть: пусти, пусти! Что, что в имени тебе моем? Зачем кружится ветер в овраге? чего, ну чего тебе надобно, старче? Что ты жадно глядишь на дорогу? Что тревожишь ты меня? скучно, Нина! Достать чернил и плакаты! Отворите мне темницу! Иль мне в лоб шлагбаум влепит непроторный инвалид? Я здесь! Я невинен! Я с вами! Я с вами!

...Весь мокрый, с головы до раскисших лаптей, Бенедикт барабанил в двери Красного Терема, зная, что не впустят, нарочно не впустят, заперлись на засовы, знают, чем взять. Лило, как только в августе льет, бурным, пенящимся потоком, прочищающим дворы от мусора, от щепы, от очистков, — мутная пена крутит ошметки и выносит под ворота, на улочки, вон из слободы. Высоко вверху Оленька растворила окно, выкрикнула матерное, вышвырнула вразлет дюжину книг — на, почитай! — и захлопнула створки. Бенедикт грудью кинулся, спасая, подбирая, обтирая, — убить гадину, — но раскрылось другое окно, и Терентий Петрович, Министр Нефтеперерабатывающей, в свой черед сбросил белоснежные, с картинками и папиросной на них бумагою, редчайшие... не успел подхватить, сокровища чвакнулись в мусороворот, хлюпнули и поплыли, вертяться... а там уж и Кудеяр Кудеярыч сильными бросками с верхнего яруса один за другим посылал несравненные экземпляры на смерть; Бенедикт не стал дожидаться конца, конца не предвиделось; приплюснутые рыльца Пузыря и Конкордии уже свесились из окошек, в ручонках пачки журналов; теща маячила сзади, удерживая их за кушаки. Он понял. Понял. Это выбор. Ну-с, кого спасем из горящего дома? Он выбрал, сразу.

ИЖИЦА

Укроп весь выпололи семо и овамо, площадку расчистили граблями, подножие пушкина обложили хворостом и ржавью, подоткнули полешек и поверху прикрутили веревками Никиту Иваныча — к нашему всему, спиной к спине. Воздух после ливня очистился, и дышать было легко, то есть было бы легко, кабы не слезы.

Бенедикт стоял впереди толпы, сняв шапку; ветерок играл остатками его волос, сдувал влагу с глаз. Жалко было обоих — и Никиту Иваныча, и пушкина. Но старик, можно сказать, сам, добровольно вызвался. Почти совсем добровольно. Выказал понимание момента. Правда, и Бенедикт все разъяснил ему ясно и четко: надо. Надо, Никита Иваныч. Искусство гибнет со страшной силой. Вам, Никита Иваныч, вот, стало быть, и выпала честь принести жертву. Вы ж всегда хотели сохранить прошлое во всем его объеме? — ну вот и будьте умничкой и покажите всем пример, как это делается.

То есть, конечно, никто не заставляет, пожалуйста, можно не ходить. Но тогда вступает в силу Указ, потому как он подписан, а уж если Указ подписан, то не вступить он не может. И выйдет искусству абзац.

Неприятный был разговор. Неприятный. Пусть бы, конечно, Никита Иваныч и дальше жил себе, — сколько ему там отмерено? этого знать нельзя, — но жизнь требует выбора. Ты за искусство али про-

тив? — спрашивает жизнь, и се, настал час ответа. Такие пироги.

Проплакавшись давеча на холме, в хвощах, проговоривши сам с собою — а словно бы и другой кто присутствовал, но это только всегдашняя кажимость, — Бенедикт прояснился и укрепился духом. Али разумом. Спокойнее как-то стал на все смотреть — а это, пишут, есть признак зрелости. Раньше все хотел сам! сам! все сам! Чтобы выше александрийского столпа! Второй человек в государстве! Указы подписываю! Вот тебе и подписываю: Указы Указами, а в тени стола ли, кровати ли вырос незаметненько так Петрович-сан, мусорная гнида, вонючее животное; оглянуться не успели, а он уж все к рукам прибрал. Как случилось? почему? Раньше у Бенедикта с папой — тестем тож — тесная такая связь была, все вместе, и работа и отдых. Клятву давали. Теперь же и ключи все у Петровича-сан, и бляшки, и пинзин, и вот теперь искусство. И смотрит взглядом тухлым, и лыбится желтыми блестящими зубами, не как у людей; а зубами теми он гордится и говорит: «еще когда рыжуху вставил, до сих пор стоит».

И толкает, сука, на выбор. Вот и сейчас: Никита Иваныч соглашался гореть на столбе «Никитские ворота», но семья даже слушать не захотела. Пущай горит на пушкине. Ясен пень, это Терентия Петровича козни, али, по-научному, интриги. Это чтоб Бенедикт выбирал: хочешь сохранить искусство — прощайся с пушкиным. Либо — либо.

Но Бенедикт прояснился и укрепился и на все стал смотреть спокойнее, так что и этот выбор он сделал сразу, без оглядки: искусство дороже.

Только ведь слезам не прикажешь, текли сами.

Никита Иваныч стоял на дровах злой как пес, выкрикивал филиппики и поносил весь свет. Волновался, понятно. Народу собралось на казнь — гибель.

Есть и знакомые, только мало, — все сейчас в основном на лечении. Вон Лев Львович кривится, вон Полтораки третьей ногой голубчиков расталкивает. Вон Иван Говядича друзья на закукорках принесли.

Оленька с Февронией под кружевными зонтиками, на летних телегах, нарядные, тучные, — оси под ними просевши, колеса на квадрат повело.

Кудеяр Кудеярыч самолично наторкал ржави под хворост, поправил полешки.

— Все — от винта!..

— При чем тут винт, — раздраженно крикнул Никита Иваныч, — винт вы еще не изобрели, блудодеи гребаные!.. А туда же! Невежество, самомнение, застой!

— Молчи, Прежний старик! — оборвал тесть. — Генеральный Санитар, жизнь, здоровье, сила, самолично, вот этими вот руками тебе споспешествует! А мог дома посидеть, в тепле! Спасибо бы нужно!

— Истопник Никита, знай свое дело, гори! — закричал невесть откуда взявшийся, постаревший ветеран Шакал Демьяныч слабым голосом.

— Вот что, Шакал, сто раз вам повторять, вы мне не тычьте, — топнул в полено Никита Иваныч. — И не указывайте!.. Мне четвертое столетие стукнуло! Хамство ваше у меня еще с Прежней Жизни вот где сидит! Извольте уважать человеческую личность!

— За что палят-то? — спрашивали в толпе.

— С русалкой жил.

Тесть дал рукой отмашку, навел глазами лучи и понатужился.

— Папа, папа, осторожнее, надорветесь, — волновалась Оленька.

Тесть скосил глаза к носу, свел лучи в одну точку, на ржавь, напряжил шею. Задымилось немного, пошел белый едучий дым, но без огня: отсыревшие после дождя дрова не брались.

— Пинзинчику плеснуть, — заговорили в толпе, — пинзинчику надоть...

— БЕНзинчику, — закричал с верхотуры рассерженный Никита Иваныч, — сколько раз повторять, учить: БЕН, БЕН, БЕНзин!!! Олухи!

Бенедикт, утиравший глаза кулаком, дернулся, будто это его окликнули по имени.

— Да ведь все равно уже, Никита Иваныч... Какая разница...

— Нет, не все равно! Не все равно! Неужели так трудно орфоэпию усвоить?!

Терентий Петрович выкатил бочонок пинзину.

— Щас мы вам... Щас бзднет!.. С приветом от Шестого таксомоторного!..

Толпа подалась вперед, заговорила, наступала на ноги, толкала в спину. Бенедикт, вытянув шею, смотрел, как Министр откляпывал ломиком забухшую крышку. На дрова воды нальет — догадался Бенедикт. Только как же? Как же вода с огнем сойдется? Жизнь прожил, а так и не понял. И еще чего-то не понял. Было важное что-то...

— Да, Никита Иваныч! — вскинулся Бенедикт. — Забыл совсем! Вот так бы и упустил! А?! Вот голова дырявая! Книгу-то эту где искать?

— Какую книгу?

— Эту-то! Где все сказано!

— От винта-а-а! — опять закричал тесть.

— Книгу-то эту, что вы говорили! Где спрятана? Чего уж теперь, признавайтесь! Где сказано, как жить!

Радужная вода плеснула, окатила хворост, потекла. Завоняло. Народ бросился врозь, размазывая пинзин лаптями. Толпа голубчиков подхватила сопротивлявшегося Бенедикта, унося от пушкина в улицы.

— Никита Ива-а-аныч! Дедушка! Книга где-е-е? Быстро говорите-е-е!

— Азбуку учи! Азбуку! Сто раз повторял! Без азбуки не прочтешь! Прощай! Побереги-и-ись!

Выворачивая шею, увидел Бенедикт, как Никита Иваныч набирает в грудь воздуху, как разевает рот; видел, как отскочил от столба Терентий Петрович, да поздно: хы-ы-ы-ы-ых! — и вал клубящегося огня,

словно взбесившееся по весне Окаян-дерево, накрыл и пушкина, и толпу, и телегу с Оленькой, и дохнул жаром в лицо Бенедикту, и простер красное крыло над ахнувшим и побежавшим народом, как птица мести, гарпия.

Ббух!.. тадах!.. — ударило за спиной, и, оборачиваясь на бегу, Бенедикт увидел, как вал взрывается на дыбы, как ломит вдоль улицы, взрывая запасные бочки с пинзином, в один глоток проглатывая избы, красной дугой перекидываясь от дома к дому, слизывая тыны и частоколы, — туда, все туда, как по нитке, — к Красному Терему.

Тогда он упал в канаву, в траву, закрыл шапкой лицо и больше не смотрел.

К вечеру Бенедикт отвел шапку от лица, огляделся пустыми глазами: равнина еще курилась сизыми дымками, но огонь был сыт и улегся. Кое-где торчал закопченный остов избы, кое-где целая нетронутая улица стояла посреди желтой, скрученной жаром травы, но там, вдали, где всегда высились и отовсюду виднелись красные маковки с резными кукумаколками и узорными боботюкалками, — там ничего не виднелось и не высилось.

Сожжена моя степь, трава свалена,
Ни огня, ни звезды, ни пути,
И кого целовал — не моя вина,
Ты, кому обещался, — прости...

Над желтой, жженой поляной черной гуглей стояло и курилось то, что раньше было пушкиным. Дубельт — дерево крепкое, столярное дело понимаем. Бенедикт доволот себя до останков поэта и заглянул снизу в обугленные, размытые жаром бывшие черты. Бакенбарды и личико спеклись в одну лепеху. На вздутии локтя лежала кучка белого пепла с перебежавшими огоньками, а все шесть пальчиков отвалились.

У подножия скорчился обугленный трупик. Бенедикт посмотрел, тронул ногой — Терентий. Точно, он, зубы его.

Пахло гарью. Жизнь была кончена. За спиной у идола сплюнули и пошевелились.

— Подай руку, слезу. Тут высоко, — прохрипел Никита Иваныч.

Черный, как пушкин, — только белки глаз красные от дыма, — без волос и бороды, кряхтя и еще дымясь, Никита Иваныч оперся о бесчувственную Бенедиктову руку и слез с разваливающихся, прогоревших подпорок. Сплюнул угли.

— Кончена жизнь, Никита Иваныч, — сказал Бенедикт не своим голосом. Слова отдавались в голове, как в пустом каменном ведре, как в колодце.

— Кончена — начнем другую, — ворчливо отозвался старик. — Оторви хоть рубахи клоч, срам прикрыть. Не видишь — я голый. Что за молодежь пошла.

На пепелище, вцепившись обеими руками в куд-

латые волосы, бродил Лев Львович, из диссидентов, разыскивая что-то в траве, которой не было.

— Левушка! Подите сюда. Так на чем мы остановились? — Никита Иваныч обматывал себе чресла Бенедиктовой жилеткой. — Прищепку бы бельевую... До чего народ ленивый... Прищепок не заведут...

— Английскую булавку! — с укором подбежал Лев Львович. — Я всегда говорил: английскую булавку! Прекрасное, цивилизованное изобретение.

— Англии нет, голубчик. Сами должны. Нашу, липовую, деревянную.

— А вот это душок! — закричал Лев Львович — Это пахнет газетой «Завтра»! Душок! Не в первый раз замечаю! Пахнет!

— Слушайте, Левушка, бросьте все это, а давайте отрешимся, давайте воспарим?

— Давайте!

Прежние согнули коленки, взялись за руки и стали подниматься в воздух. Оба смеялись: Лев Львович немного повизгивал, как будто боялся купаться в холодном, а Никита Иваныч посмеивался басом: хо-хо-хо. Никита Иваныч обтряхивал с ног золу — ступня об ступню, быстро-быстро — и немножко запылил Бенедикту глаза.

— Э-э-э, вы чего?! — крикнул Бенедикт, утираясь.

— А ничего! — отвечали сверху.

— Вы чего не сгорели-то?

— А неохота! Не-о-хо-та-а!..

— Так вы не умерли, что ли? А?.. Или умерли?..
— А понимай как знаешь!..

О миг безрадостный, безбольный!
Взлетает дух, и нищ, и светел,
И гонит ветер своевольный
Вослед ему остывший пепел.

Москва — Принстон — Оксфорд — остров Тайри — Афины — Панормо — Федор-Кузьмичск — Москва

1986 — 2000



Содержание

Аз	4
Буки	21
Веди	31
Паголь	35
Добро	46
Есть	55
Живете	60
Зело	68
Иже	83
И краткое	87
И десятеричное	100
Како	119
Люди	128
Мыслете	150
Наш	162

Он	176
Покой	187
Рцы	195
Слово	205
Твердо	220
Ук	227
Ферт	237
Хер	240
Ща	252
Ци	260
Червь	268
Ша	281
Ер	302
Еры	313
Ерь	321
Ять	343
Фита	359
Ижица	371

Татьяна
ТОЛСТАЯ

КЫСЬ

Художник

А.Лебедев

Корректор

Л.Шмелева

Компьютерная верстка

К.Москалев

Ответственный за выпуск

И.Смолин

Подписано в печать 27.08.2001. Формат 70x100^{1/32}.
Гарнитура Букман. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 15,48. Тираж 50 000 экз.
(3-й э-д: 21 001—32 000 экз.). Заказ № 267.

Издательский Дом «Подкова»
121108, Москва, ул. Пивченкова, 3-1.
ИД № 05018 от 07.06.2001 г.
Тел. (095) 282-5304; пейджер (095) 755-6565, аб. 74755

Отпечатано с готовых диапозитивов
на ГИПП «Уральский рабочий»
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

«Кысь» — первый роман Татьяны Толстой.
автора четырех книг:
«На золотом крыльце сидели»,
«Любимь — не любимь»,
«Сестры», «Река Оккервиль».



Татьяна Толстая побрызгала на похороненный и ослепленный жанр романа волшебной водой, привезла его из Америки домой, и оказался он совершенно живой. Этот роман так вкусно написан, что хочется съесть каждую фразу, урча и причмокивая.

Борис Акунин

Взгляд Толстой обладает сюжеторождающей силой: все, что попадает в авторское поле зрения, шевелится и оживает. Ее щедрая проза кишит той причудливой живностью, что заполняет картины Босха.

Александр Генис

В фантазиях Толстой царит нахальный авторский произвол: никакие соображения вроде «сейчас так не пишут» или «так будут писать вскоре» на нее не действуют. Она одинаково вольно чувствует себя в сейчас, в тогда и в потом.

Дуня Смирнова

Сеть магазинов "Эолис"

Толстая Т. "Кысь" (ч)



ул. Малышева 21, Луначарского 130,
Ст. Большевиков 86, Площадь 1-й Пятилетки